



ЛЕОНИД ПЛАТОВ
ДАТА
НА КАМНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
М. Ш. М.



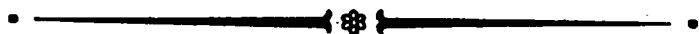


БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1984

ЛЕОНИД ПЛАТОВ



ДАТА
НА КАМНЕ



«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р и с у н к и В. Тараканова

Платов Л. Д.

П37 **Дата на камне: Повести/Рис. В. Тараканова.—**
М.: Дет. лит., 1984.— 304 с., ил.— (Б-ка приключений
и научной фантастики).

В пер.: 85 к.

В книгу вошли четыре приключенческие повести: «Дата на камне», «Тан-
цующий бог», «Исполнение желаний», «Бухта Потопленная».

П **4803000000—263** **375—84**
М101(03)84

© **Состав. Иллюстрации. Повести «Дата на камне»,**
«Танцующий бог», «Исполнение желаний».
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1984 г.



Д А Т А Н А К А М Н Е

Вода здесь — синоним счастья.

*Из переписки П. А. Ветлугина с профессором
В. В. Лфанасьевым*

Глава первая

одинокий холм в степи

Этот холм старшекласники одной из казахских школ, собирая в степи лекарственные растения для фронта, увидели на третий день пути.

Они увидели его под вечер, когда на горизонте исчезают коварные миражи — такова их природа в Казахстане. Призрачные моря и озера появляются только днем, потому что это отблески солнца. Талая вода скапливается весной в пологих впадинах и до блеска отшлифовывает глинистые стенки и дно, летом водоемы, пересыхая, превращаются как бы в огромные вогнутые зеркала — здесь называют эти «зеркала» такырами.

Вода колышется в светлом мареве вдали, всегда вдали, искрится, сверкает, манит и вдруг мгновенно «испаряется», едва путешественники приблизятся к ней вплотную. Чертовы такыры! Глаза устают от их дразнящего предательского мерцания на горизонте.

Ия Крылова, дремавшая в кузове, очнулась от громких взволнованных голосов:

— Такыр!

— Какой такыр! Вода!

— Брось! Откуда здесь вода?

— Да нет же, говорю я вам! Вода!

— А что, ведь впрямь вода!

Грузовик стоял, почти упершись колесами в конусообразное сооружение, у подножия которого ослепительно сверкала полоска воды, терявшаяся в зарослях белого саксаула и полыни.

Школьники один за другим повыскакивали из кузова. Саит Жакипов, опередив остальных, зачерпнул воды и попробовал ее.

— Вода! Ей богу, ребята, вода! Да холоднющая какая! зубам больно.

Только тот, кто странствовал летом в степях Казахстана, раскаленных, как сковорода на огне, поймет радость, охватившую юных путешественников. Вода, которую они везли с собой в бочке, нагрелась за день и приобрела металлический вкус.

Все сгрудилось у загадочного сооружения, из недр которого тонкой струйкой вытекал ручей, воду наперебой черпали кружками и флягами, просто горстями, при этом шутливо отталкивая друг друга локтями, брызгаясь, плескаясь, дурачась.

— А я уверена была, опять мираж! — говорила учительница Улжан Оспановна. — Думала: вот-вот начнет тускнеть, расплываться, как и остальные. Нет, смотрю, светлая точечка разрастается, разрастается...

— Я же на нее прямехонько держал, — вторил ей шофер, поливая загорелую шею водой и жмурясь от удовольствия. — Еду себе и еду на этот мираж! И вдруг — ффр — брызги из-под колес!

— Но что за сооружение? Сардоба?¹

¹ Сардоба — водохранилище в форме шатра. Обычно им прикрывали отверстие колодца или предназначали его для сохранения дождевой воды. По преданию, сардобы воздвигнуты еще во времена Тамсрлана.

— А что такое сардоба?

— Водохранилище, построенное из кирпича.

— А этот холм сложен из камней. Да как искусно сложен!

— И форма не шатра, а конуса.

— Могильник?

— Вряд ли, хотя холм насыпной, ясно как день! — Саит палкой выбил на камнях вопросительную дробь. — Что это? Слышите? Пустота в середине! И почему из-под холма вытекает вода?

Загадочный холм имел тонкий покров из земли, поросший бурой травой. Когда в одном месте сняли этот покров, обнажилась кладка. Она была тщательной и замысловатой и отчасти напоминала соты улья.

Пока другие школьники осматривали непонятное сооружение, Ия проворно поднялась на вершину его, легла и приложила ухо к камням. Из недр холма донеслось слабое журчание и перезвон капель.

— Эй! Крылышко! — окликнули ее снизу. — Спускайся! Да побыстрей! Плиту с надписью нашли!

Спустившись, Ия увидела в кустах серую плиту, торчащую наклонно из земли. Поверхность ее, ноздреватая и потрескавшаяся, была испещрена вязью арабских букв, старательно вырезанных на камне.

— Я же говорил! — закричал Саит. — Это надгробие! Вот и эпитафия!

— Кажется, по-арабски написано?

— Не по-арабски, а по-казахски, — поправила Улжан Оспановна, наклонившись к исписанному камню. Вокруг воцарилось нетерпеливое молчание. — Что-то о засухе, это поняла... Разрыв...

Она принялась читать про себя, то и дело издавая удивленные возгласы.

— Вслух, вслух! — закричали все.

— Бродячий миф? — сказала учительница, топчась в сомнении у плиты. — Помните библейское сказание о пророке, который высек воду жезлом из камня и напоил в пустыне жаждущих? Этнографы знают немало подобных бродячих мифов...

Нагнувшись снова над плитой, она прочла, запинаясь:

— «Достигнуто... пропуск... по зову сердца... Пришелец по имени Петлукйн...» Что это за имя?... «В год тысяча триста тридцать четвертый... создал...» Да, кажется, это слово — «создал». «...источник из камня...» А вы толкуете:

«сардоба, могильник!» Нет, точно: источник!.. «Втайне... создал втайне...» Странно, почему же втайне? Ага! Последняя фраза отчетлива: «Путник! Когда будешь пить эту воду, вспоминай об источнике!» Всё!

Она выпрямилась.

— Петлукин, Петлукин,— бормотал Саит в раздумье.— Кто же он такой — этот Петлукин? Сказочный волшебник? Нет! Явно историческая личность! Вот же след его биографии — холм!

— Да, загадка! Волнующая историко-географическая загадка!

— Нить брошена из глубины веков! — Саит глубоко-мысленно поднял указательный палец.

— Привал, ребята! — объявила Улжан Оспановна, отходя от холма.— Разводить костер, готовить ужин!

Ия принялась хлопотливо выкладывать из рюкзаков еду, Жакипов и другие школьники разбрелись по степи, собирая топливо. Вскоре над огнем костра запел чайник, в воздухе запахло поджаренным хлебом и гречневой кашей-концентратом.

Распластав звездные крылья, ночь пала с высоты на землю почти без сумерек.

— Колодца здесь нет,— сказала Улжан Оспановна, положив карту на колени и присвечивая себе карманным фонариком.— Почему?

Школьники, перебрасываясь короткими замечаниями, поужинали, напились чаю.

— Ну и вкусный чай сегодня! Налей-ка мне еще! — Саит протянул кружку Ии.— Давненько не пил я такого чая.

— Вода — на удивление! — подтвердила Улжан Оспановна.— Как там написано на плите? «Помни о колодце»?..

— «Когда будешь пить воду, вспоминай об источнике!»

— Правильно. Это старая казахская поговорка. И приведена очень кстати... Но все-таки, кто же он, этот Петлукин?

Ия поежилась, накинула на плечи пальто. Летом ночи в Казахстане очень холодные, что особенно сильно ощущаешь после адской дневной жары.

— «По зову сердца... По зову сердца»,— повторила в раздумье Ия.— Как хотите, а есть в этой истории что-то не только загадочное, но очень трогательное, хватающее за душу. Не может быть, чтобы о Петлукине и его холме

не сохранилось никаких сведений. Надо их искать, упорно искать!

Она поуютнее устроилась под наброшенным на плечи пальто.

— Мне знаете что думается? — сказала Ия задумчиво. — Жил при дворе жестокого Тамерлана ученый, может, он считался тогда магом или астрологом, но на самом деле был настоящий ученый. И он был очень смелый и добрый. А при дворе, конечно, ценили только льстецов. Наверное, этот маг сказал что-то дерзкое в лицо самому Тамерлану. Или заступился за кого-то несправедливо обиженного. Ну, его и выслали на окраину империи, в глухие казахские степи. Но маг продолжал и здесь делать людям добро. Была засуха, степняки мучились от жажды. Вот он и воздвиг этот удивительный каменный источник.

— А дальше?

Сидевшие у костра притихли, заслушавшись общую любимицу Ию. Была она крохотная не по возрасту, очень веселая и быстрая, как рыбка. И голос был у нее под стать росточку — звонкий, девчоночий.

— Дальше? — Она приостановилась и в растерянности смешно похлопала себя по надутым щекам. — Дальше я, ребята, еще не придумала...

— Ну, Крылышко, ты даешь! — Сант снисходительно усмехнулся. — Прямо новейшая Шехерезада! Самого Тамерлана зачем-то сюда приплела!

— А начало четырнадцатого века это ведь и есть времена Тамерлана. Забыл?

— Все, ребята! — сказала Улжан Оспановна, хлопав в ладоши. — Спать, спать! Никто, конечно, не догадывался, что надпись на камне была прочтена неправильно. Стерся знак h после даты, а Улжан Оспановна, видимо, забыла, что он должен обозначать хиджру, иначе — год бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, который соответствует 622 году нашей эры. Христианское летосчисление не совпадает с мусульманским еще и потому, что месяцы в нем не солнечные, а лунные, то есть в каждом из них 28 дней.

Таким образом год 1334-й на самом деле был 1915 годом, а значит, и загадочный Петлукин представлял из надписи почти нашим современником...

Глава вторая

«Я, ПРИЗНАЮСЬ,
НЕТЕРПЕЛИВ!»

Члена российской социал-демократической партии (большевиков), в прошлом учителя географии и истории весьегонского реального училища Петра Ариановича Ветлугина привезли в степь осенью 1914-го. Мировая война шла уже полным ходом.

В городе Верном его, против ожидания, не оставили. Видимо, было на этот счет указание в сопроводительной бумаге. (Теперь он существовал не сам по себе, лишь «прилагался» к тому или иному официальному документу, заверенному подписями и приложением печати.)

Проезжая через город, Петр Арианович увидел хорошо распланированные, но немощенные улицы. Дома были по преимуществу двухэтажные, крашенные в казенный цвет — бледно-желтый, присущий всем губернским городам Российской империи от Тамбова и до Омска.

Кое-где чернели зияющие провалы между домами — следы недавнего опустошительного землетрясения. О нем много писали в газетах...

Ссылного после короткого отдыха повезли из города дальше, в глубь степи.

Она за лето была выжжена солнцем и терпко пахла пожухлыми травами — безводное, серое, волнистое пространство, над которым выгнулся синий купол неба. Выпархивал вдруг из-под копыт грязно-серый, как комок грязи, степной жаворонок или взмывали с павшего верблюда горбатые грифы. И все катились и катились громадные шары перекасти-поле, похожие издали на опрокинутые, безостановочнодвигающиеся стога сена.

Низинки, где, по-видимому, скапливалась весной вода, сейчас пересохли, глина стала зеркально-гладкая и твердая, как асфальт, и звенела под копытами, от которых на ней, к удивлению Петра Ариановича, не оставалось отпечатков.

Таратайку кидало и подбрасывало на ухабах. Горизонт колыхался, как мертвая зыбь. Днем отчаянно пекло, а вечером делалось так холодно, что ссылный и сопровождавший его жандарм садились в таратайке спинами друг к другу, чтобы согреться.

Даже привычная степная земля не выдерживала

лихорадочной смены температур. Об этом свидетельствовали зигзаги трещин, пересекавших ее во всех направлениях, словно бы после землетрясения.

«Извечная борьба тепла и холода, особенно ожесточенная в этих местах, — думал Петр Арианович. — Битва гигантов, которым дела нет до того, что происходит с человеком».

Пока ссыльный добирался до затерянной в степи деревни, где ему назначено было жить, он размышлял над проблемами метеорологии. Это помогало не думать о грустном: о разлуке с близкими, о прерванной работе подпольщика...

Когда Германия объявила войну России, Петр Арианович был в тюрьме: в Питере арестовывали большевиков.

На несколько лет война отсрочила неизбежный в России революционный взрыв. Победоносцев, бывший воспитатель царя, говаривал: «Нам (то есть правящему классу) нужна небольшая победоносная война». Вскоре после этого пожелания, высказанного сановником, началась война с Японией, но она отнюдь не была победоносной. Вслед за нею произошла революция 1905 года. Несомненно, то же случится и теперь: царская Россия потерпит сокрушительное поражение и будет новая революция. Да, будет! Это историческая закономерность.

Так утешал себя в тюрьме Петр Арианович.

Но было ему не легко. Внезапно остановлен — на бегу! Это тяжелое испытание для нервов. Вроде бы человек избегал по лестнице в темноте, занес ногу на ступеньку, а ее не оказалось — нога вдруг провалилась в пустоту. От такой неожиданности может разорваться сердце.

Смолоду Ветлугин отличался разносторонностью своих научных интересов. Мечтал стать путешественником, а путешественнику, как известно, зачастую приходится совмещать несколько профессий: морехода, этнографа, геолога, охотника, даже повара. Но учился Петр Арианович на геологическом факультете, и любимым профессором его был знаменитый ученый Афанасьев. Все шло к тому, чтобы оставить Петра Ариановича по окончании университета при кафедре. Время, однако, внесло свои коррективы в этот план. Петр Арианович принял участие в студенческой забастовке, и это впоследствии ему припомнили. Он не был допущен к научной деятельности — вынужден

был удовлетвориться скромным местом учителя географии и истории в уездном реальном училище¹.

В Питере, куда незадолго перед войной переехал он из Весъегонска, некоторые его товарищи жалели, что он предпочел размеренному существованию ученого спокойную и опасную судьбу революционера.

— Ты же по всем склонностям своим ученый, кабинетный ученый! — толковывали ему. — Типичный исследователь, холодный, аналитический ум! Шутка ли — любимый ученик самого профессора Афанасьева! Еще учась в университете, начал писать о дрейфе льдов, об управлении климатом, о чем-то там еще!

— Писал, да, — отвечал Петр Арианович. — Храню в памяти до лучших времен. Будет полезно людям, знаю. Но когда? Через несколько десятков лет, не ранее. А я чувствую потребность помочь людям немедленно, сейчас! Подумайте, можем ли мы мечтать о победе над природой, победе над стихией, пока не уничтожен капитализм в России, пока существует подлый класс эксплуататоров, главный тормоз прогресса? Вот почему я отложил свою научно-исследовательскую работу и ныне корректирую прокламации. Конечно же, это имеет прямое отношение к будущей моей научной деятельности.

Он сердился, если его понимали не сразу.

— Ну как же! Победа революции в России сделает ученых невиданно сильными. Самые дерзновенные замыслы будут осуществлены. А я, признаюсь, нетерпелив. Хочу приблизить это счастливое время. Тогда займусь наукой по-настоящему. Придет и ее черед!

Нет, Петр Арианович не жалел о кратковременном, как он считал, перерыве в своей научной деятельности. Кем был он, в конце концов, до вступления в партию? Интеллигентом-одиноким, прекраснородным мечтателем, не более того. Во всяком случае, не человеком действия. Но теперь с глаз его упали шоры, он, как писал Радищев, «оглянувшись окрест себя, и душа его страданиями человечества уязвлена стала»².

Обстановка летом 1914 года была предреволюционная. В Питере уже начинали строить баррикады. Но не дремала и полиция.

¹ См. роман Л. Д. Платова «Архипелаг Исчезающих Островов».

² Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву.

В ночь своего ареста Петр Арианович раньше обычного кончил работу — готовил текст новой прокламации.

Можно бы, казалось, перелистать книги по геологии, терпеливо ожидавшие, когда же, наконец, хозяин обратит на них внимание. Но, постояв в раздумье у полка, Петр Арианович отошел. Как-то не по себе ему было сегодня. Странная усталость, непонятное беспокойство...

Осторожно отогнув занавеску, он выглянул в окно. Улица была пустынна. Он разделся и лег на диван. Сон, однако, не шел.

Чудились шаги под окном, поскрипывание ступенек на деревянной лестнице, приглушенные голоса, словно бы даже осторожный стук в дверь.

Петр Арианович укрылся с головой.

В комнате были стенные часы с мерным гулким боем и маленькие, карманные, лежавшие на тумбочке у дивана. Они тикали вразнобой. Похоже было: взрослый размашисто шагает по тротуару, а рядом, держась за его руку, семенит ребенок.

Под ритмичное постукивание детских каблучков стали стихать призрачные звуки. Петр Арианович подоткнул под бок сползший было плед, свернулся калачиком. Но когда начал засыпать, раздался настойчивый стук в дверь, на этот раз настоящий.

В пальто, наброшенном поверх белья, Петр Арианович понуро стоял у стола и смотрел, как жандармы роются в шкафах и хлопотливо поднимают половицы.

Самый длинный из незваных ночных гостей занялся просмотром книг на полках, выдергивая их одну за другой и небрежно перебрасывая страницы. Вдруг, распластавшись в воздухе, как птица, сорвался сверху «Курс геологии» Афанасьева с дарственной надписью автора. Петр Арианович сделал движение, чтобы поднять книгу с пола.

— Ку-да? — прикрикнул на него ротмистр, руководивший обыском. — Стоять, где стоите!

Долго еще стучали эти слова в мозгу Петра Ариановича. Да, он не свободен теперь даже в самых простых своих движениях. Любой жандарм в любой момент может обругать его, остановить, прикрикнуть: «Стоять, где стоите!...»

Последнее, что видел Петр Арианович, когда жандармы уводили его, были страницы книг, устилавшие пол. Но прежде чем упасть, они долго еще кружились в воздухе, точно большие хлопья снега.

Теперь, в глухой деревеньке, на окраине Бет-пак-Далы¹, Петр Арианович с болью вспоминает об этом, стоило ему выглянуть в низенькое оконце избы...

Глава третья

ТЕНИ ПОЛЗУТ ИЗ УГЛОВ...

В том году зима наступила рано. Чуть ли не на шестой или седьмой день по приезде Петра Ариановича на место назначения. За окном его жилища замелькали хлопья падающего снега. И сразу же ссыльный ощутил себя так, словно бы очутился в одиночке.

В этой деревеньке он был изолирован от людей. Крестьяне (староверы) угрюмо сторонились ссыльного. Еще бы! Революционер, смутьян, слуга антихриста, бунтовал, как слышно, против царя! Подумать только — против самого царя!

Деревня по сути состояла из одной очень длинной, версты на три, улицы, по обеим сторонам которой зеленели усадьбы участки. Дома были разные: рубленые, под железными крышами, или строения из сырцового кирпича, крытые камышом и обмазанные глиной.

Все прочно, неизбежно было здесь и этим отчасти напоминало Петру Ариановичу Весьегонск. И так же было враждебно ему.

Петр Арианович сразу встретился и с бытовыми трудностями, например в отношении жилья. Никому из крестьян не желательно было «опоганиться» — поселить у себя богоотступника-смутьяна. По счастью, с прошлого года пустовала хатенка на отшибе, притулившаяся к самому краю деревни. Там ранее доживал век старик бобыль. Недавно он умер, на место его и поселили Петра Ариановича.

Правительство никак материально не обеспечивало ссыльных поселенцев. В этом смысле тюрьма была лучше. По крайней мере, там не приходилось заботиться о пропитании. Петр Арианович надеялся было раздобыть какую-нибудь работу в деревне, но вскоре понял, что об

¹ Бет-пак-Далы — одна из пустынь Казахстана. В переводе — неодетая, голая степь.

этом нечего и думать. А ведь так неприятно пользоваться крохами от пенсии, которую мать получала за отца-чиновника.

Так и остался Петр Арианович на новом месте жительства один-одинешенек.

Старики, встречаясь с ним на улице, чопорно кланялись и в безмолвии проходили мимо. Молодежь, собираясь по вечерам «на дубки», с боязливым любопытством провожала его взглядами. А злющие старухи, боясь, наверное, сглаза, поспешно убирали с пути ребятишек — совсем как наседки, завидевшие в небе ястреба.

Примечательно, что Петр Арианович почти не обратил тогда внимания на здешних аборигенов — степняков-казахов, зимовье которых располагалось неподалеку от деревни. Их иногда встречал в лавке. Но у него и в мыслях не было, что на исходе зимы он подружится с одним из этих людей в малахаях и дружба эта скрасит его одинокое существование.

Да, до поры до времени изоляция была полнейшая. Даже коробки спичек не выпросишь у соседей.

Но Петр Арианович поначалу не был обескуражен этим. Смолоду привык делать все сам, не чураясь физического труда. Обосновавшись в избе умершего бобыля, он начал бодро заготавливать топливо на зиму, ремонтировать покосившуюся заднюю стену своей хибарки.

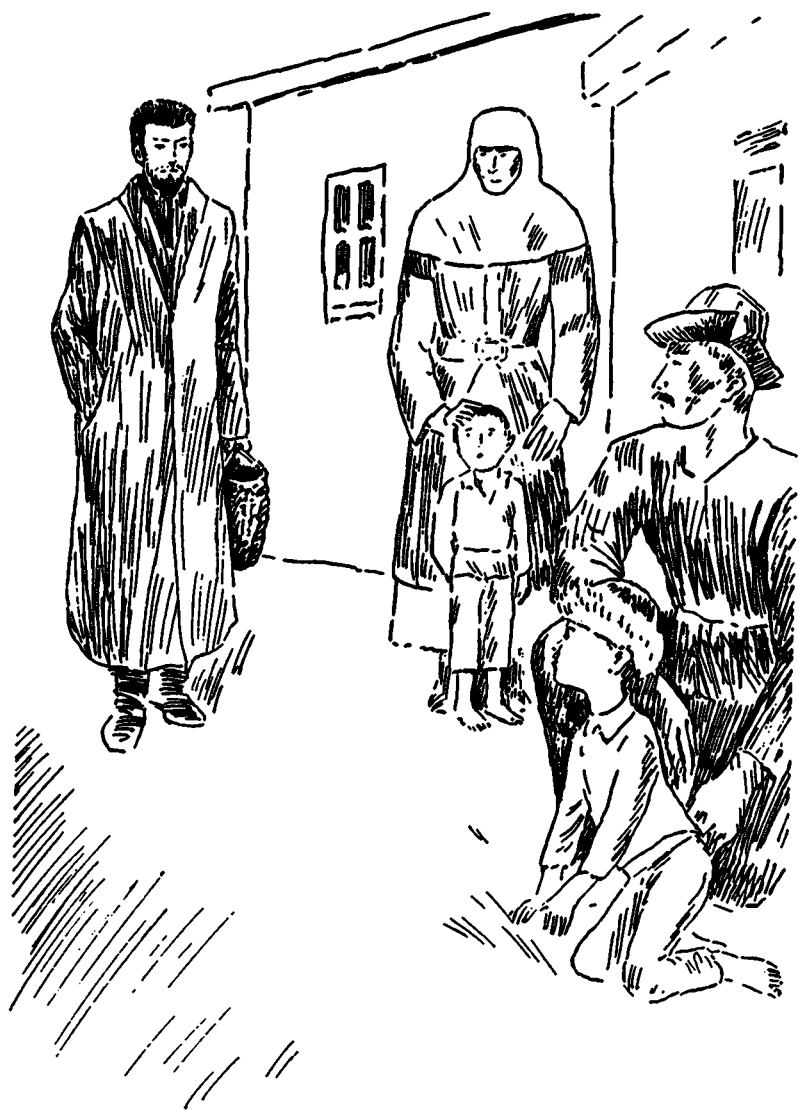
Пока был занят хозяйственными работами, чувствовал себя в общем неплохо. Но вот настала зима. (Мать прислала ему теплые вещи.) Круг домашних обязанностей Петра Ариановича резко сузился. Принести воды из колодца, подмести избу, протопить печь, состряпать наспех что-нибудь съедобное, прокопать в сугробах дорожку от крыльца до калитки — вот и все! А что делать потом? Целый день свободен, пуст.

Часами простаивал Петр Арианович у окна, задумчиво наблюдая, как пляшет-кружится на улице степная снеговерт.

Раньше любил зиму с ее катаньем на коньках, с веселыми святками, гаданием, праздничной елкой. Однако здесь зима была другая, неуютная. Куда ни кинь глазом, все белым-бело. Холмы на горизонте наглухо задернуты снежной мглой. Душно, тесно. Невыносимо тесно...

Петр Арианович ложился на топчан и, закинув руки за голову, прислушивался к вою бурана за стеной.

Вой тянулся без отдыха, без пауз. Пол и балки под



потолком содрогались, скрипели, стакан надоедливо дребезжал на столе. Нельзя спокойно думать под этот многоголосый шум! Мысли несутся, обгоняя друг друга, будто снежная пыль, подхваченная ветром...

Петр Арианович попытался было занять себя отвлеченными математическими расчетами. Начал придумывать и решать головоломки. Но ведь это была лишь забава, гимнастика для ума, тогда как он жаждал чтения, привычного ему, как воздух.

Книг под рукой у Петра Ариановича не было, вот в чем беда! В деревне читали, вероятно, только календарь да Евангелие. А зачем было ему Евангелие?

В эту до омерзения монотонную его жизнь некоторое разнообразие, хотя и неприятное, вносили визиты урядника.

Как ссыльнопоселенец, Петр Арианович находился под неусыпным присмотром полиции. Урядник, а иногда и сам господин исправник обязаны были регулярно проводить его, проверяя, не сбежал ли он либо, чего боже упаси, не готовит ли в тиши каких-либо антиправительственных акций.

Начальство обычно являлось без церемоний, не стучась. Тотчас же Петр Арианович демонстративно поворачивался к двери спиной, а на вопросы отвечал неохотно, односложно.

Впрочем, господин исправник мог быть доволен. Удрученный вид ссыльного говорил сам за себя. Пытка одиночеством и однообразием мало-помалу делали свое дело.

Письма? Да, переписка была разрешена ему. Но в письмах к матери и невесте он вынужден был лгать, придумывая бог знает что о своем житье-бытье, чтобы правдой не расстраивать близких.

Письма старшему другу его, профессору Афанасьеву, были, конечно, откровеннее, но и то не слишком. Нельзя же забывать, что письма перлюстрировались.

Ах, как не хватало ему книг!

До боли отчетливо представлялись Петру Ариановичу полки в питерской его комнате, уставленные книгами от пола до потолка. Уйма разнообразных миров, разноцветная вселенная заключена была в этих книгах, которые ныне остались без хозяина и, быть может, давно уже разворованы соседями и проданы за бесценок на книжном развале.

Петра Ариановича стали одолевать беспричинные панические страхи. Он вскакивал с топчана и в ужасе озирался по сторонам. Стискивало грудь, печем было дышать. Нет, не мог, не мог он оставаться в этой пропахшей кислой вонью хатенке с низким потолком и оконцами чуть ли не у пола. Бежать! Немедленно бежать! Но куда? За окнами с шаманскими выкриками и взвизгами пляшет неугомонный буран...

Незадолго перед арестом и высылкой из Москвы Петр Арианович побывал на публичной лекции известного революционера-шлиссельбуржца Николая Морозова. Человек этот провел в одиночке двадцать восемь лет, то есть без малого треть века. Его освободили после революции 1905 года, и он успел уже опубликовать с полдесятка выдающихся научных трудов, выполненных им в Шлиссельбурге.

Мягко улыбаясь из-под нависших седых усов, Морозов рассказал, как удалось ему, наряду с тетрадами по химии и высшей математике, вывезти и свою автобиографическую тетрадь. Он попросту склеил ее страницы, а в полученные таким образом два довольно плотных листа картона переплел научные тетради, разрешенные к вывозу из тюрьмы. Стоило ему на воле оторвать переплет и опустить его в теплую воду — страницы автобиографии отклеивалась одна за другой.

С благоговением смотрел Петр Арианович на знаменитого шлисфельбуржца, которому было в то время уже за пятьдесят. Вот это сила, силища душевная! Морозов не сломался и не согнулся перед приговором, обрубавшим все надежды: пожизненное заключение! Нет, поставил перед собой задачу выжить! И выжил наперекор всему!

Преодолены были тоска одиночество, ограничение переписки (два письма в год!), духота и сырость каземата, холодная ненависть и невыносимо тягостные, еженощно повторяющиеся кошмары.

Часто снилось Морозову, что он бежит из тюрьмы бесконечно длинными коридорами и амфиладами каких-то зал, преследуемый жандармами по пятам. То и дело возникает впереди стена. Но в самый последний момент беглец находит лазейку в ней.

Вдруг усилием воли ему удастся поднять себя над землей — увы, невысоко, лишь на высоту человеческого роста, выше не хватает сил. Он летит, а жандармы-пре-

следователи, подскакивая, пытаются ухватить его за свисающие ноги...

Но больше всего допымал Морозова некий злобный старик. Он появлялся всегда из угла, как бы сгушаясь из мрака, материализуясь, угрюмый, тощий. Затем безмолвно бросался на Морозова. Сцепившись, они катались по камере, причем совершенно бесшумно. Старик норовил ухватить Морозова за горло, тот упорно не давался.

Так длилось всю ночь.

Утром узник просыпался с ощущением мышечной боли, неимоверно усталый, будто взаправду боролся ночью с неотвязным стариком. А тот, гнусно ухмыляясь, еще стоял несколько мгновений у его койки, потом мало-помалу таял, медленно втягиваясь в свой темный угол.

Неприметно стиралась грань между сном и бодрствованием, вот что страшно! Что здесь было действительностью, что кошмаром? Нескончаемое ли ночное единоборство со стариком, дневное ли однообразное хождение по камере из угла в угол? В самой неуклонной повторяемости кошмара было нечто зловещее.

Исподволь Морозовым стала овладевать навязчивая идея: он сходит или уже сошел с ума!

— Вероятно,— вспоминал он впоследствии,— я помешался бы на том, что я сумасшедший и что в припадке безумия могу назвать на допросе своих товарищей. Этого я боялся больше всего.

«Ты сумасшедший, уже сумасшедший! — твердил мне внутренний голос.— Как ты можешь сомневаться в этом? А старик, который приходит душишь тебя каждую ночь, едва ты заснешь? А твой суеверный страх поздними вечерами, когда ты ходишь из угла в угол со свинцовой тяжестью на темени и боишься кинуть взгляд в темные углы твоей камеры, ожидая увидеть там сверхъестественных чудовищ, хотя и не веришь в их существование? Не медли же! Убей себя! Выполни свой долг перед товарищами!»

«Но ведь это наваждение может еще пройти! — возражал первому второй внутренний голос.— Даже сойдя с ума, я буду думать только об одном: нельзя на допросе упоминать имен своих друзей!»

Но первый голос был более внятным и убедительным.

Лектор так красочно описал этот мучительный внутренний диалог, что Петр Арианович почувствовал, как дрожь волнения прошла по залу.

Морозов, однако, не сошел с ума. Вскоре его перевели

в другую тюрьму, где дали возможность заказывать книги в тюремной библиотеке.

Он прежде всего набросился на приключенческие романы Брет-Гарта.

С удивлением услышал Петр Арианович пансгирик этому писателю из уст старого революционера:

— О, Брет-Гарт, Брет-Гарт! — взволнованно восклицал Морозов. — Ты умер много лет назад и не узнаешь, что твои произведения спасли от сумасшествия одного бедного политического узника в далекой для тебя России... Едва лишь я с жадностью голодного принялся за чтение твоего романа, как весь отдался обаянию образов и так художественно описанных приключений! И ужасный надоедливый голос, ежеминутно повторяющий мне, что я сумасшедший, не в силах был вторгнуться в круг картин твоего воображения, сделавшихся и моими собственными.

Глава четвертая

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКОВ...

Но у Петра Ариановича не было под рукой ни одной книги. А его тянуло к книжным полкам, тянуло непреодолимо. В своем воображении рисовал он эти милые его сердцу книги, стоящие на полках плотными рядами, любовался ими и вслух читал названия на корешках.

Как-то раз не удержался, снял с полки (тоже, понятно, мысленно) одну из книг и бережно перелистал. Это был том первый «Войны и мира». К своему удивлению, Петр Арианович обнаружил, что хорошо помнит содержание тома.

На неспешное припоминание ушло два дня. Он смаковал отдельные эпизоды, по несколько раз повторял их в уме, добиваясь, так сказать, полной стереоскопичности. С той же дотошностью «перечитал» он и остальные тома «Войны и мира».

Оказалось, что у него очень цепкая память на прочитанное, попросту редкостная, безотказная.

И узник не замедлил этим воспользоваться.

Меряя шагами по диагонали свое жилище, он прини-

мался вспоминать прочитанное им когда-то, книгу за книгой.

При этом осуществлялся строгий отбор. Были книги, которые Петр Арианович не считал полезным «перечитывать» в теперешнем своем положении.

Когда-то на воле записал он поразившую его фразу Гёте: «Я хотел еще раз прочесть «Макбета», но не рискнул. Боялся, что в том состоянии, в котором я тогда находился, чтение это меня убьет». Так написал один из самых благополучных и уравновешенных писателей прошлого, который смолоду систематически занимался укреплением своей нервной системы!

По той же причине, что и Гёте, но, вероятно, с большим основанием, Петр Арианович исключил из припоминания ряд писателей. Зато он по нескольку раз «перечитал» Льва Толстого, Пушкина, Лермонтова, Чехова, в особенности Чехова. О боже милосердный! Какими же пессимистами надо было быть, чтобы назвать Чехова «хмурым человеком», певцом «сумерек»? От каждого его произведения веяло такой богатырской силой, таким неисчерпаемым душевным здоровьем!

Петр Арианович припомнил фотографию Чехова, снятую, кажется, в 1885 или 1886 году, когда он бодро писал в письмах: «На днях было небольшое кровохарканье, но до чахотки еще очень далеко». На той фотографии Чехов выглядит веселым, жизнерадостным красавцем, таким добрым русским молодцем.

«Перечитывая» его произведения, Петр Арианович убедился в том, что не только болезни, но и душевное здоровье заразительно.

Теперь дни Петра Ариановича были заполнены и сны стали легки и безоблачны. Раздеваясь вечером у своего топчана, он заказывал себе хорошие сны. «Что-нибудь из «Войны и мира», — произносил он как заклинание против кошмаров. — Хочу увидеть приезд Николая Ростова с Денисовым на Поварскую, а потом придворный бал, вальс Наташи с Андреем!» И это, представьте, иногда удавалось.

Во всяком случае, он не боялся уже своих снов. Уходил в ночь с запасом тех впечатлений, которые получил за день от «чтения». Если же просыпался ночью, то спешил протянуть ниточку от этих впечатлений, преграждая ими дорогу страхам и тоске.

И предстоящее завтра не пугало его. «Завтра буду продолжать «перечитывать» «Ярмарку тщеславия», — ду-

мал он, сворачиваясь калачиком под одеялом — Позабавлюсь проделками этой пройдохи Бекки Шарп»

В декабре, «перечитав» любимых классиков мировой литературы, Петр Арнанович обратился к историческим романам. Историю он любил страстно, почти так же, как географию.

Из «белой одиночки», из вьюжной зимы 1914—1915 годов, он теперь надолго уходил в другие столетия и странствовал по ним.

Это было бегство от действительности. За спиной бесшумно захлопывались двери в XX век, жандармы, оторопев, застывали, провожая узника растерянным взглядом, гасли отзвуки мировой войны, которая бушевала где-то далеко от Туркестана.

Была даже книга о подобных странствиях во времени. Написал ее Джек Лондон, и называлась она «Межзвездный скиталец» (в другом издании — «Смирительная рубашка»). Герой этой книги, профессор, был осужден на пожизненное заключение за строптивый нрав. Профессора подвергали пыткам, надевали на него смирительную рубашку и затягивали ее. Но профессор научился приводить себя в каталептическое состояние, в котором уже не чувствовал боли. Как бы оцепеневал, а мысль его свободно блуждала во времени, повторяя удивительные превращения человеческого духа. Считая это метемпсихозом¹, профессор якобы воскрешал в памяти прежние свои существования, видел себя то путешественником, который попал в плен к корейцам, то средневековым графом, то мальчиком, пересекающим с караваном пустыню «дикого» Запада.

Нечто подобное происходило и с Петром Арнановичем. Но, будучи материалистом, он, конечно, не думал ни о каком метампсихозе. Джек-лондонский профессор, преодолевая изощренное мучительство своих тюремщиков, применял по существу самогипноз. То же в известной степени делал и Петр Арнанович. Мог повторить слова Бегховена, который, оглохнув, сказал: «Наперекор судьбе проживу в искусстве тысячу жизней!»

(Кстати, экзекуции с помощью смирительных рубашек применялись и в России в саратовской тюрьме. Рубашка

¹ Каталептическое состояние — оцепенение, наблюдаемое при гипнозе, летаргии, истерии и т. д.

² Метемпсихоз — мистическое учение о переселении душ.

затягивалась на спине завязками туго-натуго. Заключенный был сдавлен, задыхался. Правда, в петербургских тюрьмах эти пытки не применялись.)

Говорят, на свете бывают не только талантливые писатели, но и талантливые читатели. Петр Арианович, несомненно, был таким талантливым читателем. И без преувеличения можно сказать, что книги, «перечитанные» им в заточении, повторяем, со строгим отбором, вернули ему душевное здоровье и силы...

Глава пятая

СПАСАЯ МЕНЯ, О РАЗУМ МОЙ!

Но все это было не то, не то! Петр Арианович томился по привычному умственному труду, целенаправленному, активному.

Все чаще возвращался он мыслями к прерванной на середине научной работе. Ему начала сниться по ночам его рукопись. Он любовно перелистывал ее, подравнивал и расправлял страницы, вносил на полях поправки и дополнения.

Сон начинался всегда одинаково. Петр Арианович видел себя за письменным столом, лампа под абажуром бросала круг света на бумагу, целые абзацы оживали перед глазами. Сдерживая нетерпение, он тщательно чинил карандаш, нарезал аккуратные четвертушки бумаги. Слева укладывал черновик, наброски, справа — отшлифованный уже беловик, заботливо сколотый скрепками. Подготовка к работе и сам процесс писания доставляли Петру Ариановичу неопишемое наслаждение.

Каждый раз, однако, сон заканчивался плохо. Под окном скрипел снег, слышны были приближающиеся шаги, тяжелые, уверенные. И тогда страницы падали из рук и разлетались по воздуху.

Ну что ж! Хватит причитать по этому поводу! Нужно воспользоваться вынужденной паузой в своей подпольной революционной деятельности и возобновить прерванную научную деятельность.

Революция не за горами, ни на секунду нельзя забывать об этом. Уж если питерские рабочие летом 1914-го начали воздвигать баррикады на улицах, то, стало быть, пролетар-

ской революции в России недолго ждать. Она назрела. Она неотвратима, как восход солнца после ночи!

Когда он, Ветлугин вернется в Питер, то вернется туда не с пустыми руками. Это будет его вклад в переустройство новой, социалистической России.

Как ученого Петра Ариановича характеризовал не только широкий круг интересов. Вот что очень существенно: он решал те или иные географические проблемы всегда сугубо утилитарно, связывая их решение с насущно важными отраслями народного хозяйства.

Пример. В результате анализа дрейфа льдов, обнаружив остров или группу островов в северо-восточном углу Восточно-Сибирского моря, он сразу же начал прикидывать: для какого конкретно-полезного дела приспособить эти острова?

Такое «дело» нашлось для них. В ту пору (десятые годы двадцатого столетия) русские ученые ломали голову над проблемой освоения Северного морского пути. Товарищ Петра Ариановича по партии Русанов пропал без вести, пытаясь проплыть на восток вдоль побережья Сибири. Несомненно, подобные попытки будут повторяться и далее, пока не увенчаются успехом. Тут-то — очень кстати — выступают из тумана острова, открытые Петром Ариановичем. Они станут своеобразным перевалочным пунктом. На них расположат метеостанцию, которая будет предсказывать погоду для мореходов на этом конечном, самом трудном отрезке пути.

Судьба забросила Петра Ариановича в Туркестанский край. Значит, его должна заинтересовать, увлечь самая важная географическая проблема этого края. Важнее орошения для Средней Азии ничего нет. Итак, орошение...

В стихах у поэта Дмитриева (начало прошлого века) есть проникновенная, видимо из глубины душ вырвавшаяся, строка: «Спасай меня, о гений мой!».

Петр Арианович мог бы сказать так и о себе — с одной поправкой: не гений, конечно, просто разум, «Спасай меня, о разум мой!».

Когда-то Петр Арианович интересовался проблемой орошения Туркестана и проштудировал уйму литературы об этом. Еще тогда, на воле, забрезжила у него одна идея. Не удалось, к сожалению, до конца доработать ее — захлестнули хлопотливые революционные дела.

Теперь, в этой деревеньке, выдалось неожиданное

свободное время — в неволе свободное. И пора было извлечь полузабытую идею из обширных запасников памяти.

Как все географы, Петр Арианович умел мыслить картографически. Он окидывал взглядом пять областей края: Закаспийскую, Сырдарьинскую, Семиреченскую, Самаркандскую и Ферганскую с вкрапленными в середину Хивинским и Бухарским ханствами, находящимися в вассальной зависимости от Российской империи. Ученый как бы в раздумье медленно парил над ними, охватывая взглядом одновременно тысячеверстные пространства, целый особый материк (так иногда называют Среднюю Азию — материк в материке), от ярко-синего, словно сапфир, Аральского озера до белых снежных громад Тянь-Шаня и Памира. Между ними все было желто и буро. Лишь узенькие зеленые полосы протянулись вдоль рек: Амударьи, Сырдарьи, Чу, Или. Таков был Туркестанский край в цвете. И такова была суть его — море песков и полынных степей.

Мысленно Петр Арианович проплывал в воздухе над глинистыми обрывистыми уступами Усть-Урта, над цепью озер в Узбое — бывшем ложе Амударьи и предполагаемым заливом Каспия, над волнистыми песками Кызылкумов, где вечно клубятся желтые песчаные бури, во время которых затмевается солнце и кажется, что наступила лунная ночь, над Бет-пак-Дала, усыпанной побелевшими костями и черепами животных, над оазисами Бухары, Хивы, Самарканда, где беспрерывно вращаются, оставаясь на месте, колеса чигирей, наконец, над необозримыми степями Казахстана и Киргизии, насквозь продуваемыми ветрами.

Равнинный Туркестан кончился. Дальше уже Небесные горы. Хребты их, сталкиваясь друг с другом, образуют хаос глубоких ущелий, огромных снеговых полей и гигантских вершин, над которыми, подобно сказочному видению, вздымается белая пирамида Хантенгри, что означает — «владыка Духов».

Половина всей Средней Азии покрыта песками, и они с каждым годом отвоевывают все больше и больше пространства.

Оазис Каракуль с селением того же названия был когда-то цветущим, многонаселенным. Сейчас осталась от него жалкая деревушка, окруженная развалинами домов и караван-сараяв, а так же могилами и засохшими без воды деревьями. Полностью засыпано селение Варданзи,

а ведь на картах первой половины XIX века оно еще значилось большим городом. Округ Ромитан совершенно опустошен песками — 16 000 его жителей вынуждены, бросив свои дома, переселиться в Хиву. Пески постепенно приближаются и к Хиве, а также к Бухаре. Пески теснят, выживают людей. Те бессильны в борьбе со стихией, потому что воды для орошения полей очень мало, а местами и вовсе нет.

Великий русский географ и путешественник Семенов-Тянь-Шанский сказал (Петр Арианович хорошо запомнил его слова): «Вся жизнь, богатство и будущее Туркестана зависит от воды».

Но и прошлое Туркестана целиком зависело от воды. Только благодаря искусной системе орошения, не уступавшей египетской, поднялись из песков великолепная Бактрия и Согдиана, а вслед за ними Хорезм гордых хорезмшахов.

Волны завоевателей прокатились одна за другой по Туркестану. Сотни тысяч людей были безжалостно истреблены, миллионы угнаны в рабство, красивые города сожжены и сровнены с землей, каналы разрушены.

И тогда на смену завоевателям прихлынул песок, еще более жестокий, неумолимый. И сейчас еще можно с птичьего полета различить кое-где внизу прямоугольные тени каналов, погребенных в песках.

Поправимо ли это? По-видимому, да. Но, понятно, только в новой, социалистической России, когда сделаются реально осуществимыми самые смелые мечты будущих ученых.

Мечтой Петра Ариановича ныне было орошение Средней Азии. Более того, он уже составил и проект этого орошения, который, конечно, нуждался еще в детальной разработке и проверке.

Но как, в какой форме лучше изложить его? Петру Ариановичу претила мысль, что в бумагах его при очередной проверке будет рыться господин исправник — «ваше скудоумие и свиномордие». Коротенькими пальцами, до омерзения напоминающими пухлых мучных червей, станет он перебирать страницы рукописи, многозначительно хмыкать себе под нос, то и дело испытующе вскидывать на Петра Ариановича взгляд. Чего доброго, изымет с дурного ума рукопись, хотя ничего крамольного в ней быть не может, и представит ее по начальству, надеясь выслужаться.

Нет! Бросить свои заветные идеи жандармам и полиции на разграбление? Ни за что!

По здравом размышлении Петр Арианович решил изложить свой проект частями в письмах к профессору Афанасьеву. В конце концов, это будет выглядеть всего лишь как обмен мыслями между двумя геологами по специальному вопросу, не имеющему отношения к политике. Авось сойдет, а?

Так началась эта переписка.

Петр Арианович написал профессору, что вода здесь — синоним счастья, что она благословенна и животворит землю, обращает пустыни в плодородные поля, пастбища и сады. При энергичном орошении даже пески покрываются буйной растительностью, а без орошения лучшие земли лежат без пользы. Мало воды в Туркестане, катастрофически мало!..

Недаром так называется одна песчаная пустошь — Адам-Крылган, то есть место, где гибнет человек.

Беда в том, что «среднеазиатский материк» представляет собой замкнутый бассейн. Реки его не несут свою воду в Мировой океан. Туркестанские реки впадают лишь в озера (Арал, Балхаш) или без следа угасают в песках.

Петр Арианович указывает далее на то, что поверхностных водоемов и водостоков здесь в пять раз меньше, чем в европейской части России.

Зато некоторые горные породы, залегающие на большой глубине, обильно насыщены водой, и она чиста, прохладна, вкусна, ибо приходит сюда с ледников.

Можно считать, что недра Туркестана до настоящего времени были, к сожалению, белым пятном на географической карте. Пора стереть это пятно!

Петр Арианович писал далее о том, что снеготалая или ледниковая вода стекает с гор Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Алтая, Урала по хорошо фильтрующимся горизонтам (песок, известняк, галечник), в которых множество пор и пустот. Постепенно она скапливается на водонепроницаемой глинистой подстилке под землей в аридных (пустынных) районах Туркестана: в Муюнкумах, в Кызылкумах, в Бет-пак-Дала, в Арало-Каспийской и Прииртышской низменностях, а также в степях, населенных казахами и киргизами.

Вывод: нужно поднять воду из-под земли на поверхность!

Что привлекает в таком решении проблемы? Первое:

высокая чистота подземной воды (в отличие от поверхностной, не требует очистки при эксплуатации). Второе: в зимний период вода не замерзает, так как поднимается из глубоко залегающих пластов. Третье: в летний период она имеет невысокую температуру. Наконец, четвертое: будучи слабominерализованной, благотворна для сердечно-сосудистых больных.

«Но где взять энергию для подъема воды в таких больших количествах?» — задавал себе вопрос Петр Арианович. И тут же отвечал: «Источник энергии рядом. Это почти беспрестанно дующие ветры над равнинным Туркестаном». На что до сих пор тратилась она, эта драгоценная энергия? На выветривание горных пород и сглаживание рельефа местности, на пылевые бури, на бураны, а также на ребяческие забавы с шарами перекати-поля.

Пора заставить туркестанский ветер работать на человека.

Воде не справиться в одиночку с пустынями. На помощь ей, по мнению Петра Ариановича, должен прийти ветер.

Итак, ветряки, ветряки, установленные повсюду на перепутье ветров, неутомимые работающие ветряки! (Таков ландшафт Голландии, хотя, кажется, там ветряные мельницы уже бездействуют.)

Не отдаст ли, однако, проект донкихотством? Ничуть. Ведь Петр Арианович не собирался воевать с мельницами, наоборот, предлагал повсеместно воздвигать их.

Петр Арианович уже знал, как закончит последнее свое письмо профессору с изложением проекта. Он напишет:

«Извлеките из-под земли бесполезную воду, то есть с помощью ветра пробурите скважины и качайте воду — оросите ею необозримые, выжженные солнцем степи и пустыни! И благодарность туркестанской земли не замедлит. Степь, поросшую высокой сочной травой, закроют отары овец и стада коров до самого горизонта».

Скоро ли это осуществится? Очень скоро. Но не в Российской империи! Только в Российской социалистической республике!

«Если мысли мои представляют какую-то ценность, то важно, чтобы они не погибли вместе со мной,— думал Петр Арианович.— Всякая плодотворная идея всегда шире и долговечнее человека, которому пришла в голову. Так пусть идея живет!»

И Петр Арианович продолжал работать.

Он установил жесткий режим дня, подобный тому,

какой установил для себя Николай Морозов. Каждая минута была заполнена с пользой для проекта. Ранний подъем и работа до завтрака при керосиновой лампе. Прогулка, если позволяла погода. Если не позволяла, то быстрая двухчасовая ходьба из угла в угол. Три раза в день гимнастика. А на сон грядущий нечто вроде успокоительной молитвы. Вытянувшись и закрыв глаза, Петр Арианович повторял мысленно: «День прошел хорошо. Я продвинулся в своей научной работе. Плохих снов у меня не будет. Увижу только добрые, успокоительные сны». И он действительно спал крепко, а утром вскакивал со своего топчана отдохнувший, бодрый, с нетерпеливым желанием поскорее засесть за работу над своим проектом.

Да, борьба, ежедневная, ежечасная! Но ведь лишь в борьбе, в постоянном неустанном преодолении препятствий спасение!

Профессор Афанасьев аккуратно отвечал на письма своего бывшего студента. Вероятно, понимал, что для него это неоценимая поддержка в его положении. Однако и сам проект, судя по ответным письмам, в общем ему нравился. И он спешил внести в него свои поправки и дополнения.

Глава шестая

БУРАН И ДРУЖБА

Внезапно, на исходе зимы, работа прервалась. В тот день Петру Ариановичу было с утра не по себе. Никак не удавалось выбросить из головы плохой сон (бывали ночи, когда «заклинание» не помогало). И сон-то был не страшный, просто тягостный. Кто-то с перекошенным злой гримасой лицом и потому неузнаваемый все время прерывал во сне работу, мешал, толкал под руку.

Сделав усилие над собой, Петр Арианович проснулся. Но длинная тень от сна легла на весь день. Тоскливая тревога сжимала сердце. Мысли вырывались из-под контроля, шли вразброд.

Петр Арианович заставил себя сесть к столу. В этом было его спасение! Очередным письмом к профессору заслониться от ненужных мыслей, от тоскливой дури!

И, заполняя бисерным почерком страницы, он начал входить в свое привычное рабочее состояние.

Пришлось зажечь лампу, хотя был еще день на дворе. Но что это? Лампа коптит, гаснет! Петр Арианович покрутил фитиль, приподнял лампу, качнул ее. Керосин булькнул на самом доньшке.

Он шагнул к бутылки, которая стояла у порога. Увы, керосину там почти не было. Даже и на вечер не хватит! А ведь впереди ночь! Петр Арианович и помыслить не мог о том, чтобы провести целую ночь без света.

Надо, стало быть, плестись за керосином в лавку. Хорошо, что день сегодня будний, лавка отперта.

Петр Арианович с неохотой надел тулуп, обмотал шею шарфом, нахлобучил шапку и, ругая себя за беспечность и бесхозяйственность, выбрался на улицу. Сплошная белая стена колыхнулась перед ним. Ну буран! Даже противолежащих изб не видно.

Лавка размещалась в центре деревни, то есть в семнадцатой избе, считая от околицы. Стало быть, сейчас надо пересечь улицу и двигаться далее почти на ощупь, отсчитывая одну избу за другой.

Пряча от колючих снежинок лицо в воротник, Петр Арианович нырнул головой вперед в метель.

Тотчас же ветер принялся толкать его в спину, в грудь, в бока. Это особенность здешних буранов. Ветер то и дело меняет направление, что очень затрудняет ориентировку.

В свое время, интересуясь этимологией слова «буран», Петр Арианович выяснил, что связано оно не с русским словом «буря», а с тюркским «бур», что значит «вертеть». И действительно, все вертелось вокруг.

Пройдя несколько шагов, Петр Арианович должен был бы наткнуться на стену, или на изгородь, или на дерево. Но не наткнулся. Странно... Он взял правее, вытянул перед собой руки. Пустота! Поспешно вернулся, круто повернул влево — то же самое!

Петр Арианович поднял голову. Солнце только угадывалось на небе сквозь полог летящего снега.

Неужели, переходя улицу, он повернул не влево, а направо и очутился за околицей?

Подобные случаи бывали. О них ходили странные рассказы. Года два назад одна крестьянка вышла за водой из дому в такую же примерно метель. Труп нашли только весной, далеко в степи...

Но не думать об этом, не думать! Не поддаваться панике, не распускаться! Кто самообладание потерял, тот все потерял!

Привычное упрямое озлобление охватило его. Не мог же он так глупо пропасть, отойдя всего несколько шагов от дома!

Петр Арианович продолжал идти, останавливаясь, временами проверяя себя. Нет, ничего не видно вокруг! Словно бы его опустили в кувшин с молоком. Но должны же быть стенки у этого кувшина!

Потом он брел уже по инерции, только бы не замерзнуть. Сомнений нет — заблудился в буране! Вокруг степь, на много верст степь и степь!

Тулуп не грел. Ватага хохочущих всадников в белых бурнусах носилась по степи, свистя бичами. Удары падали со всех сторон — Петр Арианович все шел, то и дело меняя направление. Или ему лишь казалось, что он меняет направление, а в действительности он кружил на месте.

С новым порывом ветра до него донесся слабый звон. Ага! Уже начались слуховые галлюцинации, предвестие конца!

Петр Арианович протянул руки вперед. Пальцы его скользнули по чему-то теплomu, шерстистому. Над самым ухом зазвенел колокольчик. Откуда в степи колокольчик?

Потом Петра Ариановича крепко взяли под мышки, потянули куда-то вверх.

Открыв глаза, он удивился. Что за чудеса? Он как бы плывет по пенистому морю, освещенному неярким солнцем. Вдали видны горы, поближе округлые вершины сопok, торчащие подобно островам. Рядом, в клубах снежной пыли, то появляются, то исчезают головы верблюдов. К изогнутым шеям их подвязаны колокольчики.

Таков буран в казахской степи. Обычно он проносится невысоко над землей, летящий снег покрывает пешеходов с головой, но всадники на верблюдах возвышаются над белым летящим пологом и продвигаются вперед, ориентируясь по очертаниям сопok.

— Сиди, ваше благородие, сиди! — услышал Петр Арианович над ухом голос с успокоительными интонациями. — Нельзя пешком в буран. Пропать мог.

Море клубящейся белой пыли расступилось, караван двинулся дальше. Петр Арианович закрыл глаза. Его непреодолимо клонило в сон. Смутно ощущал мерное покачивание, будто лодка ныряла в волнах.

Затем он осознал, что его снимают с верблюда и вносят на руках в дом.

Тот же озабоченный добрый голос сказал:

— В холодный сени клади! В теплый горница не клади, нельзя! Сразу в теплый внесешь, умрет! Очень сильно замерз!

Но сильный молодой организм выдержал испытание бураном.

Полдня еще метался ветер под окнами, потом затих. Зато мороз усилился. Стропила потолка в жилище Петра Ариановича потрескивали и скрипели, будто степь, потерпев поражение, скрежетала зубами от злости.

Празднично, всеми цветами радуги, сверкала в солнечных лучах изморозь на окнах. Это умилило Петра Ариановича, напомнило ему детство. (После пережитого он вообще некоторое время был в расслабленных чувствах.)

Через неделю ссыльного навестил новый его знакомый.

— Мухтамаев! — с достоинством представился он, ткнув себя пальцем в грудь.

— А имя-то ваше, имя как? — приподнимаясь на подушках и пожимая руку гостю, спросил Петр Арианович. И пошутил, стараясь за шуткой спрятать волнение: — В поминанье, гляди, запишу!

— Зачем записывать, так запомни, — бойко ответил гость. — Два имени, однако, имею, — добавил он с достоинством. — Одно мусульманское — Ибрагим. Другое, казахское, — Турсун. Значит, по-нашему: «Пусть живет». Я и живу!

Петру Ариановичу известно было, что у тюркских народов в ходу имена-пожелания: «Тохта» — «Стой», «Ульман» — «Не умрет» и т. д.

Отец и мать Ибрагима-Турсуна, давшие ему имя: Пусть живет, конечно, от всей души желали сыну добра. И он старался оправдать их родительские пожелания: был крепок, как репка, прочно стоял на своих выгнутых колесом ногах кочевника, а в узких глазах его, подпертых каменными скулами, сверкала такая жизнерадостность, веселье и ум, что Петр Арианович сразу же проникся к нему не только благодарностью, но и симпатией.

Род Турсуна зимовал неподалеку от деревни, а сам он, еще не достигнув возраста аксакала¹, считался у себя в ауле почтенным, серьезным человеком, почему и выполнял иногда различные общественные поручения.

Одно из таких поручений Турсун-Ибрагим выполнял в

¹ Аксакал — седая борода; в переносном смысле — мудрый, убеленный сединами человек.



волости в день своей драматической встречи с Петром Ариановичем в степи. В аул он возвращался вместе с попутчиком-почтальоном, в сумке которого лежали также письма и посылка с книгами для ссыльного. Получилось так, что Петр Арианович был не только спасен от смерти, но и получил одновременно новый заряд бодрости — сразу книги и три письма: от матери, от невесты и от старшего своего друга — профессора Афанасьева.

Мать давала, по обыкновению, наивные житейские советы: избегать простуды, не выходить без галош на улицу, при кашле растирать грудь скипидаром на ночь. Что касается профессора, то он послал необходимые Петру Ариановичу для работы книги.

— Вот и хорошо, что ты веселый стал, ваше благородие,— поощрительно говорил Турсун-Ибрагим, сидя на лавке у окна и держа на раздвинутых пальцах чашку, наполненную чаем.— Это последний буран был. Скоро весна придет. Тогда наша степь, увидишь, красивой станет, красной.

Глава седьмая

НАШ РУССКИЙ

И впрямь весна в Казахстане искупает все безрадостное однообразие зимы. Сплошь покрыта тогда степь цветами, и больше всего здесь тюльпанов.

— Пурпур, багрянец, алый! — восторженно перечисляет оттенки Петр Арианович, а тюльпаны кланялись перед ним, сгибаясь от ветра, и казалось, что вспыхивают в траве бесчисленные язычки пламени.

— Смотри, смотри! — поощрительно говорил Турсун-Ибрагим, приехавший навестить друга.— Летом жарко будет, не увидишь в степи цветов.

Он сопровождал Петра Ариановича за околицу и бережно усаживал его на пригорке. (Так бывает в жизни: люди привязываются к тем, кому оказали важную услугу в жизни.)

В глаза бьют блески, множество блесков. То сверкают на солнце маленькие озера и лужи. За лето, высыхая, они превращаются в зеркально ровные глинистые площадки.



Жадно, всей грудью, вдыхал Петр Арианович аромат степных трав.

Но, к удивлению своему, он не чувствовал уже той тоски, которая чуть было не довела его до гибели зимой. Болезнь ли так встряхнула, ободрение ли знаменитого геолога? Профессор Афанасьев был строг, придирчив, отнюдь не раздавал свои похвалы налево и направо. Если одобрил работу, к которой приступил его ученик, значит, работа, бесспорно, важна и заслуживает одобрения.

И потом, Петр Арианович не был уже одинок. Рядом находился и верный друг с веселым и бодрым именем Пусть живет.

Частенько Петр Арианович наведывался теперь в аул Турсун-Ибрагима. Подле зимних строений — жилья и сараев — белели уже раскинутые юрты: аул готовился к летней откочевке.

Гостя встречали неизменно приветливо. Войлочная завеса, заменявшая входную дверь, по весеннему времени была откинута. Распахнуто было и верхнее надкупольное отверстие, в которое столбом поднимался густой дым от кизяка.

Тотчас же выставлялись на коврик деревянные, выкрашенные блестящей краской чашки и предлагалось угощение: разогретый на очаге просяной отвар и боурсаки — кусочки пресного теста, жаренные на бараньем сале. Но гость предпочитал всему коспу — толченное просо с творогом, маслом и медом, потому что, как ни совестно в этом признаться, Петр Арианович был и остался сладкоежкой.

Гордясь тем, что может предложить гостю хорошее угощение, Турсун-Ибрагим поглаживал свою бороду и говорил:

— Зима хорошая была, без гололеда. А когда бывает с гололедом, тогда делается джут¹, падают овечки, верблюды, лошади. — И задумчиво добавил: — Зимы нет, зима прошла. А какое лето будет, вот что ты скажи! — И, взглянув из юрты, с сомнением смотрел на небо.

После угощения друзья выходили и садились на траву. Трудно было разговаривать в юрте, потому что там все время толклось множество детей. (Петр Арианович так и не научился различать их по именам.)

— Когда много детей в доме — базар, — говорил Тур-

¹ Дж у т — бескормица. Скот не может пробить копытами лед и добраться до травы.

сун-Ибрагим, добродушно улыбаясь. — А когда мало — мазар¹.

Нужно отметить, что лошадьми своими он гордился больше, чем детьми. (По тамошним меркам Турсун-Ибрагим не был богатым человеком, но все же имел штук тридцать овец, несколько верблюдов и косяк, состоящий из двадцати кобыл — байтал и одного жеребца — айгыр.

— Гляди, какой айгыр у меня! — самодовольно говорил он. — Не бежит — летит по воздуху! Потому что произошел от хазараспа — от тысячи крылатых лошадей!

И он рассказал гостю легенду о тысяче крылатых лошадей. Царь Сулейман, который повелевал не только людьми, но и джиннами², заметил, что волшебные лошади каждый день приходят пить из ручья. Он подмешал в воду снотворное зелье, лошади напились и тут же улеглись у водопоя опять на траву. Люди Сулеймана пришли, отрезали им, сонным, крылья и стали ездить на них. Так от волшебных крылатых лошадей произошли быстрые лошади казахов...

С утренним пылом продолжал Петр Арианович переписку с профессором Афанасьевым. Теперь работал он больше по ночам. День проводил в степи, изучал погоду с помощью самодельных метеоприборов.

Часами мог наблюдать ссыльный за передвижениями муравьев или созерцать облака, остановившиеся над горизонтом.

Однажды Турсун-Ибрагим пришел по делам в деревню и, освободившись, принялся искать своего друга. Дома его не было. Казах нашел Петра Ариановича сидящим в глубокой задумчивости в степи.

— Скучаешь? — спросил Турсун-Ибрагим, присаживаясь рядом на корточки и закуривая трубку. — По дому скучаешь, по матери, по девушке своей?.. Что молчишь?

Петр Арианович указал на муравейник.

— Дождь скоро будет, — сказал он. — Смотри, как муравьи волнуются, мечутся, спешат, поскорей ташат все к себе в муравейник.

Турсун-Ибрагим кивнул.

— Верно, — сказал он. — Будет дождь. Я мимо речки ехал. Птицы низко летают над водой. А почему низко?

¹ М а з а р — гробница, кладбище.

² Д ж и н н ы — духи восточных сказок.

Он знал примету, но не мог объяснить ее.

А закономерность была проста. Между необычным поведением птиц и надвигающимся дождем Петр Арианович обнаружил промежуточное звено: поведение наскомых и рыб. Воздух делался более влажным — пушок, волоски, покрывающие крылья стрекоз, впитывали влагу и тяжелели. Стрекозы начинали ниже летать. Спускались и птицы, преследуя их, а рыбы в погоне за стрекозами начинали выскакивать из воды.

В степи, подле старого, заброшенного колодца, появились первые самодельные метеоприборы — флюгер, гигроскоп, дождемер.

Любая деталь, от крылатки флюгера до винтика в гигроскопе, досталась Петру Ариановичу ценой упорного труда, уловок, ухищрений. А о маленьком ветрячке и говорить нечего. В деревенской кузнице Петр Арианович отковал ось и кривошип. Шатун и лопасти были деревянными. Ничего особо оригинального в конструкции — подобных ветрячков он видел немало в дачной местности под Москвой. Но попробуй-ка соорудить ветряк в деревне, населенной староверами, где все смотрят на тебя исподлобья!

В ветреные дни ветрячок старательно качал воду. Сыновья Турсун-Ибрагима, считавшие его собственностью своего семейства, с достоинством давали объяснения.

— Наш русский (так, в отличие от крестьян — «чужих русских», именовали они Петра Ариановича), наш русский привязал ветер к крыльям. Теперь ветер таскает воду со дна.

Казахов очень забавляло также запускание воздушных змеев, с помощью которых, за неимением шаров-пилотов, Петр Арианович изучал направление ветра в верхних слоях атмосферы. Усевшись в сторонке, степные жители наслаждались удивительным зрелищем.

— О! Наш русский — хитрый человек. Умеет приманивать ветер. Глядите-ка, глядите, подул!..

Люди приезжали издалека, чтобы полюбоваться на ветряк, и флюгер, и солнечные часы, а также посоветоваться о том, снежная ли, по мнению Петлукина, будет зима, утеплять ли сараи для скота? (Давно казахи перестали называть его «ваше благородие» — называли «Петлукин», переименовав по-своему его фамилию.)

Соблюдая сосредоточенное, почти благоговейное молчание, приезжие усаживались в круг подле маленького самодельного гигроскопа.

Из соломинки длиной в пятнадцать сантиметров Петр Арианович вырезал две узкие полоски шириной не более полутора миллиметров и сложил их так, что свободные концы разошлись наподобие усиков таракана. Сложенные концы были укреплены неподвижно.

Когда в воздухе появлялось много влаги, что было предвестием дождя, соломинки сближались. Когда воздух делался суше — расходились в разные стороны. Для измерения влажности воздуха служил разграфленный деревянный щиток, по которому усики двигались, как стрелки по циферблату.

После того как гости, удовлетворив любопытство, принимались за чай, Петр Арианович, в свою очередь, приступал к ним с расспросами. Когда начинаются заморозки в их местах? Рано ли выгорает трава? Каких направлений ветры преобладают? Турсун-Ибрагим не успевал переводить.

А пока Петр Арианович заносил драгоценные для метеорологических прогнозов сведения в тетрадь, Турсун-Ибрагим распространялся о высоких добродетелях своего друга.

— Царь боится его, — шептал он гостям в пушистых малахаях. — Поэтому держит далеко от себя.

— А почему боится царь?

— Потому что Петлукин желает бедным добра.

Гости с оживлением поворачивались к Петру Ариановичу:

— А что нам желает Петлукин?

Петру Ариановичу переводили вопрос. Он с улыбкой смотрел на обращенные к нему лица. Кое-где из-за спины взрослого выглядывал ребенок в пестрой тюбетейке, поблескивая черными глазенками. Дети любили Петра Ариановича и не боялись его.

«Такой бутуз, — думал Петр Арианович, — будет когда-нибудь управлять погодой в казахской степи, останавливать ветер на всем скаку, как коня, и на невидимом аркане притягивать тучу с дождем к земле...»

Одним простым словом можно было ответить на заданный казахами вопрос.

И Петр Арианович отвечал без колебаний:

— Воды! Хочу, чтобы летом в степи было много, очень много воды!

Пушистые малахаи удовлетворенно кивали. Вода, вода! Как хорошо это звучит: летом много воды!..

Надвигалось лето. И по всем признакам обещало быть очень жарким, засушливым.

До поры до времени исправник, видимо, не придавал значения тому, что популярность ссыльного в степи растет. Вдумавшись в это, конечно, прекратил бы сборища у гигроскопа и дождемера. Но вверенный его присмотру П. А. Ветлугин на поверхностный взгляд вел себя тихо, жил очень замкнуто, не делая попыток общаться с жителями деревни, копался в каких-то своих бумажонках. А что совершал иногда далекие прогулки в степь, то нельзя же считать их противозаконными! Запрети гулять — получишь, чего доброго, нагоняй от начальства. Не заботишься, мол, о здоровье ссыльного!

Глава восьмая

ПОДЗЕМНАЯ РЕКА

Аул Турсун-Ибрагима отправился в летнюю откочевку, иначе на жайляу, в предгорья, и Петр Арианович поехал вместе с аулом.

Существенную помощь в этом оказал ему земский врач. Осмотрев Петра Ариановича, когда тот приехал в больницу в волость, он с неудовольствием выпятил нижнюю губу.

— Не нравятся вы мне, честно говоря, — заявил он. — Правое легкое у вас хрипит. Ночные выпоты бывают? Ну, вот видите! Нечего было разгуливать по степи в буран! — Он задумчиво побарабанил по столу: — Что ж, в Ялту или, тем более, в Ниццу послать вас не могу, не облечен такой властью. Но знаете что: отправляйтесь на лето с кочевниками в горы! Окрепнете там, поздоровеете! И кумысу, кумысу пейте побольше! Читали небось: Лев Толстой только им и спасся от угрожавшей ему чахотки. А медицинскую справку я напишу. Убедительная будет справка!

В поездке ссыльного на жайляу исправник не усмотрел ничего предосудительного. Документ на этот счет выправлен был на официальном бланке, с разными мудреными словами по латыни. Чего же еще?

...И вот перед восхищенным Петром Ариановичем распахнулись объятия предгорий.

С вечера еще казахи начали готовить впрок пищу, снимать войлок с юрт, складывать их разборный деревянный остов и вычистить на верблюдов вместе с кошками, коврами, котлами, посудой, а также корзинами, в которых полагается сидеть детям во время откочевки.

Ночь прошла в хлопотливых приготовлениях. На рассвете следующего дня аул тронулся. Впереди, наполняя воздух ржанием, двигались косяки лошадей, за ними выступали нагруженные верблюды, а рядом рысили всадники и бежали злющие собаки — опасность нападения степных волков заставляла держаться кучно.

Петр Арианович выбрал себе смирную конягу и старался сидеть в седле немного боком, подражая казахам. На вольном степном ветру дышалось необыкновенно легко.

Забавные, круглые головенки малышей, как грибы, выглядывали из корзин, переброшенных через спины верблюдов, а те выступали один за другим величавой, медлительной поступью, будто исполняя какой-то старинный танец. Лошади же шли тропотным — мелким задорным шагом.

Солнце грело уже не по-весеннему. Так приятно было, подтолкнув конягу каблуками, проскакать коротким галопом вдоль шествия — бодрящий встречный ветер освежал лицо.

По прошествии нескольких дней добрались, наконец, до места назначения.

В горах каждый аул имел свое урочище.

Завидев посреди просторного луга узенькую речушку, к ней сломя голову ринулись овцы и лошади. Нескольким стригункам не хватило места на берегу. Не сумев протолкаться к воде, они с жалобным ржанием бегали по лугу взад и вперед.

Летом казахи нескольких аулов размещались вдоль реки на расстоянии одного «ягнячьего» перехода друг от друга. Места здесь богатые. По берегам растет тростник, дикая акация, шиповник. В оврагах и ущельях полно земляники — раздолье для ребятишек.

Отдохнув после дороги, Петр Арианович с удвоенной энергией возобновил свои научные исследования.

Его интересовала речушка, на берегу которой аул Турсун-Ибрагима поставил свои юрты. Пройдя по течению вниз, Петр Арианович убедился в том, что она, во-первых, не имеет притоков, во-вторых, не впадает никуда — ис-



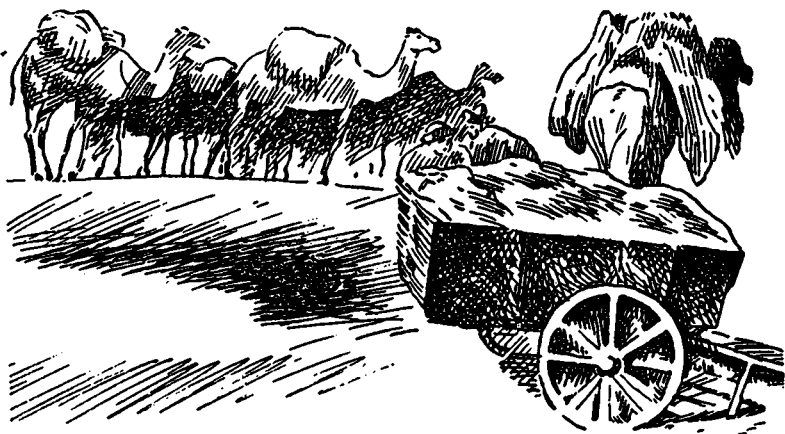
сякает в степи, образовав там небольшое болотце. Да, так оно и должно было быть.

На следующий день Петр Арианович в сопровождении сыновей Турсун-Ибрагима отправился уже вверх по течению реки, к ее истокам. У подножия крутой горы он обнаружил то, что искал, — родники. Из-под скалы, окаймленные кустарником, били под большим напором три фонтанчика.

Вот, стало быть, что! Догадка Петра Ариановича подтвердилась. Талая вода шла под землей с гор, упрямо проталкиваясь сквозь фильтрующиеся горизонты. Возле скалы подземная река частично разгружалась, выходя наверх по тектоническим разломам и трещинам. Таково было происхождение родников. Итак, у неказистой степной речушки есть двойник. Глубоко под землей протекает вторая река, но значительно более полноводная. Если хотите, наземную речушку можно назвать неказистым ее ответвлением или притоком. А общим поильцем их является ледник, это не подлежит никакому сомнению.

Петр Арианович поспешил зарисовать предполагаемый геологический разрез местности.

Обе реки, верхняя и нижняя, шли в предгорьях под уклон. Ложем верхней, видимой реки служил песок, кое-где



галечник. Песок водопроницаем, вбирая воду ледника, пропускал ее через себя. Так образовалось второе, куда более мощное русло реки-невидимки. Ложем ей служила водонепроницаемая глина.

Верхняя река, как сказано, иссякала без следа. Нижняя пробивалась и стремилась дальше. Где-то там, глубоко в степных недрах, натыкалась она в конце концов на водопупор и растекалась под землей, образуя там обширный, но невидимый водный бассейн.

Это и было искомое мощное месторождение чистой, прохладной, вкусной воды в пустыне.

Увы, для того чтобы добраться до него, чтобы поднять на поверхность драгоценную влагу, требовались грандиозные усилия, большие буровые работы, о чем бедный ссыльный мог пока только мечтать.

«Но, несомненно, после революции,— утешал он себя,— сюда будут доставлены современные мощные буровые машины. И тогда все преобразится вокруг».

Петр Арианович не замедлил замерить расход воды в речушке.

Он наметил для замера три одинаковых отрезка: у истоков, в середине и в низовьях.

Сыновья Турсун-Ибрагима с величайшей готовностью

сплавали с берега на берег, таща за собой веревку. Таким образом измерена была ширина реки. Они же, ныряя, измерили и глубину ее. Стала известна площадь сечения реки.

Затем Петр Арианович бросил в воду кусок дерева и зашагал вслед за ним. Один шаг — один метр, всего двадцать шагов вдоль каждого отрезка.

При этом засекалось время. К сожалению, часы у Петра Ариановича были обыкновенные, без секундной стрелки, но он знал, что, произнося вслух два слова: «двадцать один», тем самым в точности отмечает одну секунду. Сопровождавшие его неотлучно сыновья Турсун-Ибрагима с трепетом страха и восхищения принимали это бормотание за волшебные заклинания.

Глава девятая

**«СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ШЕЛ
ДОЖДЬ!»**

Но по прошествии полутора недель Петр Арианович стал замечать, что уровень воды в речушке падает, и очень быстро. Она мелела. Плохой признак!

С беспокойством переводил он взгляд с реки на небо. По вечерам небо было очаровательного зеленоватого цвета.

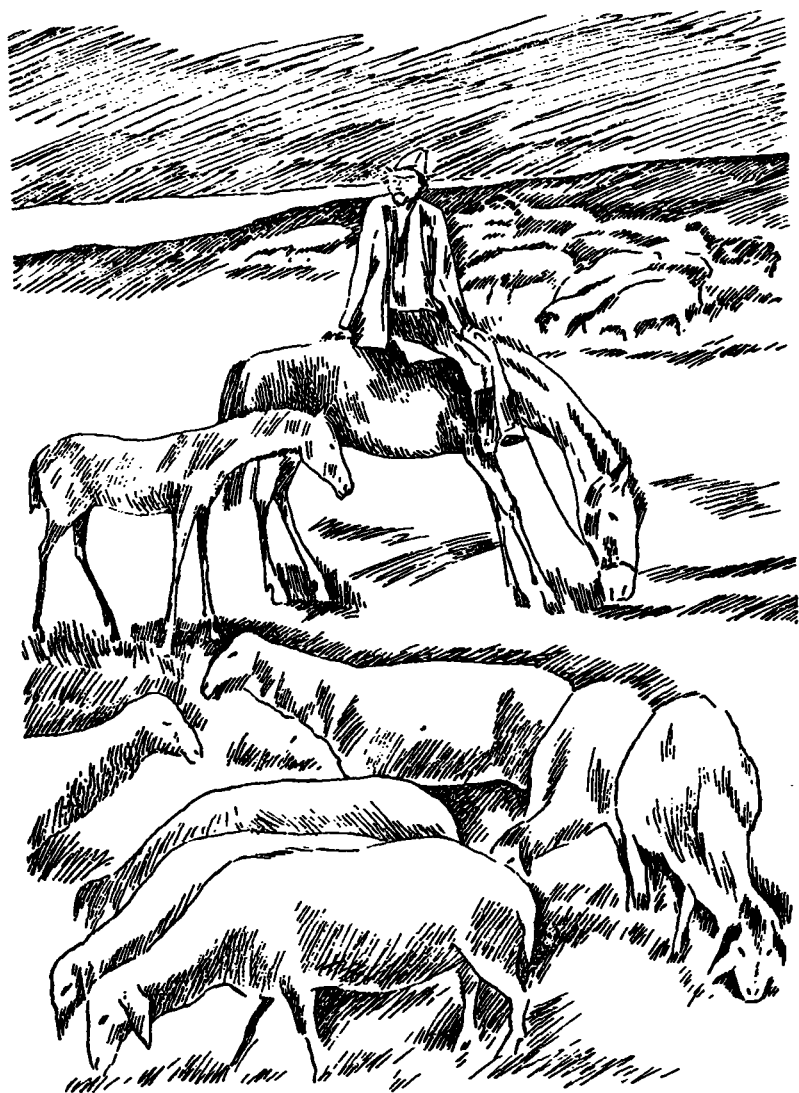
«В верхних слоях атмосферы,— соображал Петр Арианович,— мало влаги. Такое небо предвещает засуху».

Он расставил на земле свои метеоприборы. Показания приборов были неутешительны.

Не радовали и закаты. В тот момент, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, вдруг, словно меч, выхваченный из ножен, вырывался вверх изумрудный луч. У моряков он считается хорошей приметой: предвещает штиль, безветрие. Земледельцам же и скотоводам сулит, наоборот, плохое — длительную засуху.

— Да, мало будет воды, мало,— говорил Турсун-Ибрагим. И обычно веселое, жизнерадостное лицо его принимало озабоченное выражение.

Вскоре и люди и скот начали страдать от жажды. Река



почти пересохла. Введена была строгая норма на воду. Сначала ее — она была еще прозрачна — получали дети. Взрослым доставалась мутная вода, которую кипятили и пили в виде чая: горячая вода лучше утоляет жажду. Наконец к ручейку подводили жалобно блеющих овец и вытягивающих шеи лошадей и верблюдов.

Начался падеж овец.

Петр Ариннович, живший в юрте своего друга, обнаружил, что сделался в стойбище центром внимания. Почему-то за ним ходили неотступно, ловили его взгляды, явно ждали от него чего-то.

Однажды вечером, выпроводив из юрты жену и детей, Турсун-Ибрагим подсел к Петру Ариановичу.

— На! — сказал он и, оглянувшись, протянул на ладони две соломинки и свежевыструганную дощечку.

— Зачем это, Турсун?

— Сделай так, как ты делал весной. Сделай так, чтобы шел дождь! Людям нужен дождь. Ничего, если это будет маленький дождь.

Петр Арианович удивленно молчал. Друг его сказал, заглядывая ему в лицо:

— Почему ты молчишь?

Петр Арианович продолжал молчать.

Рассердившись, Турсун-Ибрагим вскочил на ноги. Тень в широкополой шляпе метнулась по стене юрты.

— Я же видел: ты смотрел на соломинки и что-то шептал — и они сходились. После этого шел дождь. Иногда он шел целый день. Почему ты не хочешь вызвать его теперь?

Петр Арианович сделал движение, собираясь ответить, но Турсун остановил его и рывком отбросил войлочную завесу. Над стойбищем висели жалобный рев животных и плач детей.

— Днем от жары небо валится на голову, — пожаловался Турсун. — Ночью, даже ночью, дышим, как рыба, выброшенная из воды. Почему не хочешь нам помочь?

Что мог на это сказать Петр Арианович?

Он понимал, что для кочевника скот — это всё: и тягловая сила, и пища, и материал для одежды. Погибнет скот, погибнут вслед за ним и его хозяева.

Друг простодушно попросил: «Вызови заклинаниями дождь, пусть это будет хотя бы маленький дождь!» Как объяснить другу, что метеорологические приборы умеют лишь предсказывать, но не предотвращать несчастья?

О, если бы он, Ветлугин, был действительно добрым

волшебником и мановением жезла мог поднять на поверхность те огромные водные запасы, которые лежали под землей! Но он не мог этого сделать...

...Время шло. И нигде было спрятаться от зловещего зеленого меча, поднимающегося над горизонтом.

В стойбище привезли старуху, умеющую заговаривать кровь, лечить травами и знавшую, по слухам, заклятье против засухи. Сын ее, дюжий малый с одутловатым сонным лицом, растолкал толпу и провел мать в шатер к Турсун-Ибрагиму.

Тогда Петр Арианович ушел в степь и лег ничком в пожухлую траву. Вскоре донесся до него топот множества ног и завывание.

Что делала сейчас колдунья? Развязывала узелки на веревке либо расплетала свои седые косы, что, согласно колдовскому ритуалу, должно было знаменовать освобождение стихии?

И что делал Турсун-Ибрагим, его опора, друг, помощник? Вместе со всеми ползал на четвереньках, отбивал поклоны, кричал и кривлялся, вымаливая дождь у недоброжелательных духов степи?..

Казахи верили до сих пор не только в Аллаха, но одновременно, по старой памяти, и в некоторых языческих богов. Обычно их старались умиловить прежде всего.

— Зачем добрым духам жертвы давать? — объяснял Петру Ариановичу практичный Турсун. — Они же добрые, и без жертв помогут. А вот злые... О, с теми надо очень осторожно поступать!

Среди духов степи введена строгая специализация. Так, злой дух Албасты вредит по преимуществу детям и женщинам. Другие духи, каждый строго по своему ведомству, — овцам, лошадям или верблюдам.

Без верблюда казаху не жить. Поэтому верблюжонка с первых дней рождения окружают особой заботой, выдерживают некоторое время в юрте, причем прячут в темном уголке за кошами, боясь сглаза. Вдобавок его еще и обвешивают амулетами, тряпичными или деревянными треугольниками, внутри которых спрятаны заклинанья, написанные арабскими буквами. Подобные амулеты якобы предохраняют верблюжат от простуды и поноса.

Со многими подобными диковинными суевериями столкнулся Петр Арианович на жайляу. И вот, разуверясь ныне в его помощи, жители аула прибегли к услугам колдуньи.

Шум возле юрты Турсуна затих, на небе выпали звезды, Петр Арианович продолжал лежать, не замечая холода.

Во всем теле была странная легкость.

Со вчерашнего дня он ничего не пил, днем очень мучился от жажды, но сейчас пить не хотелось. Так бывало перед болезнью. Голова ясна и свежа, он отчетливо представляет себе всю грозную реальность происходящего.

Как выжать дождь из безжалостного неба, на котором ни облачка? Или — по-другому — как выжать воду из земли, которая до предела суха, потрескалась от сухости, но только на поверхности своей, а на глубине наполнена драгоценной влагой?

Выжать, чтобы выжить... Каламбур? Не смешно...

По временам Петру Ариановичу казалось — и это было также одним из признаков его болезненного состояния, — что он, прижав ухо к земле, слышит слабый плеск оттуда. Нелепость! Море, которое лежит на сотни метров под землей, особое — бесшумное. Его неправильно называть морем. На нем нет штормов, валы, пенясь, не набегают на берег. Это просто многометровые толщи земли, насыщенные миллионами кубометров пресной воды.

Вода, вода... И ведь она сравнительно близка. Но поговорка гласит: близок локоть, да не укусишь...

Степь на сотни километров вокруг охвачена медленным пожаром засухи.

Звездная ночь неслышно течет над Петром Ариановичем, лежащим ничком на земле. Спит ли он? Нет. Это, собственно, не сон, а состояние, пограничное между сном и бодрствованием. Физически он чувствовал себя обессиленным, разбитым. Но неотступно продолжал думать об одном и том же. Мысли приобрели необычную ясность, а окружающее, реальное стало расплывчатым, как бы отступило на второй план.

Петру Ариановичу представилось, что он идет в пустыне, бесконечно усталый, с трудом передвигая ноги, увязая в песке. Знает, что это Египет, — на горизонте проступают смутные контуры пирамид.

Он споткнулся, поднял голову, увидел, что стоит у подножия статуи. То была фигура сидящего человека, высеченная могучим резцом. Поодаль темнел другой силуэт. Огромные руки были сложены на коленях, лицо с грубыми чертами обращено на восток.

Оба колосса схожи, как близнецы, только у первого

верхняя часть туловища обвалилась, голова и плечи лежат у постамента. Петр Арианович понял, что он вблизи Фив, а колосс, возвышающийся над ним, носит имя Мемнона.

Быстро светлело на востоке. Зашуршали пески, подул предутренний ветер. Огромный красный диск всплыл над пустыней. И тотчас раздался над ухом торжественный басовый звук. Он был протяжен и долго вибрировал, затихая.

Петр Арианович обернулся. Обезглавленная фигура колосса позолочена лучами солнца.

Да, удивительный феномен, о котором неизменно упоминают на лекциях по метеорологии!

При землетрясении 27-го года верхняя часть статуи обвалилась, и колосс на рассвете начал издавать звук, напоминающий трепет замирающей басовой струны. Предполагалось, что Мемнон (согласно мифу, он был сыном Зари) приветствует так появление своей матери. Император Септимий Север приказал реставрировать статую, надеясь, что она будет петь еще лучше. Но после реставрации статуя, к всеобщему удивлению, онемела.

Какое отношение имеет это к изнывающей от жажды степи, к ждущим помощи казахам, о которых Петр Арианович не может забыть даже во сне?

Феномен Мемнона объяснен. Воздух, проникая глубоко в трещины охлажденного камня, осаждал там росу. При первых лучах солнца происходило бурное ее испарение, камень распирало, разрывало изнутри — он звучал! Стоило закрыть трещины, исправить повреждения, и колосс умолк навсегда. Все дело, оказывается, было в росе.

Недаром ее называют дождем пустынь. А на морских побережьях росы и туманы создают так называемые «горизонтальные осадки». У нас в России гряда Крымских гор стала естественным гигантским конденсатором росы. Часто высокая трава в степи после очень ясных, звездных ночей гнется до земли, обремененная росой. Более того, под утро в высоких прибрежных скалах скапливаются лужицы воды. Но в отличие от колосса Мемнона, скалы в Крыму безмолвны.

В молодости, будучи студентом, Петр Арианович совершил пешую экскурсию по Южному берегу Крыма. Побывал он и в каменном лабиринте руин Херсонеса, древней греческой колонии. Несомненно, еще в античном мире люди научились «отцеживать» влагу из атмосферы. На глазах у Петра Ариановича вскрыты были ряды кладок из

неотесанного камня. Рядом с ними жители древнего Херсонеса выращивали виноград.

Прошагав по Южному берегу на северо-восток, Петр Арианович очутился в Феодосии. В средние века, когда ею владели генуэзцы (тогда она называлась Кафой), ее осадили турки и татары. Надеясь жаждой принудить защитников Кафы к сдаче, они, обложив город, отрезали его от источников воды. Но упрямые генуэзцы низвели воду с небес. Они пили росу, которая накапливалась между камнями, уложенными особым способом, вроде сот улья. Кафа выстояла.

Дивясь изобретательности генуэзцев, Петр Арианович со вниманием рассматривал сохранившийся от разрушения каменный конденсатор для уловления влаги из воздуха. «Нужда научит,— подумал он.— Нужда всему научит».

...Петр Арианович поднял голову, чтобы всмотреться в лицо Мемнона, но вместо желтых песков увидел бурую степь. Солнце поднялось уже высоко над нею.

Ладонью он провел по щеке. Что это? Плакал во сне? Нет. Как будто нет.

Он рассеянно следил за юрким тушканчиком, который, осмелев, подскочил к груде камней, заменявших Петру Ариановичу изголовье, и принялся суетливо вылизывать расщелину.

Почему бы не последовать в беде примеру догадливого тушканчика?

Петр Арианович склонился над грудой камней, у которых провел ночь в причудливых мысленных странствиях по Египту и Крыму.

— Друг! — донеслось издалека до него.— Ты здесь? Я повсюду ишу тебя.

Со стороны стойбища приближался Турсун-Ибрагим с глиняным кувшином в руке. Значит, за колдовской историей не забыл о друге!

— Ты заболел? — участливо спросил он.— Ты не привык без воды. Тебе труднее, чем нам. Пей!

Он протянул Петру Ариановичу кувшин, на дне которого плеснула коричневая жижа.

Петр Арианович поднялся с земли и отстранил кувшин.

— Камни! — сказал он.— Слушай, Турсун, мы заставим камни давать нам воду!

Турсун-Ибрагим с изумлением взглянул на своего друга.

— Камни?

— Да. Выжмем воду из камней. Они помогут нам столкнуться зной и холод, знойный день и холодную ночь. Что ты так смотришь на меня? Я в своем уме.

Так, подгоняемый надвигающимся бедствием засухи, человек впервые в Туркестане вмешался в битву гигантов над своей головой...

Петр Арианович установил, что конденсация водяных паров происходит не только над поверхностью почвы, но и в самой земле. В пустынях и полупустынях такая «подземная роса» служит дополнительным источником питания растений. На юге Средней Азии роса образуется большей частью за счет испарения неглубоко залегающих грунтовых вод.

По замыслу Петра Ариановича насыпной холм должен был представлять собой гигантскую каменную губку. Мало того, что «губка» вбирала ночью влагу из воздуха и сберегала охлажденную росу до утра, — она препятствовала ее испарению.

Удивительная весть облетела стойбище. Петлукин нашел воду в степи! Источник воды таится не в земле, а в воздухе!

— Поднимайтесь, выходите в степь! — сзывал людей Турсун-Ибрагим, обходя юрты. — Петлукин приказал собирать камни. Все выходите — женщины, старики, дети!

В земле по указанию Петра Ариановича было вырыто и тщательно уложено мелкими камнями чашеобразное углубление — водоем, куда должна стекать вода. Узкий желоб выводил воду наружу.

Над сводами водоема начали насыпать камни. Их предварительно раздробляли, чтобы гора была пористой.

Весь секрет был в особой, хитроумной кладке камней.

Петр Арианович окидывал взглядом долину пересохшей реки: она стала похожа на развороченный муравейник. Всюду копошились люди. Маленькие дети и те не отставали от взрослых, таща в подолах груды небольших камней.

А вдали, у самой черты горизонта, чернели силуэты неподвижных всадников. То были пикеты, выдвинутые в ту сторону, откуда мог невзначай нагрянуть исправник.

Каменный холм построен был в последние дни июля. Сотни людей съехались со всех сторон посмотреть на степное диво. Мало кто спал в эту ночь, многие разложили

кошмы прямо на земле вокруг холма — первыми хотели увидеть долгожданную воду.

О появлении ее раньше всех узнал старший сын Турсун-Ибрагима.

— Звенит! — крикнул он Петру Ариановичу, лежавшему рядом с ним у подножия холма.

За каменной преградой слышался перезвон капель, которые суетились внутри холма, как пчелы в улье.

Могучим толчком солнце поднялось над степью. Петр Арианович отвалил плиту, закрывавшую выход из водоема. Торопливо стуча по каменному желобу, побежала струя.

— Вода, вода!

— Остановитесь! — раздался вдруг визгливый голос. — Не пейте! Вода нечистая!

Из задних рядов, размахивая руками, проталкивался к холму мулла.

— Остановитесь! — кричал он. — Вспомните: русские — враги казахов! Они проникли в наши степи, как враги! Заклинаю вас кораном, не пейте этой воды! Ее дал наш враг русский!

— Но ведь это Петлукин! Какой же он враг? — укоризненно возразил Турсун-Ибрагим. — Это наш русский! И потом, разве ты забыл старую поговорку: капля воды, поданная в пустыне, смывает грехи за сто лет?

И, отодвинув локтем муллу, он зачерпнул пиалой воды из желоба и подал самому младшему из своих сыновей...

...Однако весть о недозволенном дошла с опозданием до начальства. В Верном переполошились.

Как? Революционер, сосланный за антиправительственную деятельность, осуществляет какие-то опыты на глазах у инородцев? Выступает, представьте себе, в роли их опекуна и благодетеля, чем, безусловно, подрывает престиж Российской империи!

Немедленно пресечь! Приостановить!

Из Верного простерлась в степь карающая десница. Целый кортеж — несколько бричек с чиновниками — прибыл на место происшествия. Миражи возникали по пути то слева, то справа, как блески на струящихся воздушных завесах.

Но вода, добываемая при помощи камней из воздуха, отнюдь не была миражем. Это была доподлинная вода, что, конечно, усугубляло вину ссыльнопоселенца.



Логика чиновников неисповедима во все времена, как пути господни. Исправник, урядник, а также земский врач, подписавший медицинскую справку, получили жестокий нагоняй, насыпной холм было приказано срыть, а ссыльного препроводить в город Верный для рассмотрения дальнейшей судьбы его.

Петр Арианович был увезен под конвоем.

Но ни у кого из казахов не поднялась рука на его холм. Затем в Казахстане в 1916 году вспыхнуло восстание Амангельды Иманова, доставившее много тревог и хлопот начальству — не до холма было, а в 1917 году разразилась революция в России.

О Петре же Ариановиче передавали, что он был сослан на крайний север Сибири, в пустынную тундру, незадолго перед революцией бежал оттуда, и далее след его терялся.

Глава десятая

ДАТА ИСПРАВЛЕНА

С той поры прошло много лет... Ия Крылова (уже не Ийка и не Крылышко, как прозвали ее в школе, а Ия Николаевна, студентка исторического факультета МГУ) сидит за одним из столиков в читальне ЦГАОР (Центрального государственного архива Октябрьской революции) и ожидает заказанную ею папку с письмами профессора Афанасьева Петру Ариановичу Ветлугину.

Давно уточнена дата на плите, которая врыта у одинокого холма в степи. Накануне поступления в университет Ия съездила в те места и долго, с придирчивой тщательностью рассматривала надпись, терпеливо фотографировала ее в разных ракурсах, а дома с помощью профессионального фотографа увеличила эти снимки. Только тогда удалось увидеть то, что оставалось ранее незамеченным, — полустертый знак h.

Боже мой! h — хиджра, начало мусульманского летосчисления! Конечно же, казахи вели отсчет от хиджры! Стало быть, цифра «1334» означает 1915 год. События стремительно приблизились во времени. Тамерлан? Какой там Тамерлан! Совсем другой деспот — русский царь Николай Кровавый!

Переехав в Москву, Ия предприняла поиски в Музее Революции. Ее подвели к стенду, на котором выставлены были фотографии большевиков, отбывавших перед революцией ссылку на территории теперешнего Казахстана. Среди них была фотография и П. А. Ветлугина.

— Ну как он вам?

Ия шагнула к стенду. Широко расставленными глазами глянул на нее оттуда человек лет тридцати — тридцати пяти, с упрямым лбом и небольшой светлой бородкой. Расстегнутый ворот косоворотки открывал мускулистую шею.

— Вы ведь ищете Петлукина, верно? Ссылного с такой фамилией у нас нет. Есть вот Ветлугин! Петлукин — Ветлугин... По звучанию сходно, не считая ударения. Подходит он вам?

По наружности подходит бесспорно! Именно такой человек мог и должен был действовать «по велению» или — как там? — «по зову сердца». Над переносицей у него темнела вертикальная складка, придававшая лицу выражение сосредоточенности и упорства, а рот, немного великоватый, наверное, легко, с готовностью раздвигался в приветливой улыбке. Человек, судя по всему, был отзывчивый, открытой души, очень общительный.

Ию познакомили с краткой его биографией. То был молодой, подававший, как говорится, надежды ученый, отказавшийся от продолжения научной карьеры, потому что предпочел ей участие в подпольной революционной деятельности. Выслали его в Казахстан осенью 1914 года, а уже осенью 1915-го арестовали вторично и направили в тундру, на крайний север Сибири¹. За что? В постановлении сказано глухо: «За подрыв среди инородцев престижа империи Российской».

Слушая объяснения сотрудницы музея, Ия продолжала вглядываться в фотографию на стенде. Все больше нравилось ей лицо Ветлугина. Готова, кажется, была влюбиться в него, хотя между ее и его жизнями прошло около полувека. Особенно привлекало Ию это сочетание одухотворенности с большой волевой силой.

Сотрудница музея нетерпеливо кашлянула. Не колеблясь более, Ия уверенно сказала:

— Он!

¹ См. роман Л. Д. Платова «Страна Семи Трав».

Дальнейшие поиски перенесены были в ЦГАОР.

Ии показали там большую тетрадь, в которой содержалась так называемая «Опись вещественных доказательств за 1915 год». Перед ней замелькали названия изъятых при обыске и аресте у разных революционеров вещей, множество названий: брошюра такая-то, прокламации такис-то, номера газеты такой-то, даже отдельные письма с таким, скажем, пояснением: «Письмо, начинающееся с обращения «дорогой Макс».

При обыске в Казахстане у П. А. Ветлугина изъята была пачка писем от невесты и матери, а также от неизвестного, подписывающегося инициалами «В. В.», — «неизменно уважающий Вас В. В.», «дружески Ваш В. В.».

Разузнав в Музее Революции о московском периоде жизни Ветлугина, Ия легко опознала в авторе писем профессора Владимира Викентьевича Афанасьева, у которого Ветлугин когда-то учился. К сожалению, письма Ветлугина к нему не сохранились — погибли во время войны. Сам Афанасьев был еще жив, но болел, общение с ним было временно запрещено врачами.

Вся надежда на его письма!

И вот заказ Ии в архиве выполнен. С трепетом душевным приняла она у заведующей читальней тоненькую папку с вложенными туда пожелтевшими страничками, которые были исписаны стариковским размашистым почерком.

Надежды Ии целиком оправдались. На давние события в казахстанской степи упал от этих писем хоть и отраженный, но достаточно яркий свет. Отраженный потому, что профессор только отвечал на вопросы своего ученика — по-отечески ободрял его, принимая близко к сердцу научные его изыскания и замыслы.

Так, соглашаясь с предположениями П. А. Ветлугина о богатстве подземных водных ресурсов Средней Азии, профессор Афанасьев писал:

«Если бы можно было вывести на поверхность сразу все подземные воды Казахстана, то они — представляете? — покрыли бы степь ровным водным слоем в десять метров толщиной».

И еще сравнение:

«Общие — вековые запасы воды в Средней Азии, видимо, равны по объему двадцати пяти Азовским морям или шестидесяти пяти озерам Балхаш.

А главное, — подчеркивал профессор, — запасы эти

возобновляются ежегодно. Причем как! В объеме, который в три раза превышает расход воды в низовьях Сырдарьи! И все это, как вы правильно подметили, происходит за счет таяния снега и льдов в горах».

Но, увы, предложение П. А. Ветлугина о подъеме этой подземной воды на поверхность повисло в воздухе. Надо думать, профессор безуспешно пытался дать ход этому предложению в соответствующих инстанциях. Но время было трудное: сначала мировая война, потом гражданская. Да и в первые годы восстановления народного хозяйства было тоже не до ветлугинского проекта орошения Средней Азии. Красная Армия добивала там басмачей.

А в Казахстане память о конусообразном холме из камней, который улавливал и конденсировал росу, была стерта еще и событиями, происшедшими в 1916 году и связанными с именем Амангельды Иманова. Тогда разгромлены были канцелярии волостных управлений и уничтожены списки казахов, подлежащих мобилизации на трудовые работы. Общая численность восставших достигала 50 тысяч человек.

Где уж тут вспоминать о каком-то одиноком каменном холме!

Кстати сказать, и профессор, а значит, и сам Ветлугин в переписке своей упоминают об этом холме лишь вскользь, между прочим. Это и понятно. Главное внимание обращено было на вычисление глубин, предполагаемых буровых скважин, расчеты силы ветров, к сожалению, непостоянной и т. д.

...Ия откинулась на спинку стула, продолжая держать в руке пожелтевшие листки.

Острая жалость к П. А. Ветлугину пронизала ее сердце. Вот когда — лишь спустя десятки лет! — всплыла, наконец, на поверхность эта трагическая и трогательная история, залежавшаяся в архиве! А за это время советские коллеги П. А. Ветлугина, в том числе и казахи-ученые, пришли параллельно к тем же выводам и начали поднимать для орошения среднеазиатскую воду из-под земли.

Очень грустно думать, что П. А. Ветлугину не довелось узнать о торжестве своей идеи.

На мгновение Ия как бы в тумане увидела холм, стоящий посреди степи, с неширокой светлой полоской у его подножия. Высокие травы, раскачиваясь под толчка-

ми ветра, поют ему свою однообразную песню, и, шурша, на более низкой ноте подпевают им кусты спиреантуса.

Да, только небо, степь и одинокий холм в степи.

Буквы на плите, врытой рядом с холмом, почти начисто стерты, их нельзя уже прочесть без лупы. Но последняя строчка видна по-прежнему отчетливо, и, наверное, в ней содержится смысл всей надписи:

«Путник! Когда будешь пить эту воду, вспомни об источнике!...»





ТАНЦУЮЩИЙ БОГ

ПОВЕСТЬ

*Индийская религия воплощается
в танце.*

*С. Тюляев, доктор искусствоведческих наук,
лауреат премии имени Джавахарлала Неру*

1. ИГРА В ДОГОНЯЛКИ

Савчук в раздумье остановился у окна студовни¹. Снаружи моросил дождь. Знаменитый Страговский монастырь расположен на горе — взнесен высоко над Прагой (Страговский — от слова «стража»). На внутренней стене его, выходящей на лестницу, сбита штукатурка, видны кирпичи. Их — поясняет надпись — уложили еще в XII веке. Вот как стар этот монастырь!

¹ Студовня — читальня (чешск.).

Несколько раз горел он от свечи задремавшего над манускриптом монаха, от смоляных факелов гуситов¹, а впоследствии и шведов, бравших монастырь штурмом. Теперь тут одна из самых удивительных достопримечательностей Чехословакии — музей литературных памятников и огромная уникальная библиотека.

Внизу остроконечные крыши Малой Страны². Под дождем они выглядят из окна студовни словно набегающие на берег валы прибоя.

«Забавные фантазеры обитают под этими крышами,— думал Савчук.— Превыше всего ценя в жизни уют, они ухитрились приручить и одомашнить не только разных зверюшек, но также и нечистую силу. Водяные страдают у них ревматизмами и насморком, привидения, одетые в прозрачную одежду из трепещущих лунных лучей, воруют из озорства белье на чердаках, а в горле у бедняги волшебника вдруг застревает косточка от сливы, и он, до смерти перепуганный, созывает окрестных врачей на консилиум.

Даже в постройке собора святого Вита, гордости Праги, принимал участие, если верить одной из легенд, не кто иной, как черт. Каково? Черт в роли прораба! И надо ему отдать должное: выполнил взятые на себя обязательства — помог архитектору создать купол, который не опирается на стены, а свободно парит над землей. Однако, как водится, архитектор расплатился за это душой. Можно без преувеличения сказать: вложил душу в свою работу!

Кое-что достоверно в легенде, спору нет. Это — купол. Он действительно выглядит так, будто парит без всякой опоры над Градчанами³ подобно облаку...

Хорошо, а Голем? Любой житель Праги охотно покажет вам дом, где якобы и по сей день обитает Голем, прародитель всех роботов на свете, изготовленный из глины хитроумным механиком и каббалистом в XVI веке — по «спецаказу» императора Рудольфа.

Дом этот возвышается на берегу Влтавы, по соседству со старым еврейским кладбищем, которое расположено в центре бывшего гетто на крохотной площадке. Худосоч-

¹ Гуситы — воинственные последователи Яна Гуса, чешского проповедника, реформатора религии.

² Малая Страна — район Праги.

³ Градчаны — пражский кремль.

ные деревца, похожие на водоросли, робко тянутся к солнцу из затененной четырехугольной пропасти. А на дне ее тесно, почти вплоты, торчат покосившиеся надгробья — как бурелом. Мертвецы лежат на кладбище в семь накатов.

Так вот, не часто раза два в столетие, в доме рядом с кладбищем в одном из окон появляется серое неподвижное лицо. Это Голем безмолвно напоминает о себе.

А может быть, отчасти завидует славе нынешних, усовершенствованных роботов, магии XX века? Ведь все они — земляки его, родились в Праге, придуманные великим фантазером Карелом Чапеком».

Именно в Праге, набитой всякими волшебными рассказами, предстоит Савчуку разгадать причудливую этнографическую загадку. В ней переплелись легенда и современность, старые суеверия, запреты и живая боль двух юных разлученных сердец...

Подавляя волнение, Савчук сделал два-три шага по тесному читальному залу.

Тотчас несколько пар глаз с молчаливым укором обратились к нему. Бормоча извинения, он отступил на цыпочках к окну.

Кто эти углубившиеся в чтение манускриптов люди? Аспиранты или студенты последних курсов? Прага — город студентов. Знакомя Савчука со столицей Чехословакии, ему объяснили, что перед основанием Пражского университета тут проживало всего около тридцати тысяч человек. Зато уже спустя десять лет население города увеличилось до пятидесяти тысяч, и студенты составили пятую его часть.

Понятно, было это очень давно — в XIV столетии. Но что значит «давно» или «недавно» для историка, и в особенности здесь, посреди узких пражских улиц, где на дверях домов еще можно увидеть эмблемы, заменявшие номера, — изображение оленя, страуса, скрещенных мечей и т. д.?

Большинство жителей Праги проникнуты ощущением истории. Еще в 1945 году Савчук имел случай убедиться в этом.

В прогулках по Праге его сопровождал тогда старичок переводчик пан Франце. Семеня рядом, трещал без умолку, как гостеприимный заботливый кузнецик. Остановясь посреди Карлова моста, он объявил:

— Отсюда кнези католические сбросили нашего Яна

Непомука.— И, вздохнув, добавил огорченно: — Ужасные сволочи были эти кнези католические!

А пройдя еще по мосту, пан Франце вдруг развеселился. Он рассказал Савчуку о деревенщине, провинциальных простаках, над которыми пражане потешаются до сих пор. Дело в том, что император Карл распорядился свозить из всех окрестных сел яйца на строительство моста — на яичном белке замешивали в средние века известь. Крестьяне одной деревни перестарались и пригнали обоз с яйцами, сваренными вкрутую. Спутник Савчука долго смеялся над чудаками XIV века.

Просто удивительно, как в Праге история соседствует с современностью, а будничное переплетается со сказочным.

Порой Савчук жалел, что не побывал здесь в молодости. Быть может, увлекшись готикой, стал бы не этнографом, а историком-медиевистом, специалистом по средневековью. Но тогда он не встретил бы в Таджикистане девочку со сросшимися на переносице бровями, гибкую, пугливую и стремительно-быструю, как ящерица. Имя ее было Нодира́, что по-таджикски значит «Редкостная».

Глядя в окно на Прагу, которая то исчезала, то вновь возникала из-за колышущейся водяной завесы, Савчук по контрасту представил себе ослепительно белые, залитые солнцем долины Таджикистана. Осенью там хлопотная хлопковая страда. Под безоблачным небом колхозники, сгибаясь и разгибаясь, медленно продвигаются по полю. Среди них, вероятно, и Нодира, уже не девочка, а девушка неповторимой красоты и очарования. Волосы ее, заплетенные в шестнадцать косичек, раскачиваются над землей, и чуть слышно позвякивают круглые колокольчики на концах кос. О чем говорят ей на ушко эти колокольчики? Смуглое круглое лицо ритмично склоняется над коробочками с ватой, глаз не видно, однако Савчук знает: они печальны...

А ведь несколько лет назад, когда он увидел Нодиру впервые, она смеялась, и до чего же беззаботно! Небольшая головка в тюбетейке была запрокинута, шестнадцать косичек черной тучей стлались по ветру — так быстро убегала она от догонявшего ее мальчишки. Тот что-то азартно выкрикивал и уже протягивал нетерпеливую руку, чтобы схватить девочку за косы. Но каждый раз она из-

гибалась и со смехом ускользала от преследователя.

Что же выкрикивал мальчишка?

Вслушавшись, Савчук заглянул в маленький словарь, с которым не расставался. «Бутпаростá» — значит по-русски «язычница». Вот как! Язычница? Но почему же язычница?

Этнограф в недоумении привстал с камня.

Иногда дети бывают безотчетно жестоки в своих играх, это известно. Стало быть, слово «язычница» брошено как оскорбление?

В раскаленном полдневном воздухе, среди взрывов беспечного ребячьего хохота искрой мелькнула этнографическая загадка.

Произошло все это семь лет назад — осенью 1946 года. Савчука, тогда доцента, пригласили прочесть цикл лекций в Сталинабадском университете. Вскоре отряд студентов был направлен в близлежащий колхоз помочь в уборке хлопка, и Савчук отправился вместе с ними.

Однажды в жаркий полдень студенты расположились на отдых неподалеку от сельской школы. Была большая перемена. В тени огромной шелковицы школьники с увлечением играли в догонялки на плотно утрамбованной спортивной площадке.

Коренастому мальчику лет одиннадцати — он водил — решительно не везло, и он сердился. Особенно раздражала его бойкая девчушка лет девяти-десяти. Она носилась вокруг него, поддразнивая, увертываясь, то и дело нагибаясь и распрямляясь, ловко проскальзывая под занесенной рукой, неуловимая, как тайна. Да, живой образ тайны!

Савчука поразила непринужденная грация ее движений. Убегая от мальчишки, она словно бы танцевала. Лицо ее в разных ракурсах проносилось перед Савчуком — оживленное, раскрасневшееся, с полукрытым смеющимся ртом. И чем громче она смеялась, тем больше сердился ее неуклюжий, запыхавшийся преследователь. Тогда-то в пылу погони он и выкрикнул: «Язычница!»

2. МОНСТРЫ

...3 а спиной Савчука раздался осторожный шепот: — Прошу извинения, пан профессор...

Он обернулся. Сзади подошел к нему хранитель рукописей — весь предупредительность и внимание.

— Немного еще надо подождать, — прошептал он. — Но совсем немного. Хвили¹, я думаю, двадцать небо² двадцать пять.

Поклонившись, хранитель пропустил Савчука перед собой и с осторожностью прикрыл за ним дверь.

— Чтобы не мешать читателям, — пояснил он уже громче.

— Задерживается ваш переводчик?

— Только что телефоновал: уже выезжает из университета. Просит покорно извинить! Вы погуляйте пока по музею... Хотя вы же осматривали его в сорок пятом!

— Вспомнили меня? У вас превосходная память на лица.

— Не превосходная, нет. Просто работаю здесь двадцать с лишним лет, а вы есть первый посетитель, который второй раз спрашивает манускрипт на пальмовых листах.

— Как-то прошлый раз не вчитался, — сказал Савчук. — Не вдумался в его сокровенный смысл. Признаться, глаза разбежались тогда. Слишком много интересного у вас в музее.

— О да, — с гордостью подтвердил хранитель. — У нас много интересного в музее... Но так, пан профессор, еще капля³ терпения! — И с этими словами он удалился.

Заметил ли он, как волнуется Савчук, ожидая выполнения своего заказа? Наверное. Но сделал вид, что не заметил, — проявил присущий ему такт.

Почему-то принято считать, что ученые по природе своей сухари, которым чужды эмоции, связанные с их профессией. Чушь! Наука насквозь эмоциональна. Обыватель не знает этого только потому, что мало интересуется наукой.

За примером недалеко ходить.

На редкость эмоционально все, что связано с тайной Нодир¹, с разгадкой этой тайны, которая, что вполне ве-

¹ Минут (чешск.).

² Или (чешск.).

³ Капля (чешск.).

роятно, сохраняется много лет в рукописи на пальмовых листах. О! Знал бы предупредительный хранитель, какое разочарование постигнет двух влюбленных, разлученных друг с другом, если поиск, предпринятый Савчуком в Праге, не увенчается успехом!

Этнограф сердито взглянул на часы. Терпение, терпение! В конце концов, ждал дольше — целых семь лет!

Чтобы скоротать время, он не торопясь направился вдоль амфилады залов. Что из того, что уже бывал в музее? Разве здесь пересмотришь всё за один раз?

Он свернул из студовни налево, в монастырскую кунсткамеру.

В ней на протяжении веков заботливо собирали диковинки со всего света. Простодушных монахов поражала фантазия господ бога, который между делом, вроде бы и ни к чему, смастерил таких монстров, как, например, крокодил, меч-рыба, осьминог или гигантская галапагосская черепаха. А чего стоит нетопырь! Это же модель черта, не тем он будь помянут, да, да, черта, повисшего вниз головой на турнике!

Осьминогами и нетопырями бог, надо думать, занялся не иначе как будучи в дурном расположении духа или в тот момент просто не был в ударе, потому что ничего хорошего у него, как видите, не получилось.

Остановившись перед чучелами, выставленными под стеклом, Савчук подумал, что в мире существуют не только монстры-животные, но и монстры-обычаи, запреты, чудовищные окаменелости, которые преграждают людям дорогу к счастью. Кому, как не этнографам, знать это! И долг их убрать окаменелости с дороги людей.

Прогуливаясь по Праге, Савчук встретил у монастыря святой Лоретты процессию монашек. Держась на расстоянии вытянутой руки друг от друга, они коротенькими робкими шажками пересекали улицу. Лица у всех, кроме пожилой монахини-поводыря, были занавешены покрывалами. Запрещалось даже беглый взгляд кинуть на окружающий греховный мир, чтобы не поддаться и в мыслях искушению.

Конечно, возникала ассоциация — и не с женщинами Востока в парандже, а со слепыми в знаменитой картине Брейгеля. Так же гуськом бредут они по крутому берегу реки — прямехонько в воду. Но ведь то были бедные обез-

доленные слепые. А пражские монахини не были слепыми. Они сами запрещали себе видеть.

То же происходит сейчас и с родичами Нодиры. Подобно обрекшим себя на добровольную слепоту монашкам святой Лоретты, они с тупым, безжалостным упорством противодействуют счастью бедной девушки. Воздвигли перед нею непробиваемую стену — запрет-табу, смысл которого уже давным-давно утерян ими.

3. «ЖЕЛЕЗКИ СЛОВ СЛУЧАЙНО ОБНАРУЖИВАЯ...»

Выходя из комнаты, где выставлены были чучела, Савчук столкнулся в дверях с каким-то суетливым посетителем музея.

— Проминьтэ! — сказали одновременно оба и улыбнулись, уступая друг другу дорогу.

Чехи — один из самых вежливых народов на свете. «Даже в такой тесноте и толкотне», — подумал Савчук.

По-чешски он знал всего несколько обиходных трамвайно-ресторанных слов, но «проминьте» — «извините» и «дякүю вам» — «спасибо» выучил прежде всех остальных.

Здесь, в музее, чужая речь, как стена, отгородила чехов-посетителей от Савчука. И все же изредка в этой стене появлялись щели, трещины, небольшие просветы. Возникали даже целые фразы, которые Савчук понимал, вернее, интуитивно улавливал их смысл по блеснувшему нежданно знакомому слову в сочетании с интонацией.

Чудилось: стоит ему очень захотеть, сделать небольшое умственное усилие — и рухнет стена непонимания между ним и этими людьми, спешащими вдоль стендов и витрин, взволнованно восклицаящими, смеющимися, оживленно щебечущими, растягивающими долгие чешские гласные, почти поющими.

Такое же ощущение возникло у Савчука семь лет назад в Таджикистане на школьной площадке под шелковицей. Услышав хлестнувшее его по нервам слово «язычница», он поспешил позвать девочку в тубетейке и запыхавшегося, так и не догнавшего ее мальчишку. Нет, действовал, конечно, не в лоб, не стал расспрашивать насчет «язычницы» — был опытным этнографом,

побоялся спугнуть. По своему обыкновению, он начал издалека. Вытащил из кармана словарь и начал перелистывать его перед столпившимися вокруг любопытными школьниками.

— Это кто, как называется? — спрашивал он, показывая на изображение мальчика.

— Баца́, — охотно, хором, отвечали они.

— А это кто?..

И снова дружный веселый ответ.

Нодира (тогда еще он не знал, что ее зовут Нодира) послушно стояла рядом с Савчуком, но безмолвно. Глаз девочки он не видел: держала их скромно потупленными. Савчук видел только прямой пробор в иссиня-черных волосах. А мальчишка-приставала держался в стороне, насупившись, враждебно поблескивая глазенками, недовольный тем, что ему не дали доиграть в догонялки.

Чтобы расположить к себе ребятшек, Савчук пошутил:

— Примите меня в игру, буду с вами играть! — И, согнувшись, усиленно заработал локтями, показывая, как он будет догонять Нодиру.

Дети заулыбались. Такой большой, толстый — и хочет догнать маленькую, неуловимую! Нодира быстро вскинула на Савчука глаза и засмеялась.

Ободренный, он приготовился продолжать расспросы. Но тут на площадку вышел таджик средних лет, угрюмого вида, в халате. Он что-то коротко сказал присмирившей девочке, потом, не глядя на Савчука, бросил:

— Мать зовет домой ее.

Этнограф встал с камня, не понимая, почему таджик не приветлив с ним.

— Я приезжий, ученый из Москвы, — пояснил он, приветливо улыбаясь. — Собираю для науки разные редкие слова. Только что услышал странное слово — «язычница». Так при мне называли эту милую девчушку. Ваша дочь, наверное?

Таджик кивнул, но насупился еще больше.

— Мать зовет ее, — повторил он отрывисто и, взяв девочку за руку, увел за собой.

Все же она улучила момент, склонив набок голову, посмотрела украдкой на обескураженного этнографа.

Школьники, словно вспугнутые воробьи, брызнули в разные стороны, чтобы возобновить прерванную игру.

Шагая со студентами на хлопковую плантацию, Сав-

чук долго еще слышал за спиной визгливый голос мальчишки, который за неимением Нодиры гонялся теперь за ее подружками...

Так вот оно что! Слово «язычница», оказывается, не было отнюдь тем «сезамом» (правильнее — «зем-земом»), перед которым раскрываются настежь заколдованные двери. Наоборот! Стоило неосторожно произнести «будпартостá», как двери тотчас же захлопнулись с печальным скрипом. Захлопнулись... Почему?

Но не будем отчаиваться! Что бы там ни было, первое знакомство с отцом Нодиры состоялось.

А еще через несколько дней Савчуку посчастливилось познакомиться с другими представителями ее рода.

Помог случай.

До возвращения в Москву оставалось меньше недели. Однажды вечером Савчук брел по тенистой улице в Душанбе, опустив голову, задумавшись. Покоя не давала ему тайна слова.

Мальчишка назвал Нодиру язычницей. Язычница... Таджики исламизированы много веков назад — после арабского нашествия. Если предки Нодиры были не мусульмане, а язычники, то, надо думать, пришли сравнительно недавно из какой-то сопредельной с Таджикистаном страны. Какой же? Афганистан был мусульманским. Стало быть, остается Индия? Неужели Индия?

Допустим. Когда же произошло это переселение? Хотя родичи Нодиры успели уже основательно ассимилироваться с таджиками — аборигенами страны, но память о том, что они были когда-то язычниками, еще не успела изгладиться. Свидетельство — случай на школьной спортивной площадке.

Вместе с тем они и не цыгане, Савчук справлялся об этом. Цыгане в Таджикистане есть кочевые и оседлые. Все они мусульмане. По одной из гипотез, были цыгане у себя в Индии якобы служителями храма, усвоили там приемы «колдовского» искусства, почему-то были изгнаны и двинулись сначала на запад, миновали Египет (не случайно называли их фараоновым племенем), прошли Северную Африку, далее, переправившись в Испанию, повернули на восток и распространились по Европе, а также по Азии. Одежда цыганок — одежда женщин Раджпутаны.

Но это очень-очень давняя миграция¹. Родичи Нодиры

¹ М и г р а ц и я — переселение.

мигрировали, по-видимому, с юга в пределах примерно двух-трех веков. Это была, так сказать, вторая волна.

Значит, преодолены Гималаи, высочайшая горная система на земле?.. На минуту Савчук усомнился в своей догадке. Потом поспешил успокоить себя. Ведь существуют же караванные тропы, хоженные-перехоженные. Хотя, конечно, преодолеть Гималаи — дело далеко не легкое. На это потребовалось, наверное, несколько лет, не меньше...

Погруженный в размышления, Савчук вдруг столкнулся с каким-то человеком, стоявшим посреди тротуара. Поднял глаза. Перед ним был отец Нодиры!

Тут же стояли на тротуаре еще несколько таджиков в праздничных халатах. Они взволнованно переговаривались о чем-то и, задрав головы, с усиленным вниманием рассматривали номера на домах.

— Улица Ленина? — обратился один из таджиков к Савчуку.

— Да, это улица Ленина.

Спрашивавший обескураженно хлопнул себя по полам халата.

— А что случилось? — вежливо спросил Савчук. — Не могу ли я помочь?

Выяснилось, что люди приехали в Душанбе по запутанному тяжebному делу, прием у следователя завтра, а им негде ночевать — дом приезжих переполнен, с бульвара же настойчиво прогоняет милиционер. Правда, председатель колхоза перед отъездом дал адрес одного своего городского родственника, который проживает на улице Ленина. Можно было бы остановиться у него, но бестолковый Ныяз умудрился потерять драгоценную бумажку с адресом. (Отец Нодиры виновато потупился при этих словах — он-то, оказывается, и был этим бестолковым Ныязом.)

— О! Беде легко помочь! — воскликнул Савчук. — Милости просим ко мне! Живу в номере один. Номер очень просторный. Поместимся! А если возникнут возражения со стороны администрации, берусь их уладить. Ну, как? Гостиница рядом!

Приезжие с сомнением переглянулись. Незнакомый человек! Русский! Но с другой стороны, услуга предложена от всей души, да и положение создалось безвыходное, не ночевать же в самом деле на улице. Поколебавшись немного, они согласились.

И Савчук повел их к себе.

Тяжелое дело было запутанным, кляузным. Колхозники пробыли в Душанбе трое суток, и все это время Савчук принимал в своих квартирантах живейшее участие. Когда был свободен от лекций в университете, то сопровождал их в юридическую консультацию, а также к следователю, уговаривал его не тянуть с разрешением вопроса, упирая на горячую хлопковую страду,— в общем, всячески старался быть полезным. По вечерам охотно показывал столицу Таджикистана, в которой гости его, как ни странно, были впервые, хотя кишлак их, по названию Унджи, располагался поблизости. Вместе побывали они в кино, в цирке, ходили и по магазинам, выполняя разнообразные поручения домочадцев и односельчан. Этнограф терпеть не мог таскаться по магазинам, для него это было чем-то вроде наказания. Наконец, скромно отклоняя изъявления благодарности, он усадил своих постояльцев в автобус и пожелал им счастливого пути.

Через два дня Ныяз приволок в подарок ему несколько благоуханных дынь, а главное, пригласил посетить колхоз. Вот как! Видно, односельчане Нодиры сохраняли благодарность за оказанную им услугу.

Понятно, Савчук не замедлил воспользоваться приглашением.

Кишлак был как кишлак. И дом Ныяза ничем не отличался от других таджикских домов.

Среди ребятишек, теснившихся на улице, Савчук не увидел того крикуна-приставалу, который преследовал Нодиру на школьном дворе.

Этнограф спросил о нем у Ныяза.

— А, Фатих!¹ — сказал он. — Фатих живет не здесь, а в соседнем кишлаке. Он не из нашего рода...

Тогда Савчук пропустил мимо ушей интонацию, с какой это было сказано. Но впоследствии он немало поломал голову над фразой: «Не из нашего рода»...

В честь почетного гостя был устроен пир. Все осенние дары преизбыточно щедрой флоры, отчасти и фауны Таджикистана выставлены были на стол.

Как водится, и соседи по мере сил участвовали в этой церемонии своими приношениями. Кто приволок курицу, кто арбуз, кто дыню.

Впрочем, соседи также были родичами Ныяза. На-

¹ «Ф а т и х» по-таджикски «победитель».

сколько уловил Савчук, все в этом кишлаке были связаны родственными узами между собой. В колхозе имени Октябрьской революции жили богато. Досталось это богатство, однако, нелегко — не только трудовым потом, пролитым на хлопковых плантациях, но и кровью, пролитой на полях сражений. До сих пор оплакивали в кишлаке мужчин, не вернувшихся домой после Победы, а дядя Нодир Абдалло, сидя рядом с Савчуком за праздничным столом, гордо расправлял грудь, на которой бряцали два ордена Славы и пять или шесть медалей. Ко всеобщему удовольствию, выяснилось, что он и гость из Москвы, в конце Великой Отечественной войны, вместе освободили от гитлеровцев столицу Чехословакии Прагу.

Наученный горьким опытом, Савчук не упоминал больше запретное слово «будпароста», да и во всем прочем остерегался проявлять любопытство.

И все-таки помимо своей воли этнограф не мог не делать замет в уме. Иначе не был бы этнографом, не правда ли?

Слух его был настроен за столом на все то же слово — «будпароста». Оно не произносилось. Так, впрочем, и должно было быть.

«Я собиратель редкостных слов», — отрекомендовался Савчук отцу Нодире на школьной площадке. Но это было не точно, он не лингвист. Его наука — этнография — изучает образ жизни народа, историю его происхождения, его обычаев и т. д. Редкостные слова служат для этнографа лишь подсобным материалом. Увы, нельзя в данном случае выложить какой-нибудь мозаичный узор из слов. Известно лишь одно-единственное слово. Для «узора» явно недостаточно.

Антропологический тип гостеприимных жителей Унджи, бесспорно, не монголоидный. Удлиненный овал лица (за редким исключением), скулы умеренные, лицевой угол прямой, разрез глаз отнюдь не раскосый. А ведь индийцы, так же как и таджики, принадлежат к европейской расе.

Итак, каких-либо антропологических особенностей у родичей Нодире нет. Зато есть некоторые этнографические особенности, которые становятся видны лишь при ближайшем рассмотрении.

Это касается прежде всего положения женщин в кишлаке Унджи. Они не прячутся за занавеской, мелькая,

как бесшумные тени, в недрах дома¹. Не только готовят и подают к столу пищу, но и разделяют ее одновременно с мужчинами. Более того, за пиршественным столом женщины сидят на почетном месте и занимают гостя разговором.

В глаза бросалась гордая, величественная осанка женщин из рода Нодиры. Плавные движения, неторопливая походка, строго рассчитанные жесты исполнены подчеркнутого, Савчук сказал бы даже, несколько театрального изящества. Присуще это не только взрослым женщинам, но и девочкам.

Этнограф залюбовался Нодирой, когда та, потупив глаза и двигаясь мелкими шажками, поднесла ему на вытянутых руках блюдо с ароматным пловом.

Из разговора за столом он узнал, что женщины занимаются здесь не только уборкой хлопка и домашним хозяйством, но имеют также свою особую профессию, которая сделала их известными за пределами родного кишлака. Они лекарки. Из поколения в поколение передаются (заметьте: лишь по женской линии!) некие действенные методы народной медицины. В ходу разнообразные лекарственные настои из трав и листьев, также абрикосы, приготовленные в разных видах. Надо полагать, применяются дополнительно и заклинания, с помощью которых желают усилить воздействие лекарств на организм больного. Значит, не только лекарки, но и знахарки?

Именно это обстоятельство, видимо, помешало врачам из Душанбе изучить опыт женщин из рода Нодиры.

Абдалло, с достоинством поглаживая бороду, пояснил Савчуку, что в Душанбе даже собирались послать в кишлак бригаду врачей, для того чтобы изучить на месте рецепты и действие чудодейственных настоев.

— Почему же это не осуществилось?

Абдалло пожал плечами:

— Один глупый сказал, другой — глупый поверил.

— А что сказал первый глупый?

— Ну что глупый мог сказать? «Слушай, колдуньи они, — сказал. — Незачем нашей советской медицине перенимать опыт у колдуний!» А какие колдуньи, это вы, уважаемый, сами посмотрите на них!

¹ Автор обращает внимание читателя на то, что здесь описывается 1946 год. С той поры в быту таджиков произошли значительные изменения.

Широким жестом он обвел застолье, кипящее весельем. Навстречу Савчуку сверкали отовсюду искрящиеся смехом черные глаза и ослепительные, приветливые белозубые улыбки. Нет, здесь можно говорить о колдовстве только в одном-единственном смысле — пленительного женского очарования.

И еще о втором примечательном этнографическом своеобразии узнал Савчук в тот вечер. Девушки из рода Нодиры могли выходить замуж лишь за юношей из своего кишлака. Правило это соблюдалось очень строго.

Значит, род — экзогамный, то есть замкнутый?

Что-то почти неуловимое, как полувыветрившийся запах пряных экзотических духов, подсказывало этнографу, что все тут далеко не просто. По мельчайшим признакам угадывалось: под верхним слоем ислама скрывается второй пласт, глубинный, и не исключено, что язычества. Савчук ничуть не удивился бы, что время от времени родичи Нодиры выполняют какие-то ритуалы, смысл которых уже давным-давно утерян ими.

Итак, вопросов к родичам Нодиры — миллион!

Но Савчук не успел ни поставить этих вопросов, ни получить на них ответ. На следующее утро после пиршества его доставили обратно в Душанбе, а еще через день он улетел в Москву.

Перед отъездом Савчук поделился сделанными наблюдениями с одним из провожавших его работников университета, своим собратом по профессии.

Тот не замедлил вылить на него ушат холодной воды.

— Экзогамных групп, изолятов, — сказал он, — довольно много в Таджикистане. Горные долины, закрытые от внешних влияний, сами понимаете, создают известную этнографическую обособленность. Существуют у нас и махалы — кварталы в городах, населенные почти исключительно родственниками.

Что касается положения женщин в семье, то здесь наблюдается интересное явление — родство исключительно по женской линии. Знаете ли вы, что жена до недавнего времени не имела права на наследование семейного имущества? Она сохраняла право лишь на свое приданое. Скажем, приходя в семью, приводила с собой десяток овец и, уходя, столько же уводила. Кстати, хоронят женщин обязательно на кладбище их рода, а не на кладбище мужа.

Встречаются в Таджикистане и женщины-врачевате-

ли, женщины-знахарки. Мне довелось присутствовать при одном обряде. Волшебную траву клали на лопату и держали над костром. А знахарка, выкрикивая заклинания, неугомонно скакала вокруг костра и махала подолом — гнала на больного целебный дым.

Я сам несколько лет назад воспользовался чудодейственной травкой под названием испанд, и с той поры у нас в семье забыли о гриппе. Во время эпидемии кладем пучок этой травки на сковороду, держим над горелкой газовой плиты и окуриваемся дважды в день, утром и вечером. Если придет гость, радушно окуриваем и гостя.

Говорю это к тому, — назидательно закончил он, — чтобы вы поняли: ваш кишлак ни в коей мере не исключение.

Савчук улетел из Душанбе. В Москве нахлынули срочные дела, и за ними он на целых семь лет забыл о женщинах из рода Нодир.

К стыду своему, так и не вник в этнографическую тайну, которая, как шар перекати-поле, буквально подкатилась ему под ноги. Род Нодир был таким перекати-полем.

Слабым оправданием могло служить то, что Савчук не занимался непосредственно изучением народов Средней Азии. Перед войной он сделал научное открытие на Таймыре, обнаружив в горах Бырранга два отколовшихся рода из племени авамских нганасан, называвших себя «детьми солнца»¹.

Оправдания? Нет, он не заслуживал оправданий. Если бы коллеги узнали, как непростительно небрежен, невнимателен он был, то, конечно, осудили бы его. И поделом! Ведь за год до первого своего посещения кишлака Унджи он стоял в студовне бывшего Страговского монастыря и держал в руках драгоценную рукопись на пальмовых листах. Но не вчитался в нее, не вдумался! А как раз на этих листах, видимо, и содержалась разгадка рода Нодир. Казнись теперь, разиня!

Зато сегодня он уже не промахнется! Будет предельно внимателен, даже придирчив. Заставит переводчика по несколько раз читать отдельные фразы из рукописи, в которых, надо надеяться, таится кончик путеводной нити...

¹ См. роман Л. Д. Платова «Страна Семи Трав».

4. RARA RARISSIMA — РЕДКОСТЬ РЕДЧАЙШАЯ

Сердито взглянув на часы — переводчика все еще нет, — Савчук двинулся дальше по сверкающим яркими красками залам музея.

Почему там столько посетителей? А, на овальном столике лежит книга, в которой расписываются знаменитости, оказавшие честь музею своим посещением!

Через чье-то плечо Савчук увидел изящную завитушку росчерка, сделанного князем Меттернихом, — в его время любили замысловато подписываться. Чуть выше завитушки стоит прямое, без затей: «Нельсон», рядом небрежное: «Эмма Гамильтон». Две эти фамилии вызывают обостренный интерес — экскурсанты смакуют скандальную сенсацию полуторастолетней давности.

Им невдомек, что у них под ногами, в подвале бывшего монастыря, хранится нечто во сто крат более примечательное — два больших изогнутых в форме крыла пальмовых листа, на поверхности которых вкратце изложена история одного загадочного странствия.

Но вправе ли Савчук осуждать экскурсантов-ротозеев? Сам был в 1945 году таким ротозеем. Бродил по залам в какой-то растерянности, в сладостном упоении. И ведь в то время не знал еще о существовании рукописи на пальмовых листах. Увидел ее лишь перед самым уходом из музея.

В мае 1945 года Савчук участвовал в освобождении Праги — вступил в нее одним из первых во главе своей роты. Незабываемая весна! Выкрикивая наперебой восторженные приветствия, чехи и чешки, стоя на тротуаре, забрасывали цветами проходивших мимо русских солдат.

Здесь, в центре Европы, весной 1945 года, завершилась военная карьера Савчука. А началась она осенью 1941-го на полях Подмосковья. Тогда молодой доцент университета, кандидат наук, пошел в народное ополчение, как и многие другие советские люди, освоил обращение с винтовкой образца 1893 года и приемы окапывания, сражался под Наро-Фоминском, был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся в строй. Затем его, как имеющего высшее образование, командировали на курсы младших командиров. Три месяца — и он лейтенант! А дальше разведки боем, перебежки под огнем, ночные марши, дневки, недолгий отдых во втором эшелоне, снова ранение и гос-



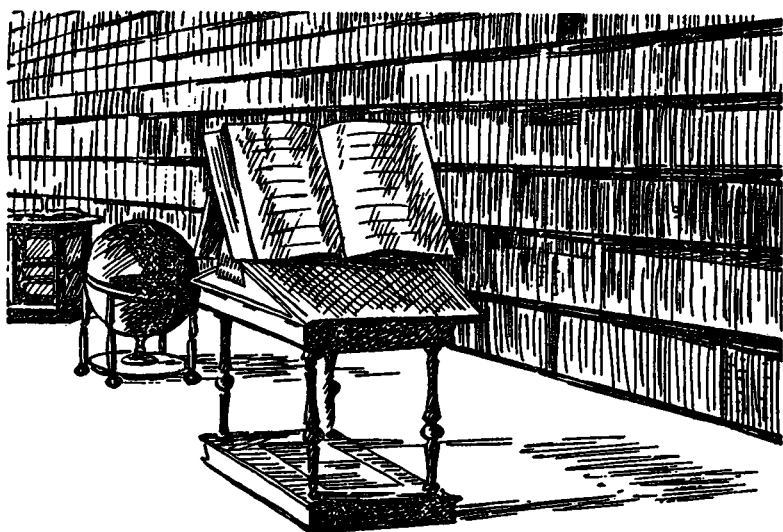
питаль — в общем, то, о чем бывалые солдаты уважительно говорят: «Всю войну сломал на своем хребте».

«Полководца не получилось из меня,— шутил Савчук,— и все же демобилизуюсь не раньше, чем добьем бесноватого!»

Злата Прага явилась неожиданной дополнительной наградой для историка — за труд войны, за пролитые на ее полях кровь и пот. Удивительный город, чудом сохранивший весь стиль средневековья, неповторимый свой готический четкий профиль,— вот он!

Но только на четвертый день пребывания в столице Чехословакии Савчук нашел время отправиться в Страговский монастырь, о библиотеке которого был много слышан.

Прежде всего, конечно, кинулся к книгам. Здесь полно было редких книг. Под стеклом витрин пестрела рукописная каббала шестого и седьмого столетий рядом с Библией четырнадцатого, далее учебник по зоологии, наивнейшие иллюстрации которого вызывали ныне улыбку, а рядом с учебником — сборник заклинаний, украшенный виньетками и миниатюрами, написанный швабским готическим шрифтом, вдобавок разноцветным — черным и красным.



Тут лежала и распечатанная колода старинных карт, на которых вместо тузов, королей, дам и валетов изображены были цветы и желуди.

Полюбовавшись инкунабулами — первыми образцами книгопечатания, Савчук увидел стенд, где были выставлены отченашки, молитвенники величиной в спичечную коробку или даже в игральную кость. Чуть поодаль лежали кораны такого же размера. (Пережив бурное время религиозных войн, чехи проявляли теперь разумную веротерпимость. Табличка поясняла, что город Вимпера специализировался на изготовлении этих коранов — подобно тому, как другой чешский город стал монополистом по выработке фесок для мусульманских стран.)

Савчук, не задерживаясь, миновал стенды с отченашками. Это уже был прозаический XIX век. Зато долго стоял у полок, уставленных великолепно сохранившимися эльзевирами¹. Как соблазнительно выглядели они, эти тома ин октаво, ин кварто, ин фолио², одетые в очень плотные кожа-

¹ Эльзевир — называются так по фамилии голландских книгоиздателей Эльзевиров.

² Ф о л и о — формат книг: в восьмую листа, в четверть и т. д.

ные переплеты, снабженные металлическими застёжками, а иногда даже изящными миниатюрными замочками.

Подержать бы в руках один из красавцев томов! Отстегнуть его застёжки! Осторожно перелистать!

С безмолвной мольбой Савчук обернулся к сопровождавшему его сотруднику музея. Тот понял и, улыбаясь, кивнул.

Сняв с полки огромный фолиант, этнограф некоторое время держал его в руках — очень бережно, как святыню, — потом понюхал.

— Запах старой книги! — произнес он. — Вслед за обонянием раздражает мозг — подобно тому, как аромат выдержанного вина распаляет у подлинных ценителей жажду. Вы согласны со мной?

— О да. Очень. Вполне.

— Отчасти имею возможность сравнивать, — продолжал Савчук. — Держал в руках и пергамент, и папирус, и таблички из обожженной глины.

— Вот как! Пан офицер — ученый?

Савчук не стал отрицать этого.

— А как, простите, ваша фамилия?

Савчук назвал.

— Савчук! Савчук! — задумчиво повторил сотрудник, припоминая. — До войны я читал в одном вашем журнале исследование о причинах внезапной гибели всех рукописей майя. Оно было подписано фамилией Савчук. Ваше?

— Только не исследование, — возразил Савчук скромно. — Всего лишь небольшой психологический этюд. Культура майя — не моя специальность. Я просто пытался проанализировать личность епископа Диего де Ланды. Как известно, он приказал сжечь на костре ценнейшую библиотеку майя, потому что, по его словам, рукописи «не содержали ничего, кроме суеверий и дьявольской лжи». Однако, надо полагать, предварительно он со всем тщанием изучил эти приговоренные к казни рукописи и всю последующую свою жизнь продолжал изучать обычаи и верования народа, населявшего его епархию — Юкатан. Не было ли это хитроумным маневром ученого-честолюбца? Одним взмахом руки он лишил нас исторических источников и заранее избавился от конкурентов. Ланда и поныне монополист в своей области. Его манускрипт «Сообщение о делах в Юкатане» остается главным основополагающим трудом по культуре майя.

— Очень остроумная догадка. Я вижу, пан профес-

сор — знаток. И все же он, наверное, никогда не держал в руках рукопись на пальмовых листах?

— Листах? Нет.

— Тогда попрошу пана профессора проследовать в студовню.

(В дальнейшем в музее именovali Савчука уже не «пан офицер», как раньше, а лишь с утонченной вежливостью, свойственной чехам, — «пан профессор», хотя тогда он не был еще профессором, был только доцентом.)

В студовне, куда предупредительно препроводили его, все располагало к сосредоточенной умственной работе. Потолок был невысокий, сводчатый. Посреди комнаты темнели тяжелые дубовые стены и скамьи. Савчуку очень понравились старомодные вращающиеся пюпитры с несколькими полками. На них сразу укладывают по многу раскрытых книг или рукописей, развернутых во всю ширину листа. Движение руки, скрип поворачиваемого пюпитра — и нужная книга перед глазами читателя.

А в углу между побеленными стенами вделана была черная чугунная печь. Топилась она почти непрерывно. Ведь рукописям, доставляемым сюда из хранилища, чрезвычайно вредна сырость.

Стараясь не шуметь, Савчук присел в уголке студовни.

Ему не пришлось долго ждать. Почти сразу появились в дверях сопровождавший ранее Савчука сотрудник музея, а за ним еще двое: очень высокий пожилой чех, любезно улыбающийся (он оказался хранителем рукописей), и другой, коротенький, тоже не молодой и улыбающийся (оказался лингвистом — переводчиком с хинди).

Савчук глянул на них мельком. Внимание его было привлечено предметом, который торжественно, на вытянутых руках, нес перед собой хранитель. Что такое? Издали напоминает два бело-красных винта пропеллера. Когда хранитель приблизился, стало видно, что это не пропеллер, а два больших пальмовых листа. На гладкой белой, очищенной от кожуры поверхности алеют рядки мельчайших знаков-букв. Они выцарапаны чем-то острым, а потом аккуратно заполнены красной тушью.

— Главная достопримечательность музея! — с пафосом объявил хранитель. — Манускрипт на пальмовых листах. О! *Rara garissima!*¹ — Преисполненный гордости, он поднял указательный палец. Церемониал знакомства: —

¹ Редкость редчайшая (лат.).

Пан профессор Савчук из Москвы!.. Пан доктор Соукуп, наш хранитель манускриптов!.. Пан доктор Водичка, наш лингвист!.. Вам повезло, пан профессор,— любезно улыбаясь, говорит хранитель.— Пан доктор Водичка случайно заехал к нам в музей, а он, несомненно, один из лучших в Чехии специалистов по хинди.

Коротенький пан Водичка делает протестующий жест.

— Он будет рад оказать вам помощь,— продолжает хранитель.— Так прошу всех в мой кабинет!

Стало быть, его, Савчука, угощают напоследок рукописью на пальмовых листах! Очень любезно со стороны администрации! Послушаем же, что это за рукопись, о которой почтительно говорят здесь: *Raga rarissima*.

Савчук предполагал, что она, эта *Raga*, будет пахнуть чем-то пряным и вместе с тем прохладным — подобно веерам из сандалового дерева. Нечто вроде сконденсированной тени благоуханных тропических зарослей!

Но рукопись, к его удивлению, не пахла ничем. Наверное, пальмовые листья вымачивали для сохранности в каких-то химических растворах. От этого рукопись утратила в известной степени свою индивидуальность.

Усевшись в крохотном кабинете хранителя, приступили к чтению рукописи и переводу ее — двойному: с хинди на чешский, с чешского на русский.

Нужно отметить: Савчука сразу же сбило с толку, что рукопись на двух пальмовых листах не представляет собой «двухтомника», как можно было бы ожидать. На одном листе записаны были рецепты различных мазей, порошков, притираний, предохраняющих от лихорадки, от желудочных спазм, от сглаза, а также якобы способствующих сохранению вечной молодости. На другом листе вкратце излагалась история долгого странствия, нечто вроде индийской «Одиссеи». Общего ничего, казалось, между ними нет.

Вскользь упоминалось и о каком-то сокровище храма, похищенном или спасенном от похищения,— этого нельзя было понять. Беглецы унесли его с собой и старательно сберегали в пути.

Что за сокровище? Статуэтка ли бога (богини) — индуистский пантеон насчитывает десятки богов разного ранга,— усыпанная ли алмазами диадема, золотой ли светильник, иная ли реликвия, предмет культового ритуала? Тут приходилось только гадать.

Спасение (или похищение) сокровища произошло в

предгорьях гор (Гималаев?) при драматических обстоятельствах. Было в рукописи что-то о злых врагах, подступивших к стенам храма и угрожавших ему разграблением. Описывалась грозовая ночь, во время которой совершено было бегство. «На север в горы,— сказано в манускрипте,— ибо с юга подступили безжалостные и неукротимые завоеватели, осквернители святынь».

Отправная точка странствия была таким образом известна — предгорья (Гималаев?). Однако конечная точка его осталась неизвестной.

— Сказочный сюжет? — недоумевая, спросил Савчук.

— О нет! Видимо, это не сказка. Подробности слишком реальны.

Лингвист-хиндовед полагал, что под «безжалостными и неукротимыми завоевателями, осквернителями святынь» подразумеваются полчища Аурангзеба, одного из Великих Моголов, фанатичного мусульманина, который подверг разграблению и разрушению множество индуистских храмов в Индии. В этом случае события, описанные в манускрипте, относились к концу XVII или к началу XVIII века.

Хранитель рукописей не разделял точки зрения своего ученого собрата.

— В рассматриваемом манускрипте,— сказал он,— упоминается река, окрасившаяся в красный цвет, несущая на своей спине тысячи трупов. Это, как известно, образ, которым пользовались, описывая кровавое подавление восстания сипаев в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом и восьмом годах. Тогда события придвигаются к нам на два столетия.

— Иначе говоря, вы считаете, что загадочное бегство произошло во время восстания сипаев? — спросил заинтересованный Савчук. — А что дал химический и физический анализ рукописи? Каково мнение специалистов на этот счет?

— О, тут они единодушны,— сказал пан Соукуп. — По их заключению, манускрипт написан не позже как в шестидесятые годы прошлого столетия.

— Вот как! Стало быть, пан Соукуп прав?

— Однако события, описанные в манускрипте,— поспешил возразить пан Водичка,— могли произойти и раньше! Не сомневаюсь в том, что манускрипт, лежащий перед нами, переписан с другого, более древнего манускрипта. Об этом свидетельствуют ошибки, стилистические и орфографические.

— Но каким ветром занесло в музей эти листья?

— Их купил на рынке в Мадрасе богатый чех-коллекционер. Произошло это в тысяча девятьсот тридцать втором году. Вскоре он преподнес манускрипт в дар музею.

Савчук нагнулся над загадочной рукописью, вглядываясь в диковинные красные буковки, убегающие рядками друг за другом по листьям.

— Вот ведь и застежек нет, и замочков разных хитроумных, — пошутил этнограф, — а книга не раскрывается! Упрямится, дразнится, словно бы потешается над нами!

Пан Соукуп и пан Водичка вежливо улыбнулись.

Так, на шутке, закончилось изучение, нет, беглый — чересчур беглый — осмотр рукописи на пальмовых листах.

Впоследствии Савчук много раз ругал себя за то, что при первом прочтении не проявил должного внимания. Торопился — слишком многое надо было еще осмотреть в Праге. А пан Водичка, чуткий человек, угадывал это. Переводил впопыхах, стараясь дать лишь общее представление о сути текста, делал пропуски, в общем, читал «по диагонали». И сокровенный смысл рукописи ускользнул тогда от Савчука. Ускользнул целиком по его вине.

К рукописи на пальмовых листах он отнесся всего лишь как к очередному раритету, достойно завершающему вереницу увиденного им в музее. Проявил себя, увы, экскурсантом, но не ученым.

Правда, весной 1945 года он ничего не знал еще о жителях кишлака Унджи, загадочных родичах Нодиры-Редкостной. Встретился с ними лишь осенью в 1946-м, а по-настоящему, всерьез, как подобает ученому, заинтересовался их судьбой еще через семь лет, уже в 1953-м.

Но тут, конечно, имели значение и эмоции, не связанные с наукой, — внезапно вспыхнувшая любовь, увы, слишком поздняя любовь к девушке, которая движется словно бы танцуя, которая вся как быстрое пламя, как воплощение неразгаданной тайны...

Словно бы вдруг возникло нечто вроде озарения. Мгновенно перед умственным взором Савчука осветился и стал виден во всех подробностях путь беглецов, невообразимо трудный, долгий, напрямик с юга на север, через три высоких горных хребта!

Начальная отправная точка его — индуистский храм в предгорьях Гималаев, конечная — кишлак в одной из долин Таджикистана...

5. ПОЛУСНЫ-ПОЛУЯВЬ

Теперь, спустя семь лет, предстоит вторичное, более придиричивое прочтение рукописи на пальмовых листах. Для этого Савчук и прилетел в Прагу.

Приветливые пан доктор Соукуп и пан доктор Водичка по-прежнему к его услугам. Заранее извещены телеграммами о прибытии пана доктора Савчука (ныне и он доктор). Но непредвиденные дела задержали пана Водичку в университете. По телефону с тысячью извинений, он обещал приехать не позже чем через полчаса. Но как долго, нескончаемо долго тянутся для Савчука эти полчаса...

Приткнувшись в сторонке подле стенда, чтобы не мешать экскурсантам, он загляделся на один из витражей. Красные, зеленые, голубые стекла образовали в окне причудливый мозаичный рисунок: рыцарь, сняв шлем со страусовыми перьями, преклонил колени перед прекрасной дамой. Сюжет весьма распространенный в средневековье.

Но через это высокое разноцветное окно Савчуку по-прежнему видится не готический строгий силуэт Праги, а покрытая яркими тюльпанами долина в предгорьях.

В 1953 году этнограф побывал еще раз в Таджикистане — на этот раз весной.

Незадолго перед тем он с блеском защитил докторскую диссертацию. Однако она обошлась ему недешево. Готовясь к защите, Савчук надорвался — устал прямо-таки безмерно. Чувствовал себя семидесятилетним стариком, хотя ему было всего тридцать девять.

Друзья заставили его показаться врачам. С глубоко-мысленным видом, насупясь, те поставили диагноз: истощение нервной системы. Отдых, отдых! Немедленно же изменить обстановку, переключиться, отвлечься!

От санатория Савчук отказался: «Никогда не бывал в этих ваших санаториях и надеюсь не бывать еще лет тридцать!.. Прогулка на теплоходе по Каме, по Волге? Ну, это для малокровных, я не малокровный».

Он, может быть, долго бы еще капризничал, впервые в жизни ощутив себя на положении больного, если бы не подоспело очень кстати — письмо из Душанбе. Ректор университета обращался к «многоуважаемому Владимиру Осиповичу» с просьбой «найти время для того, чтобы

прочитать цикл лекций — буде возможно, этой весной».

Душанбе! Гм! Дело другое. Тем более весной. В Таджикистане все, наверное, цветет и благоухает. И там, кстати, ждет его разгадка слова «будпароста».

Короче, он согласился.

Но, видимо, санаторий был бы все-таки полезнее. Прилетев в Душанбе и разместившись в заказанном для него номере гостиницы, Савчук, к своему огорчению, совсем расклеился. Что за удивительное, непривычное состояние? Хандра. Слабость. В голове какой-то сумбур. Мысли бегут словно бы спотыкаясь, наталкиваясь друг на друга. Раздражительная слабость и в то же время безотчетная странная тревога. Клонит в сон, но не спится. В общем, чушь, черт знает что!

Понятно, лекции в университете пришлось отложить. Прибежали милые сотрудницы университета, притащили цветы, устали букетами весь номер.

Врач-таджичка назначила Савчуку кучу витаминов и предписала ему постельный режим.

— Не вылежу, доктор, ей-богу, не вылежу! — запротестовал Савчук. — Перед началом лекций собирался навестить своих приятелей в колхозе. Писал им из Москвы, что приеду.

— Что это за колхоз?

— Имени Октябрьской революции, кишлак Унджи.

— А, знаю! Мой родной кишлак располагается неподалеку. Но мы почти не общаемся с ними. Жители Унджи живут очень замкнуто. Браки, например, заключаются у них только между односельчанами.

— Почему?

— А вот этого я не знаю. Вообще ходят странные слухи о них. Мать моей матери... — Доктор поправилась: — Моя бабушка рассказывала мне, будто бы они сберегают какое-то сокровище, языческого идола, что ли, не то похищенного, не то спасенного ими. В общем, как говорится, вокруг них роятся легенды.

Савчук вяло улыбнулся — уже устал от разговора. Сокровища... Кто только не рассказывал ему о богатейших кладях Таджикистана, о золотой женщине (богине плодородия?), спрятанной между скал, об идоле (Бурхи, повелитель дождя?) с раскрытой пастью, усеянной вместо зубов алмазами. Некоторые сокровища, объясняли Савчуку, лежали в земле еще со времен поздних кочевников. Но он-то, Савчук, был не кладоискателем, он шел по следу

одного-единственного ударившего его по нервам слова — «будпароста».

Когда доктор ушла, этнограф впал в тяжелую дремоту.

Находился в этом состоянии и все последующие дни, неохотно принимал назначенные ему лекарства, краем уха выслушивал советы врача, вяло благодарил за выражения сочувствия и пожелания выздоровления, с коими являлись к нему представители университета. Мыслями же был вне Душанбе.

Волны полузабытья уносили его дальше и дальше от этого роскошного номера-апартаментов, уставленного цветами, как будуар. Закрыв глаза, он умственным взором наблюдал великое переселение народов. Вздывая клубы пыли, слитной массой надвигались на него кочевые орды и, обтекая, исчезали за спиной. В ушах немолчно звучал плач детей, которые покачивались в корзинах, переброшенных через спины верблюдов. Плач этот заглушался воплями и диким визгом всадников, которые настойчиво расталкивали стада жалобно блеявших овец, мешавших их передвижению. Звякали стремяна, скрипели колеса повозок. Савчуку даже казалось по временам, что он обоняет запахи выдубленной кожи, людского и конского пота, а также пыли, поднимаемой множеством копыт.

Кочевые народы, гоня перед собой табуны лошадей и стада овец, шли и шли с востока на запад по бескрайней степи. Некоторые растворялись среди других народов, обрастая новыми обычаями и верованиями, иные упрямо сохраняли свою самобытность и свой язык. Так, на новых тучных пастбищах осели мадьяры, которых Маркс называл «народом, заблудившимся в Европе».

А бурлящий вулкан где-то на востоке Азии продолжал толчками выбрасывать на поверхность потоки человеческой лавы. Из-под земли. Из преисподней... Раскосые всадники на косматых лошадях по представлениям средневековых географов могли явиться только из преисподней.

Однако одно из первых великих переселений произошло на несколько тысячелетий раньше — и не с востока на запад, а с запада на восток. В поисках новых охотничьих угодий с места стронулись аборигены Сибири, палеазиаты-монголоиды. Прошли вереницей по перешейку, соединявшему два материка (пролива в этом месте еще не было), и постепенно расселились по Америке, став предками индейцев.

Но, неотрывно следя за проходящими мимо толпами, разноразличными, поющими, громко вопящими, Савчук слышит одновременно и тихий голос пана Водички. Лингвист размеренно читает над ухом его куски из рукописи на пальмовых листьях.

Таинственные язычники-беглецы, несколько десятков мужчин и женщин, да, вероятно, числом не более сотни, бредут вереницей по узким горным тропам над пропастями, упрямо берут перевал за перевалом, то исчезают в ущельях, то вновь появляются на вершинах, обдуваемые злым ветром. Камни и песок осыпаются из-под ног. Какая крутизна! Савчуку страшно за беглецов, голова его начинает кружиться...

И вместе с тем действительность постоянно вторгалась в эти бредовые видения. Из-за стены доносилась перебранка соседей, а с улицы гудки машин и крикливые голоса продавцов мороженого...

За дверью вдруг послышался разговор на высоких нотах, кто-то кого-то не пускал в номер, потом дверь рывком распахнулась и на пороге появился Ныяз, отец Надиры. Этнограф сразу узнал его, хотя со времени первой их встречи прошло несколько лет. За ним стоял кавалер двух орденов Славы толстый дядя Абдалло.

— Ну, здравствуй! — сказал Ныяз. — Женщина в коридоре не хотела пускать к тебе. Сказала: нельзя! Почему нельзя? Я думаю, друзьям можно, да?

Он присел на край кровати. Дядя Абдалло, благодушно улыбаясь, устроился на стуле рядом.

Но вслед за непрошеными гостями, трепеща от негодования, в номер ворвалась коридорная.

— Нельзя, нельзя! — кричала она. — Доктор сказала: нельзя! Доктору пожалею на тебя!

— Хоть самому главному доктору, — невозмутимо ответил Ныяз, не удостоив ее взглядом. — Бери ручку, бумагу, садись, пиши жалобу на меня, заверю подпись твою!

И он вынул из кармана внушительных размеров печать — видимо, своего колхоза. Коридорная удивилась и замолчала. Ныяз мигнул дяде Абдалло. Тот, не мешкая, завернул рукава халата, нагнулся над Савчуком, подсунул под него руки и, подняв вместе с одеялом, подушкой и простыней, сделал несколько шагов к двери.

— Что делаешь, безумный! — завопила коридорная, преграждая ему дорогу. — Людей из гостиницы крадешь?

Одеяло, простынь положи! Казенные! Положи обратно, говорю тебе! Не положишь, директора позову!

Она метнулась к дверям, но столкнулась на пороге с врачом, которая вошла, помахивая своим чемоданчиком.

— Что здесь происходит? — строго спросила доктор, останавливаясь посреди комнаты и осматриваясь.

Ныяз смутился.

— Вот Володью, друга нашего, хотим в кишлак к себе. Воздух очень хороший у нас. Сушеных абрикосов много. Хорошо поправится.

Казалось бы, самоуправцам, которые среди дня крадут людей из гостиницы, немедленно же дадут грандиозную, заслуженную выволочку — к полному удовлетворению коридорной. Но доктору предложение Ныяза неожиданно понравилось.

— Посмотрим, — сказала она, подсаживаясь к кровати и раскрывая свой чемоданчик. — Смеряю давление больному, прослушаю его пульс... В общем, я не возражаю, товарищи. Воздух и витамины — самое важное для него сейчас. И тишина. А эта улица слишком шумная. Уход будет обеспечен ему?

— О, самый лучший уход!

— Давление приличное. Пульс, правда, частит. А на чем собрались перевозить его? На арбе?

— Зачем, доктор, на арбе! На грузовике. Пригнали сюда грузовик из колхоза. Траву положили в кузов, очень много травы. Как на матрасе поедет друг наш Володья.

— Хорошо. Разрешаю. Но с одним условием: буду навещать его раз в неделю, чтобы контролировать лечение.

— Контролируй, контролируй, — пробурчал себе под нос Ныяз, помогая дяде Абдалло завернуть безропотного Савчука в привезенный из колхоза ковер. — Лечить не можешь, так хоть контролируй, пожалуйста!

По счастью, доктор не услышала этой непочтительной воркотни. Услышал ее только Савчук, которому было сейчас все равно.

Дядя Абдалло осторожно спустился по лестнице, держа на руках больного, закутанного в ковер. Следом Ныяз нес коробку с лекарствами, и по тому, с какой гримасой нес, ясно было, что едва отъедет от гостиницы, так сразу же выбросит за борт за ненадобностью. Шествие замыкали врач и коридорная, от изумления потерявшая дар речи.

Савчука устроили в кузове на охапках травы, подле

него сел заботливый Ныяз, дядя Абдалло поместился в кабине.

— Осторожнее вези! — предупредил Ныяз водителя. — Понимай, кого везешь! Володю, друга нашего, везешь! А он — бедный больной. Не гони, не тряхни! Ухабы и ямки объезжай!

Грузовик тронулся. Врач и коридорная замахали руками вслед Савчуку...

На траве было и впрямь удобно лежать. Водитель очень старался — вел машину со всей осторожностью. Над собой Савчук видел только небо, ритмично покачивающееся. Было оно ярко-голубое, весеннее, не успевшее еще выцвести от яростного летнего зноя.

Дурманящее благоухание исходило от недавно скошенной травы. Все начало покачиваться вокруг Савчука, поплыло, поплыло, но по-другому, не так, как недавно в гостинице. И мало-помалу его потянуло в сон — уже без снов, значит, в самый глубокий, освежающий и исцеляющий сон...

6. ЦЕЛЕБНАЯ МАГИЯ ТАНЦА

Очнулся Савчук в кишлаке. С лязгом откинули борт грузовика и с негромкими предостерегающими возгласами внесли больного на руках в дом.

Первые дни пребывания у Ныяза Савчук помнит недостаточно отчетливо. Ему почти не давали есть, зато заставляли пить невообразимо горькие настои. Перед ним надоедливо мелькали низенькие (или сгорбленные?) тени, бормоча при этом что-то с интонациями тревоги и озабоченности. Видимо, то были старухи, родственницы хозяина дома, которые приняли на себя обязанности лекарок и сиделок.

А быть может, тени эти были по-прежнему лишь порождением измученного, истощенного усталостью мозга? На этот вопрос Савчук не в силах был ответить с полной убежденностью. Ведь шествие кочевых народов мимо его ложа возобновлялось по временам.

Наконец состоялся консилиум старух. Усевшись на полу, они перебранивались с большой энергией, но шепотом, похожим на шорох ящериц, которые взапуски бегали по стене. Кого напоминали Савчуку эти проворные, гибкие ящерицы?

Спор у ложа его то разгорался, то затихал. Все чаще повторялось имя Нодира. Кто это — Нодира? Он не мог вспомнить, как ни старался.

Наконец консилиум пришел к какому-то решению. В комнате загорелись курильницы, запахло благовониями, потом стали слышны удары бубна, глухие и редкие. Такой, наверное, пульс у великана.

Внезапно посреди комнаты Савчук увидел тоненькую девичью фигурку. Она выросла будто из-под земли и некоторое время стояла неподвижно, выпрямившись, широко раскинув руки, будто собираясь взлететь.

Так прошли две или три томительные минуты.

Пульс великана убыстрялся. Повинуясь ритмичному его аккомпанементу, руки танцовщицы задвигались — чуть заметно. Начиная от кончиков пальцев на руках, оживало с медлительной постепенностью все тело, словно бы просыпаясь. Качнулись плечи, заколебалось туловище, потом дрожь прошла сверху вниз по бедрам, затрепетали колени и послушно зашевелились пальцы маленьких босых ног.

На фоне глухих ударов бубна Савчук стал различать едва слышное монотонное пение. Оно стлалось по комнате подобно клубам дыма. Это пели женщины, сидевшие у постели, раскачиваясь вперед-назад, как бы торопя магию танца и сами невольно поддаваясь этой магии.

К щиколоткам танцовщицы прикреплены были погремушки, по четыре на каждой ноге. Переступая ногами то быстро, то медленно, она рассыпала вокруг чуть слышный мелодичный перезвон, нарастающий или замирающий.

Иногда руки танцовщицы двигались так быстро, что Савчук не мог уследить за ними, как ни старался. Ему чудилось, что у девушки выросла вторая пара рук. А порой возникало впечатление, что танцовщиц перед ним не одна, а множество. Они до этого прятались в нишах в стене и вдруг выбежали все вместе и задвигались в тесной комнате, то кружась в ослепительном вихре, то вновь окаменевая.

Когда же пение и бубен замолкали, то было слышно лишь шарканье по полу босых ног, позвякивание погремушек на ногах и бряцание браслетов на руках. Это околдовывало. Что-то словно бы надвигалось и предвещало. Что? Хорошее или плохое? Наверное, хорошее.

Да, все вместе — танец, пение, вздохи бубна — создавало некий необычный, исподволь околдовывающий эф-

фект. По временам Савчуку казалось: это он сам танцует с девушкой, покорно повторяя ее движения.

Непонятно сместились ощущения: Савчук сознавал, что лежит пластом на тахте, и вместе с тем танцевал — в своем воображении. Мускулы напрягались, расслаблялись, снова напрягались. И это давало неизъяснимое облегчение мозгу. Докучный стук у висков исчез, дыхание сделалось ритмичнее, глубже. Кровь не пробивалась с усилием через преграды, как горная река, а плавно струилась в просторном равнинном русле.

Для исполняемого танца были характерны эти внезапные переходы. Только что танцовщица быстро вращалась на пятках — и вдруг застывала в скульптурной позе, изогнув над головой руки, вопросительно скосив глаза на Савчука. А иногда замирала, положив пальцы одной руки на кисть другой. Несомненно, все жесты ее имели символическое значение. С помощью жестов девушка разговаривала с Савчуком, старалась его в чем-то убедить, (или разубедить?). Но он не мог ее понять.

Вот она стремительным движением опустилась на колени, ввернув ладошки, выкрашенные в красный цвет. Подхватилась внезапно, завертелась на месте, бренча, звеня погремушками и браслетами. Снова замерла, будто кто-то ее окликнул, повернув голову так, что Савчуку стал виден только профиль.

Неутомимыми (но не суетливыми!) были ее руки, загорелые, грациозно округленные. Они взлетали порывисто над головой, простирались вперед, застывали на мгновение или вздрагивали, будто колеблемые ветром.

Однако танцевали не только руки. Танцевали также глаза и губы девушки.

Почти все время сохраняла она сосредоточенное, даже отчужденное выражение на лице — лишь румянец малопомалу разгорался под смуглой тонкой кожей. Взгляд из-под дугообразных бровей, сросшихся на переносице, был диковатый и вместе с тем очень ласковый. И все чаще на полных губах ее появлялась улыбка — распускалась на лице, как пунцовый цветок. Что-то лукаво поддразнивающее было в этой улыбке, одновременно по-женски чувственной и по-детски шаловливой. Радость жизни вырывалась, пробивалась наружу.

И Савчук наконец понял смысл танца, предназначенного ему и только ему!

«Она верно говорит (да, да, именно говорит!) и как

красноречиво, убедительно, — думал он, не отрывая взгляда от танцовщицы, — верно, верно, закопался я в книги свои, чуть не задохся было в их пыли. Едва лишь кончилась война, засел в читальне невылазно, стал превращаться в книжного червя. А жизнь — вот она, вот — мелькает, кружится вихрем передо мной, улыбается, манит куда-то и проносится безвозвратно мимо...

Смена покоя и движения, усилий и отдыха, — продолжал думать Савчук, мало-помалу погружаясь в блаженное оцепенение, — это ведь, по сути, и есть жизнь. Танец учит меня жить. Годы и годы я жил неправильно, жил плохо, однообразно, монотонно. Мне не хватало простых радостей, сильных душевных переживаний, физической разрядки... Нельзя жить только умом! Отныне я стану жить по-другому, гармонической жизнью, не давая засыхать, отмирать душе...»

Вдруг все изменилось: девушка с пунцовым ртом исчезла, словно ее не было здесь, сдуло будто ветром, смолк бубен. Комната опустела.

Неужели все почудилось Савчуку? Неужели юная танцовщица лишь привиделась ему, подобно прорывившим в облаках пыли воинам Чингиз-хана или угрюмо шагавшим безмолвным палеазиатам?

Нет, над полом еще стлался благовонный голубоватый дымок. Значит, было?..

Так или иначе, но именно с этого дня произошел перелом в болезни Савчука — началось медленное его выздоровление.

7. «ВАМ ЭТО ПРИСНИЛОСЬ!»

Целебный танец... Понятно, Савчук был осведомлен в ритуальных танцах разных народов. Наблюдал, даже фотографировал пляски шаманов, прочел уйму книг, в которых подробно описывались вертящиеся дервиши, хлысты и прочие секты молящихся трясогузок. Но там однообразными, все убыстрявшимися движениями фанатики доводили себя до религиозного экстаза, до иступления, почти до безумия. Здесь, в кишлаке Унджи, было иначе. Впервые удалось Савчуку увидеть **исцеляющий танец**, более того, испытать на себе благотворное его воздействие.

Это был как бы торжествующий гимн природе, возвращение к природе, воссоединение с природой.

И снова подумал Савчук о том, что в жизни все подчинено извечному ритму. Вдох следует за выдохом. Волна нагоняет волну. День приходит на смену ночи, а выздоровление на смену болезни. А когда по неразумию своему человек выпадает из этого чередования, превращая ночь в день или вдыхая дым вместо воздуха гор и садов, то тем самым накликает на себя болезни, неудачи, горе.

Тривиальная мысль? Но очень важно до нутра проникнуться этой «тривиальностью». И вместе с пониманием, с просветлением пришло к Савчуку успокоение. А вслед за ним и твердая уверенность в том, что он выздоровеет.

Каждым первым своим, каждой клеточкой мозга ощущал выздоравливающий, что зловещее тесное ущелье, грозившее ему смертью, уже позади, что он преодолел перевал и благополучно выбрался на простор...

Не раз принимался Савчук расспрашивать своих хозяев о таинственной танцовщице, и всегда безуспешно. Старухи-хлопотуньи, Ныяз, дядюшка Абдалло лишь пожимали плечами, отделялись недоумевающими улыбками либо вежливыми недомолвками.

Но дело не ограничилось танцем. Савчука поили горькими отварами из трав, кормили сушеными абрикосами. Ему ежедневно массировали руки и ноги, подолгу тщательно перебирая палец за пальцем, стараясь улучшить кровообращение, постепенно возвращая с кончиков пальцев в тело жизнь.

Но главным образом Савчук лечился тем, что дышал. Целые дни проводил теперь на айване — просторной открытой террасе. Одним боком своим она нависала над пропастью, другим — над улицей кишлака, где резвились дети и теснились ишаки.

Закутанный в одеяло, Савчук лежал на мягкой курпаче¹, наслаждаясь покоем, чистейшим прохладным воздухом и зрелищем гор, которые толпились вокруг, сверкая на солнце конусообразными белыми шапками.

Горы! Вот чего не хватало так долго Савчуку!

Вид гор был суров, но доброжелателен. Казалось, скупое, по-мужски ободряют Савчука. «Будь как мы! — словно бы повторяли они. — Верь в себя, сохраняй спокойствие — и будешь счастлив!»

¹ Одеяло (тадж.).

Недаром в старинном изречении говорится: «Кто идет в горы, тот возвращается к лону своей матери!»

Доктор, которая, выполняя свое обещание, регулярно посещала Савчука, как-то сказала: «Невропатологи, определяя тип нервной деятельности пациента, иногда задают ему вопрос: что любит больше — море или горы?»

Савчук, по-видимому, был феномен — любил и море и горы. Но под теперешнее его настроение горы были все же лучше: они одновременно успокаивали и сосредоточивали.

Домá кишлака спускались со склона террасами. Часто плоская крыша нижестоящего дома служила двором для дома вышестоящего.

А когда Савчук менял положение и поворачивался на курпаче, то видел вдали темное пятно прохода в горах. Если в давние времена жители Унджи пришли из Индии, то прошли как раз через этот проход. (Кстати, дядя Абдалло перевел Савчуку название кишлака. «Унджи» означало «там», просто «там».)

Беглецы добирались сюда, конечно, с огромным трудом, оставляя многочисленные могилы по пути, но добрались, наконец! Вряд ли они стремились именно в эту долину, странствие их не было целеустремленным. Но, прибыв, осмотрелись, здесь им понравилось, и вот путь через три горных хребта закончен.

Выздоровливая, Савчук вспомнил слова доктора об утаенном сокровище.

Он вообразил, как, сгибаясь под тяжестью загадочной ноши, предки нынешних обитателей кишлака выходят из ущелья и останавливаются, пораженные открывшейся перед ними красотой долины. Вся она залита солнечным светом, а снежные горы толпятся вокруг, будто надежные стражи, оберегающие ее покой.

И тогда со вздохом облегчения беглецы сваливают наземь свою ношу и распрямляются...

Что это за ноша?

Неужели здесь, в кишлаке, а быть может, где-то поблизости от кишлака, спрятано нечто представляющее ценность для науки, ценность, которую даже не выразить в рублях?

Так ли это?

Хотя чего не бывает в жизни...

По смутной ассоциации мысли Савчука перекинулись от гор Таджикистана к другим, чешским горам, где он

побывал под конец войны. Горы эти были, правда, куда уютнее Гиссарских, хотя можно ли сказать так — уютнее — о горах?

И все же какая-то мистическая тайна, подобно облаку, осеняла и пологие лесистые холмы Чехии.

Савчуку рассказали, что в XV веке исступленные проповедники предрекали с амвонов и на рыночных площадях близкую гибель мира. Он, этот погрязший в грехах мир, канет мгновенно в небытие, развеется, как утренний туман. Уцелеют только пять городов, которые расположены на вершинах гор, то есть ближе к небу, к богу (а быть может, ожидался новый всемирный потоп?).

Благодаря любезности своих чешских хозяев этнограф посетил эти избранные города.

Они были избраны богом, однако не избавлены им от напастей и бед.

В Седлеце этнографа поразил тамошний собор, вернее, внутреннее его убранство. Это, собственно, был могильник, вывернутое наружу нутро могильника. Все люстры, канделябры и прочие украшения на алтаре, стенах и потолке сделаны были искусно из человеческих костей, главным образом черепов. Зловещий — с оскалом — орнамент!

Сопровождавший Савчука переводчик пояснил, что человеческие кости взяты с кладбища, где погребены были 30 000 горожан, умерших во время эпидемии чумы. Переводчик недоумевал, зачем понадобилось потрошить могилы. Но Савчуку, как этнографу, все было ясно. Жертва Чуме (с большой буквы!) — проявление традиционной симпатической магии! Черепами чумных жители Седлеца заслонились от новых губительных эпидемий.

А с городом Кутна Гора связан был рассказ о необычном подвиге Яна Жижки, непобедимого одноглазого полководца гуситов.

Он подступил с войском под стены Кутной Горы, где жили католики. К врагам своей веры гуситы не знали жалости.

И вдруг навстречу угрюмым воинам, на груди которых алело изображение священной чаши, символа равенства всех людей, вышли из города дети, только дети, множество приветливо улыбающихся детей, неся в руках букеты цветов и корзиночки с ягодами черешни (тогда было начало лета, все вокруг цвело и благоухало).

И Жижка, неукротимый вонтель во имя господне, простил — ради детей — город, обреченный пожарам и

разграблению, и приказал своим воинам обойти Кутну Гору стороной...

Вспомнив о пяти избранных чешских городах, Савчук вернулся мыслями к жителям приютившего его кишлака. Нельзя ли обнаружить тут некоей аналогии? Не жили ли ранее предки их где-то в предгорьях Гималаев, а потом ушли в горы, в высокие, увенчанные сверкающими белыми коронами горы, спасаясь от надвигающегося светопре-ставления (допустим, предсказанного потопа)?

Но тогда при чем тут рассказы о каком-то сокровище?

Сокровище, сокровище... Золотистые блески, нити, бахрома, как солнечные блики в листве, неотвязно мерцают перед глазами этнографа.

Неужели в кишлаке никто не помнит об этом исходе из Индии? Не может быть, чтобы о нем не передавалось — пусть в иносказательной форме — из уст в уста, от отца к сыну, от матери к дочери. Должно же сохраниться в памяти рода хоть что-нибудь, кроме коротенького слова «бутпароста»?

Но казалось, ни Ныяз, ни жена его Фатима, ни дядя Абдалло и не слыхивали ничего о спасенном (или утаенном) сокровище.

Девчушка со школьной спортивной площадки, убежавшая от озорника, крикнувшего вслед ей: «Язычница» (Савчук вспомнил ее имя — Нодира), тоже, понятно, ничего не смогла бы объяснить этнографу.

В часы, когда ребяташки отправлялись в соседний кишлак, где находилась школа, и когда они возвращались оттуда, Савчук нетерпеливо высматривал Нодиру, перегибаясь со своей террасы, нависшей над улицей. Тщетно! Множество разноцветных тюбетеек, с которых свешивались моткулы — двадцатипятисантиметровые кисточки, кишело внизу, но ни под одной из них не видел он запомнимшегося ему ласкового смуглого личика.

Савчук спросил о Нодире у Ныяза.

— А, Нодира! — небрежно сказал тот, думая о чем-то другом. — Пугливая она. Дичится тебя, понимаешь? Большая стала уже. Семнадцать лет. Замуж пора давно. Осенью уберем хлопок, свадьбу станем играть.

— А за кого выдаете замуж?

— Есть тут один. Кладовщик в нашем колхозе. Музаффар. Родич наш. Вдовец. Почтенный человек.

Савчука словно бы кольнуло. Вдовец! Стало быть, уже не молодой? Жаль. Девчушка со школьной спортивной

площадки заслуживает, несомненно, другого мужа, молодого, себе под стать. Уже в ту осень, семь лет назад, она обещала стать красавицей...

Но вот наступила новая фаза лечения Савчука. Изрядно проморив его голодом (на травяных отварах), его принялись откармливать.

Особенно понравились ему сушеные яблоки, молотые на мельнице или толченные в каменной ступе, которые смешивают с сушеной туюй и жареной пшеницей. Получается вкусная и сытная мука.

Осенью все крыши завалены здесь абрикосами, яблоками, сливами. Получается сухой компот, который едят круглый год.

Кишлак окружали массивы тутовника (шелковицы). Было время, по рассказам Ныяза, когда шелковица являлась чуть ли не основным предметом питания в кишлаке. Время это прошло. «Друга Володью» угощали лишь отборной туюй духтарчин, которую собирают и сушат девушки.

Наконец Савчук сказал:

— Теперь я хочу мяса!

И тогда даже осторожная и недоверчивая Фатима согласилась с другими женщинами кишлака:

— Наш Володья выздоровел!

Это признала и доктор из Душанбе. Пациенту разрешили понемногу «расхаживаться» — пока в пределах дома и внутреннего двора.

Теперь он, естественно, не мог не встретиться с Нодирой. И он встретился с ней. Произошло это так.

Как-то под вечер выздоравливающий прогуливался взад и вперед по двору. Мимо, с кувшином на плече, стремглав промчалась девушка. Что-то в смуглом оживленном лице ее показалось Савчуку знакомым. Он остановился, провожая девушку взглядом. Неужели?..

Из глубины двора донеслось пронзительное:

— Нодира, эй!

Он не поверил своим глазам. Это и есть та самая девчушка, так звонко, беззаботно смеявшаяся, убегая от своего неуклюжего преследователя? Невероятно!

Она вдруг предстала перед Савчуком в блеске победоносной юности, во всем благоуханном, ярком цветении своих счастливых семнадцати лет. А он-то пытался, видите ли, узнать ее среди детишек, сновавших, как муравьи, под его террасой!

Преображенная Нодира сняла с плеча кувшин и остановилась перед Савчуком в выжидательной позе.

— Как ты выросла, Нодира, как похорошела! — с восхищением воскликнул Савчук. — Ты не забыла меня?

Она отрицательно покачала головой, прикрывшись рукавом. Но над ним с насмешливым выражением поблескивал карий, удлиненный, очень красивый глаз.

— Нодира-а! — снова раздраженно окликнули девушку.

Она метнулась было в сторону, но Савчук придержал ее за рукав:

— Мы же старые знакомые с тобой! Ну как живешь? Я слышал от твоего отца: осенью выходишь замуж?

Нодира, опустив руку и открыв лицо, промолчала, но брови ее сердито сдвинулись — видимо, вопрос был неприятен ей. В нетерпении она быстро переступала по земле маленькими босыми пятками. И колокольчики на кончиках кос позванивали в такт.

Савчука осенило. Ведь это она танцевала перед ним, прикованным к постели! Танцевала под звон погремушек на ногах, под вздохи бубна и едва слышное пение сидящих на полу старух! Конечно, это была Нодира, она, никто иной! Те же быстрые, гибкие руки! Тот же своенравный поворот шеи! Тот же лукавый, пленительный, околдовывающий взгляд искоса!

— Ну, спасибо тебе! — сказал Савчук. — Хорошо танцевала тогда. Мне сразу стало лучше.

— Танцевала? Я? — переспросила она. — Я не танцевала. Вам это приснилось, наверное.

Неужели приснилось? А может, это и вправду ему приснилось? Но губы Нодиры дрожали, непроизвольно изгибались, растягивались в улыбке, которая противоречила только что сказанному ею.

— Ты могла бы танцевать при дворе какого-нибудь магараджи, — продолжал Савчук, испытующе глядя на нее. — В волосах у тебя были бы драгоценные украшения.

Слово «магараджа» не произвело на Нодиру никакого впечатления. Но украшения в волосах ей понравились.

Улыбаясь, она кивнула головой.

— Я думаю, мне пошли бы драгоценные украшения, — сказала она. И, грациозным движением подхватив кувшин с земли, убежала со смехом.

А Савчук остался стоять посреди двора, смотря ей вслед, ошеломленный, ослепленный...

8. НЕЛЕПАЯ ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Да, он влюбился. Увы, приходится признать это. Каково? Будучи уже немолодым человеком, рассудительным, уравновешенным, всецело поглощенным любимой своей наукой — этнографией!

И вот неожиданно-негаданно с ним стряслось такое.

Говорят, любовь иногда обрушивается на человека, как теплый весенний ливень. Савчука любовь поразила подобно удару молнии. Обрушилась на него вдруг, как тяжкое несчастье, как бедствие, катастрофа.

Он принимался стыдить и ругать себя. Опомнись! Как угораздило тебя влюбиться в девушку, которая годится тебе в дочери? Ей семнадцать, а тебе через несколько дней исполнится тридцать девять! Ты старше ее на двадцать два года, подумать только! Двадцать два — почти четверть века!

Ну, а наружность? Она — красавица, имя ее не случайно значит Редкостная! А что из себя представляешь ты? Смолоду был неуклюж, застенчив, громоздок, а с возрастом еще больше отяжелел, раздался вишь, и лицо имеешь невыразительное, толстое. Недаром девушка, которая дружила с тобой в студенческие годы, называла тебя Пьером Безуховым.

Да, но ведь она говорила это ласково? И Наташа Ростова все-таки полюбила под конец Безухова, пренебрегла его некрасивой наружностью. А ведь он также был старше ее. Намного ли старше? Помнится, на пять или на шесть лет.

Савчук вздыхал. На пять или на шесть... Но не на двадцать же два!

С другой стороны, если перебрать в памяти встречи его с женщинами — опыт Савчука в этом отношении был невелик, — то все же это как-то обнадеживало. Не дракон же он, в самом деле, не Змей Горыныч! Есть, стало быть, что-то, что привлекало к нему женщин.

Почему, например, так привязалась к нему на фронте милая медсестричка Галя? Своим вниманием ее донимали поголовно все молодые (да и не только молодые) офицеры у них в батальоне. Но она, на удивление, предпочла им Савчука! И нет сомнений, любила его по-настоящему — преданно, заботливо. «Ты — мой хороший! — говорила она ему. — Ты такой добрый. И ты надежный, а это очень важно для женщины». Строились уже планы дальнейшей

совместной жизни после войны. Но в боях под Секеш-фехерваром Савчук был ранен. А когда он вернулся в батальон из госпиталя (что считалось редкой удачей во время наступления), то узнал, что Галя убита при штурме Будапешта.

До сих пор он бережно хранит благодарную память о ней...

Однако любил ли он ее? Наверное, да, любил. Но спокойно любил, если можно так выразиться о любви. Скорее, позволял любить себя.

Нет, ни в какое сравнение не идет это с тем, что переживает сейчас! Сам поражается силе и мучительной остроте своего чувства. Какой-то сладостный бред наяву, наваждение, иначе не скажешь, именно наваждение!

Те часы, когда он не видит Нодиры, кажутся ему пустыми, тоскливыми, бессолнечными.

Первую половину дня девушка находилась в соседнем селении в школе (заканчивала десятый класс), а он томился у себя на айване, смотря уже не на горы, обступившие толпой кишлак, а лишь неотрывно в одном направлении — вдоль улицы. В конце ее вот-вот должна появиться стремительная тоненькая фигурка со школьным портфельчиком в руке.

О, появилась, наконец! Савчук торопливо переходил на другую сторону айвана, откуда виден был внутренний дворик.

Переодевшись, Нодира приступала к выполнению многочисленных обязанностей по дому. В нем полным-полно было младших сестренек и братишек, мать не управлялась с ними. Задорный веселый голосок то и дело доносился до Савчука, узенькие розовые пятки так и мелькали перед глазами.

Пестрым вихрем носилась Нодира взад и вперед по дому. По временам Савчуку представлялось, что девушка живет танцуя. Двигается, как поют птицы по утрам в саду — ликуя, безотчетно радуясь солнцу, теплу, ветру.

Повторялось, хоть и в более слабой степени, то, что происходило с ним во время исполнения памятного целебного танца, когда старухи лекарки, раскачиваясь, негромко пели на полу, а над курильницами поднимался кольцами голубоватый дурманящий дымок. И теперь, не отрывая глаз от Нодир, взбегавшей или сбегавшей по лестнице, Савчук с удивлением ощущал, как все быстрее,

все радостнее струится кровь по его жилам. Ему очень хотелось жить! От прежней душевной депрессии не осталось и следа.

Нодира живет танцуя... Да, именно так! И Савчук имел случай убедиться в этом.

Однажды он переживал полдневный зной в садике, в тени шелковицы, отделенной от садовой дорожки кустами. Мимо пробежала Нодира, держа на голове таз с бельем. Не заметив Савчука, она вдруг остановилась и поставила таз на землю. Потом, раскинув руки, будто готовясь взлететь, сделала несколько быстрых танцевальных движений. Был ли то отрывок из танца или внезапная импровизация? Просто очень радостно и легко сделалось на душе, радость искала выхода, немедленного, и вот — танец! Танец на бегу!

Савчук притаил дыхание, боясь, что его могут обвинить в подсматривании, хотя все получилось случайно, он никогда не осмелился бы подсматривать.

А ветерок с гор покачивал ветви и кусты, и солнечные пятна перебегали взад и вперед по садовой дорожке. Они создавали причудливую игру света и тени — дополнительный фон для танца.

Все длилось две-три минуты, не больше. Короткий смешок, Нодира нагнулась, проворно подхватила таз с бельем и умчалась по своим делам.

А в другой раз он подслушал невзначай ее пение — негромкое, для себя.

Она медленно пересекала дворик, опустив в задумчивости голову. И вдруг до Савчука, сидевшего на террасе, донеслась незамысловатая мелодия и слова песни, к сожалению, непонятные.

На следующий день он спросил ее об этой песне.

Нодира как будто смутилась, даже закрылась на мгновение рукавом, потом, смотря Савчуку прямо в глаза, сказала:

— Это свадебная песня. Ее у нас поют девушки, когда выходят замуж. Хотите, я переведу вам слова?

И, не дожидаясь ответа, продолжала с паузами:

Князь мой выехал на охоту,

Пыль за ним кружится столбом.

Как мне рассказать тебе, чтобы было не длинно,
не коротко?

Я умираю от желания обнять и поцеловать тебя,

Я умираю от тоски по твоим коралловым губам,
Я умираю от томного взгляда твоих парциссов-глаз...

Вид у Савчука был, наверное, нелепо-растерянный, потому что Нодиры коротко засмеялась, помахала ему на прощание рукой и, согнувшись, нырнула в приоткрытые двери кухни.

Что все это значило?

Но и плененный любовью Савчук ни на минуту не забывал о том, что должен обязательно разгадать тайну слова «язычница». Разгадав ее, он приблизится заодно и к пониманию самой Нодеры.

Слух о каком-то сокровище, якобы утаенном родичами Нодеры, сделался новым витком в причудливом этнографическом узоре.

Доктор милостиво разрешила Савчуку, наконец, вернуться в город и приступить к чтению лекций в университете.

Но и живя в городе, Савчук каждый субботний вечер добирался на автобусе или на попутной машине до кишлака Унджи и проводил там весь воскресный день.

Расспросы в Душанбе об утаенном сокровище не дали ничего. И родичи Нодеры упорно отмалчивались или выражали свое изумление, когда он подступал к ним с осторожными вопросами о сокровище. А может, и впрямь не знали о нем ничего? Да и было ли оно?

Савчук наблюдал в быту жителей Унджи отдельные суеверия, вернее, рудименты суеверий. Так, например, подавая лепешки к столу, запрещалось переворачивать их той стороной, которой они пеклись. Хлеб считался священным, с ним надлежало обращаться с особым почтением. Также нельзя было стряхивать брызги с рук после мытья. Это могло якобы накликать в дом злых духов.

Но с подобными остаточными суевериями, по свидетельству душанбинских этнографов, можно было встретиться и в других таджикских колхозах. К тайне родичей Нодеры это не имело никакого отношения. Все это не шло в счет, было лишь шелухой, не более того.

Савчук спросил Нодиру, верит ли она в злых духов.

— Как я могу верить в духов, — ответила она с достоинством, — я же комсомолка! — И, помолчав, добавила: — Фатих тоже комсомолец. Нас приняли недавно в комсомол.

Фатих — это был тот самый мальчишка, который

когда-то гонялся за Нодирой по школьной площадке и кричал ей вслед: «Язычница!» С тех пор он вытянулся, вырос, возмужал, превратился в плечистого, коренастого юношу, немного, правда, сумрачного, смотрящего исподлобья. Как было сказано, жил в соседнем кишлаке, где находилась школа-десятилетка, был соучеником Нодир.

Уже с четверга или с пятницы Савчук начинал томиться от нетерпения. В субботу он поедет в гости в Унджи, чтобы провести там субботний вечер и весь день воскресенья. Может быть, ему удастся перебраться с Нодирой несколькими словами...

Важно в данном случае не упустить из виду одну деталь. Конечно, Нодире, уже просватанной, признанной официально невестой Музаффара (ждали только ее восемнадцатилетия), вроде бы не полагалось проводить время в разговорах с мужчиной не из ее семьи. Но Савчук был чужеземец, стало быть, по принятым в Унджи представлениям, не мог рассматриваться как возможный претендент на руку Нодир. Кроме того, он был ученым человеком, который приехал из Москвы в Таджикистан, чтобы изучить здешние нравы и обычаи.

Вот почему и Ныяз, и Фатима со спокойной совестью давали возможность своей дочери иной раз поболтать с уважаемым гостем.

Нодира была умненькая, с живым воображением и довольно начитанная. Савчук беседовал с нею о Толстом, о Чехове, о Шолохове.

— Осенью буду держать экзамен в университет,— объявила она.

— Вот как? И на какой факультет?

— На филологический.

— А муж тебя отпустит? Я слышал: осенью ты выходишь замуж.

Нодира промолчала и нахмурилась.

— Тебе нравится Музаффар? — Савчук не удержался от бестактного вопроса.

Нодира пробормотала что-то сквозь зубы, дернула плечиком, круто повернулась и убежала. Жених был ей явно не по вкусу.

Савчук видел его и разговаривал с ним. Это был очень добродушный, круглолицый, бородатый человек лет пятидесяти, вдовец. От первого брака у него осталось пятеро детей, за которыми некому было присматривать.

Нет, ни по возрасту, ни по культурному своему уровню он никак не годился в мужа Нодире.

Смешно, конечно, но в связи с этим у Савчука возникли неясные надежды.

Несомненно, Нодира хорошо относилась к нему, была предупредительна, даже ласкова с ним. Охотно останавливалась посреди двора поболтать, когда ей позволяли заботы по дому.

— Почему ты не выступишь в школьной самодеятельности? — спросил как-то Савчук. — Потом тебя могли бы направить в Москву на олимпиаду танца.

— Танец! Опять танец! — Нодира сделала вид, что рассердилась. — Все время вспоминаете про какой-то приснившийся вам танец! — Но яркие губы ее опять раздвинулись в ослепительной улыбке.

Гуляя по садам, оглушенный радостным пением птиц, Савчук повторял поэтическое арабское изречение: «Птицы, каждая на своем языке, славят одно и то же — любовь». Кроме того, ему очень нравились таджикские стихи, где была строка: «Я ранен стрелой, которую ты метнула в меня из лука твоих бровей».

Кто из коллег Савчука мог бы подумать, что он, сдержанный, суховатый, всецело погруженный в свои ученые изыскания, способен мечтать, да что там мечтать — просто бредить наяву?

Бог знает что лезло в его одурманенную голову!

Однажды в разговоре с Нодирой Савчук сказал, что такого-то числа день его рождения.

— О! Я сделаю вам подарок! — пообещала Нодира.

И в день его рождения она возвратилась из школы домой, таща огромную, искусно сплетенную гирлянду из цветов жасмина. Савчук увидел ее со своей террасы и стал поспешно спускаться по лестнице.

Перехватив его на полдороге, Нодира торжественно водрузила гирлянду ему на шею.

— Нагните голову! Нагните! — требовала она, смеясь. — Вы слишком высокий для меня!

Взволнованный, растроганный, Савчук стоял, послушно склонив голову. Широкие рукава халата спадали, и гибкие девичьи руки, покрытые золотистым пушком, мелькали перед его глазами. Нодира придирчиво примеряла на нем гирлянду, поправляя, расправляя цветы.

Савчука била дрожь. На лице своем ощущал он бла-

гоуханное дыхание, немного прерывистое,— девушка запыхалась, взбегая по лестнице.

— Ты наряжаешь меня,— сказал Савчук хриплым голосом,— как наряжают к празднику слонов в Индии.

С детской непосредственностью она захлопала в ладоши.

— Вы правильно сказали. Слон! Мой большой, очень сильный, очень добрый слон!

Что это? Она сказала «мой»?

Он порывисто простер руки и положил их на плечи Нодире. Нежные слова, тысячи нежных слов трепетали на языке, готовые вот-вот сорваться...

Но счастье Савчука длилось всего лишь мгновение. Глаза Нодиры наполнились слезами, потом в традиционном жесте мольбы она сложила ладони.

— Помогите нам, добрый слон!

— Вам? Кому это вам?

— Ну вы же знаете! Вы все знаете! Мне и Фатиху...

— Тебе и Фатиху? Почему?

— Я не хочу за Музаффара. Я хочу за Фатиха.

Руки Савчука бессильно упали с ее теплых круглых плеч.

— Вас так уважают у нас! Вас послушаются моя мать и другие женщины в кишлаке! Только вы можете помочь нам с Фатихом!

Так, стало быть, Фатих и Нодира любят друг друга! Вполне естественно, в порядке вещей! Как же он, разиня, не заметил, не понял этого раньше? У-у, так и стукнул бы себя кулаком по бестолковой башке!

— Хорошо. Я помогу тебе с Фатихом,— сказал Савчук бесцветным голосом.— Буду очень стараться.

На этом разговор на лестнице прервался. Снизу, из внутренних комнат, донесся детский крик и плач. Нодире нетерпеливо позвали.

— Иду-у! — крикнула она и умчалась.

А Савчук с гирляндой из цветов, висящей на шее, остался стоять на лестнице.

Неплохо справил день рождения, неправда ли?..

Однако молодые люди напрасно возлагали на него надежды. Со всей возможной убедительностью он поговорил с женой Ныяза Фатимой (мнение ее было решающим), с самим Ныязом, с дядей Абдалло и с другими пожилыми родичами Нодире. Ответ на все доводы его был один: «Фатих не из нашего кишлака!»

С этим Савчук и уехал в Душанбе, прочел в университете последнюю свою лекцию, а затем, напутствуемый сердечными пожеланиями, улетел в Москву.

На аэродроме провожали его Ныяз, дядя Абдалло и Нодира. Последнее, что увидел он в окно самолета, были молящие глаза девушки. Несмотря ни на что, она свято верила, что ее «добрый слон» сумеет помочь ей с Фатихом...

9. РАДИ СЧАСТЬЯ НОДИРЫ

В самолете Савчук вспомнил о рукописи на пальмовых листах, бегло прочитанной им в Праге семь лет назад. Кажется, там говорилось о горном храме и о сокровище храма, а также описывалось начало трудного путешествия в горах? Было ли это всего лишь совпадением? А быть может, именно в этой рукописи и содержался ключ к разгадке?

По возвращении в Москву Савчук немедленно же принялся хлопотать о заграничной научной командировке в Прагу. Дело по тем временам было непростое и заняло много времени. А пока этнограф с головой зарылся в книги.

Будучи педантом, он расчленил тайну на три части. Первый вопрос: индийцами ли были предки Нодиры? Второй вопрос: что это за сокровище, которое не то спасли, не то похитили? Третий вопрос: при каких обстоятельствах покинули беглецы Индию и как добрались до Таджикистана?

За лето (оформление командировки затянулось) Савчук успел не только прочесть много книг — читал необыкновенно быстро, — но и проконсультироваться с несколькими индологами.

И вот что он узнал от них.

До самого последнего времени браки в Индии разрешались только строго в пределах той или иной касты¹.

¹ В Индии 24 000 каст, главные из них четыре: брахманы — жрецы, кшатрии — воины, вайшья — купцы, ремесленники, крестьяне и шудра — рабочие. Касты очень живучи, будучи обособлены друг от друга по профессиональным, производственным признакам. У членов той или иной касты чаще всего общие интересы и обычаи. Многие индусты перешли в ислам, чтобы сбросить с себя путы касты.

Это вытекало из религиозных представлений индуистов о последовательном, ступенчатом переселении душ после смерти. Кастовую обособленность свою больше всего оберегали брахманы. (Много упоминаний об этом содержится не только в специальной научной литературе, но и в беллетристике, например у Рабиндраната Тагора.)

Стало быть, род Нодиры не род вовсе, а обломок касты?

Вначале Савчук склонялся, правда, к тому, что по религиозным воззрениям своим предки Нодиры были когда-то сикхами, то есть членами распространенной секты, которая возникла в Пенджабе (северо-западная окраина Индии). В отличие от индуистов сикхи гораздо прогрессивнее, верят в единого бога, признают равенство мужчин и женщин, в частности отказались от старинного жестокого обычая — сожжения вдов.

Его разубедили.

Одно, но сокрушительное возражение выставлено было против этой догадки. Сикхи смело ликвидировали у себя все кастовые разграничения. Значит, и браки совершаются у них свободно, безо всяких запретов. А это никак не соответствовало тому, что наблюдал Савчук в кишлаке Унджи. «Фатих не из нашего кишлака!» — единодушно заявляли родичи Нодиры. «Не из нашего кишлака» — читай: не нашей касты!

(Причем существенно то, что жители кишлака, видимо, сами не догадывались о подспудной причине этого категорического запрета.) Выходит, индуисты?

В пользу этого предположения, как ни странно, говорил прежде всего целебный танец. («Вы очень точно описали его», — похвалили Савчука индологи.)

Индуистская религия находит свое воплощение в танце.

При англичанах древние академические танцы стали постепенно исчезать. Но знаменитая русская балерина Анна Павлова в бытность свою в Индии увидела обрывки академических танцев, заинтересовалась ими и занялась их возрождением, их пропагандой. Индийцы до сих пор хранят благодарную память об Анне Павловой¹.

¹ Так же, впрочем, как и о других русских людях, любивших Индию и помогавших ее культурному развитию, например о Рерихе, знаменитом художнике и ученом, над прахом которого в Кулу пред лицом величественных Гималаев водружен сорвавшийся с горы большой камень с надписью на нем: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, предано сожжению на этом месте...»

От европейского индийский танец отличается тем, что в нем танцуют главным образом руки. Одних мудра — движений рук — насчитывается свыше шестисот. Да, живая азбука. С помощью жестов танцовщица говорит о любви, о ненависти, о покорности, об отвращении и о многом другом. Знак отказа — обе ладони подняты, сцеплены указательные пальцы, потом сгибаются пальцы левой руки, оставляя выпрямленным большой палец. Оглядываясь назад и застывая в этой позе, повторяют движение испуганной лани. Три фазы расцвета лотоса изображаются последовательными движениями ладоней. Обязательные приседания с согнутыми коленями обозначают тягу к земле, к земной жизни.

Предельно красноречива и мимика индийских танцовщиц. Одних положений глаз насчитывается несколько десятков.

Так же разнообразен и своеобразен аккомпанемент барабана. Он имеет сотни вариаций, недоступных для слуха европейца.

Священные танцы спасены от забвения и запечатлены навеки в барельефах, покрывающих стены многочисленных индуистских храмов.

Нужно при этом различать давадаси и апсар. Давадаси — это искусные танцовщицы, жрицы храма. Апсары же — богини низшего ранга. Иногда они становятся возлюбленными героев в награду за их доблесть.

В индийских преданиях существует также священное дерево Ашоки. Особенность его в том, что оно покрывается листвой и расцветает от прикосновения влюбленной девушки.

Итак, неопровержимое подтверждение догадки — танец! Предки Нодиры были индуистами по религии — отнюдь не буддистами и не сикхами.

Но кем были при этом: вишнуитами или шиваитами? От этого зависел ответ на второй вопрос — о сокровище, похищенном или утаенном.

— Речь может, скорее всего, идти, — задумчиво сказали индологи, — об одной из странствующих статуэток Шивы. С одиннадцатого по восемнадцатый век их во множестве отливали из бронзы, и они совершали длинное путешествие с юга на север страны. Не исключено, что та статуэтка, которая вас интересует, была из чистого золота.

Савчук знал, что Шива является одной из ипостасей

Тримурти — индуистской Троицы, составляя ее вместе с Брахмой и Вишну.

В течение столетий образ Шивы претерпел ряд изменений. В ранних скульптурах из камня подчеркнута именно физическая энергия бога, его экспрессивность, радость излучаемой им творческой силы. Прототипом его можно считать Рудру, владыку песен и покровителя врачей, самого щедрого из богов ведийского пантеона.

С течением времени почитание Брахмы — творца Вселенной прекратилось почти повсеместно. Индуизм распался на две ветви: почитателей Вишну — вишнуитов и почитателей Шивы — шиваитов. Последние расселены преимущественно на юге Индии, но есть они и на севере, в предгорьях Гималаев.

Шиваиты считают, что творческая сила Шивы, проявляющаяся в танцах, есть источник движения Вселенной. Поэтому Шиву так часто изображают в виде танцора Натараджи, царя танца. По верованию шиваитов, в процессе танца он создает и улучшает мир.

— Возможно, ваше спасенное или похищенное сокровище храма выглядит вот так, — сказал индолог, доктор искусствоведческих наук и лауреат премии имени Джавахарлала Неру. И он снял со своего письменного стола и показал Савчуку золоченое изображение пляшущего человека с четырьмя руками, стоящего на одной ноге, подняв другую.

Медленно поворачивая на поднятой руке статуэтку четверорукого бога, индолог обращал внимание Савчука на отдельные ее особенности.

— Всмотритесь: в одном ухе у бога мужская серьга, в другом — женская. В правой руке он держит барабан, звуками которого пробуждает мысль. Ногой попирает демона невежества, пьедесталом ему служит священный лотос.

— А что это у него в волосах?

— Богиня Ганга. Когда Ганг, по представлениям индуистов, упал на землю, заботливый Шива бережно принял его на голову, так сказать, самортизировал удар, чтобы обезопасить людей от землетрясения. Шива, однако, не только созидатель, он и разрушитель. У него, заметьте, три глаза, которыми он может испепелить мир. Но этого он, конечно, не сделает. Недаром имя «Шива» значит на санскрите «благодарный», «дружественный».

— Что ж, в общем, добрый малый, — сказал Савчук,

улыбаясь.— Если бы я смолоду не был атеистом и меня заставили бы выбирать себе бога, я остановился бы, пожалуй, именно на этом улыбающемся плясуне...

Получен, таким образом, ответ и на второй вопрос — о сокровище.

Остался последний, третий вопрос — при каких обстоятельствах служители и служительницы храма бежали из предгорьев в горы и как удалось им преодолеть три грозных хребта?

Дату бегства нужно, по-видимому, отнести к концу XVII века (если история предков Нодиры совпадает с историей путешествия, записанной красной тушью на белых пальмовых листах).

Хранитель рукописей пан Соуккуп высказал предположение, что бегство произошло в 1857 или в 1858 году, во время подавления восстания сипаев. В противовес этому утверждению пан Водичка, лингвист, заявил, что толчок к бегству дан не англичанами, а одним из Великих Моголов — Аурангзебом, обращавшим в мусульманство покоренные им народы Индии, а также беспощадно разрушавший индуистские храмы.

Савчук склонялся к мнению пана Водички. Дело в том, что с 1858 года по нынешний, 1953-й, прошло менее ста лет — срок явно недостаточный для тех перемен, которые произошли с предполагаемыми беглецами. Все-таки они основательно отаджичились, настолько основательно, что только профессионально обостренный взгляд смог обнаружить некий еще неразгаданный этнографический пласт под первым, верхним пластом.

Кроме того, не нужно забывать, что индуисты сменили в горах Таджикистана свою веру. На это, конечно, тоже необходимо время.

Если же дату предполагаемого «исхода» отнести к царствованию Аурангзеба, то срок для ассимиляции удлинится соответственно на два с половиной столетия.

Видится Савчуку вереница усталых, изголодавшихся, продрогших на ледяном ветру путников, которые бредут по горам, преодолевая перевал за перевалом. В руках у них посохи, за плечами мешки. И есть у путников одна особо оберегаемая ими ноша. Что-то тщательно запеленуто в ткани и с этим «что-то» обращаются очень бережно, более того — благоговейно. Со стороны взглянуть — несут маленького ребенка. На самом деле это статуэтка пляшущего бога, и она для путников живее живых —

вся из золота, с рубинами вместо глаз, единственно ценное, что в спешке бегства удалось выхватить из пламени.

— Согласен,— сказал Савчук.— И все же никак не могу представить себе, как эти люди выдержали лютый холод Гималаев.

— Ну, об этом существует целая литература,— ответили ему индологи.— Вы и не подозреваете, какие скрытые возможности сопротивления заложены в человеческом организме. Вспомните картину Рериха, на которой мудрец в набедренной повязке сидит на снегу, а за спиной у него вздымаются белые вершины Гималаев. Есть также фотографии, на которых запечатлены тибетские жрецы, совершенно нагие, стоящие босыми ногами на снегу. И тибетцы, и индийцы умеют с помощью силы воли управлять терморегуляцией своего тела.

— Но почему беглецы так стремились в горы?

— А это проще простого. Вспомните некоторые названия. Например, Джомолунгма — Мать Гор. К кому прибегают в беде? К матери, не правда ли? Есть в Гималаях также пик Недоступной Красоты. Глубоко поэтично, вы согласны? Но главная гора — это гора под названием Кайлаш. По верованиям шиваитов, она является обителью Шивы. Понимаете? Ваши беглецы шли к своему богу, искали в обители его спасение.

— Да, все сходится. Кстати, мне объяснили в Таджикистане, что название кишлака Унджи означает «там», просто «там». Тоже своеобразный шифр: где-то там в горах!

— Значение гор в религиях разных народов вообще очень велико. Возьмите хотя бы: Шань-Шуй — священная гора у китайцев, Фудзи-Яма — у японцев, по-японски «яма» — «гора». А у буддистов это Шамбхала — священная страна, расположенная в глубине гор. Шамбху — одно из имен Шивы, «ла» — «перевал». Значит — «страна Шивы за перевалом».

— Видимо, не случайно в нашем русском эпосе один из богатырей носит имя Святогора?

Конечно. А что касается Гималаев, то влияние их на климат Индии трудно переоценить. Они заслоняют страну от северных ветров. И все реки Индии берут свое начало в Гималаях. Недаром говорят в Кашмире: «У нас есть все, что нужно для человека: чистая горная вода, зеленая трава и прекрасные женщины».

— И вы полагаете, что мои беглецы, как вы называете их, смогли добраться до Таджикистана?

— Бесспорно. В Гималаях есть караванные тропы. Вероятно, после нескольких лет странствия путники вышли в район Фейзабада, переправились через реку, и вот она — цветущая, вся в садах, долина Унджи! «Там» стало «здесь».

Индологи, понятно, не представляли себе, что эти изыскания и глубокомысленные рассуждения предприняты ради счастья смуглой девушки с печальными удлинненными глазами — ради счастья Нодиры...

Савчука тихонько окликнули: «Пан профессор!» В дверях студовни стояли пан Соукуп и пан Водичка...

10. СОКРОВИЩЕ ГОРНОГО ХРАМА

Так далеко ушел этнограф мыслями в прошлое, что не сразу понял, где находится.

А, он в монастырской студовне! Машинально прибрел сюда, побывав предварительно во всех залах музея.

Да, студовня, Прага, осень 1953 года. Дождь по-прежнему моросит...

Кто-то из читателей покашливает приглушенно в углу, переворачиваются с тихим шелестом страницы, и, вращаясь, поскрипывают старомодные пюпитры. Они очень похожи на тибетские молитвенные барабаны. Молитвы написаны на свитках, которые обмотаны вокруг вала. Стоит крутануть вал, прозвонит звоночек — и моление вознеслось к Будде. Очень удобно!

Но перед глазами Савчука по-прежнему все те же нежно округленные, точеные, с золотистым пушком девичьи руки. Они беспрестанно в движении, то отдаляются, то приближаются, поправляя цветы на гирлянде, и вдруг складываются в трогательной мольбе. Увы, покоя нет от них ни во сне ни наяву...

Понятно, видение это особенно неуместно здесь, в бывшей монастырской читальне.

Савчук встряхнулся.

— Я надюсь,— сказал он подошедшим к нему пану Водичке и пану Соукупу,— что на этот раз рукопись даст нам исчерпывающие ответы на все наши вопросы.

И впрямь, с первых же строк, начертанных на пальмовых листьях, стало ясно, что там речь идет именно о предках Нодиры.

Теперь рукопись читали и переводили не «по диагонали», как в первый раз, а неторопливо, со всем тщанием, вдумываясь в каждое слово, обсуждая каждую фразу.

Итак...

Где-то в предгорьях Гималаев (вероятно, в районе нынешнего Кулу) находился храм, посвященный Шиве. К нему стекались многочисленные толпы паломников.

Они надеялись на исцеление. Шива был самым добрым из всех индуистских богов. Заботился не только о душах верующих в него, но также и о телесном их здоровье. Он научил своих жрецов и жриц свыше шести тысячам ритуальных танцев, которые были, по существу, не чем иным, как тщательно регламентированной лечебной гимнастикой.

С первыми лучами солнца на утрамбованную множеством ног площадку перед храмом выходили жрицы Шивы в своих ритуальных желтых одеждах (желтый цвет — цвет Шивы). Над переносицей у них белели три полоски (знак обета).

Верующие встречали жриц молитвенными возгласами. Затем больных осматривали и оделяли наставлениями и целебными травами. Но главное наступало после этого. Паломников лечили движением, точнее, сменой движений и абсолютного покоя по строго разработанной системе.

Напоминает утреннюю зарядку в санатории? Что ж, сходство есть. Но на все наброшен был покров мистической таинственности. Вера в Шиву, в действенную его помощь была проявлением своеобразной психотерапии того времени.

Уходили и приходили правители страны, сменялись одна за другой династии. Храм Шивы продолжал стоять в предгорьях Гималаев и привлекать к себе новых и новых паломников, жаждавших исцеления.

Но вот на престол Великих Моголов взошел Аурангзеб, жестокий фанатик-изувер, огнем и мечом утверждавший среди язычников в подвластных ему владениях мусульманство.

Многие выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, находившиеся при его пышном дворе, ушли к

раджипутанским князьям, сохранившим независимость, и перенесли туда свое неповторимое искусство.

Настал наконец час, когда Аурангзеб дошел со своим войском до Кулу. Сопротивление было бесполезно. В одну ненастную ночь («В грозу и бурю» — так сказано в рукописи) под хлещущими струями ливня жрицы бежали в горы в сопровождении храмовой стражи. С ними были и девочки — ученицы танцовщиц¹.

Они бежали в священную обитель Шивы. Наверное, им чудилось, что беспощадный гонитель шиваитов преследует их по пятам. Беглецов подстерегали на пути зияющие пропасти. Люди падали от истощения на узких горных тропах. Грохот обвалов сопровождал их. Мелкие горные реки замерзали ночью и начинали снова течь лишь в середине дня.

Но не все так плохо было в горах. В рукописи есть намеки на то, что местные жители оказывали беглецам помощь продовольствием и теплой одеждой. Видимо, им отплачивали за это врачеванием.

Все странствие длилось, наверное, года два, во всяком случае, не меньше двух лет. Можно только гадать о сроках, потому что на каком-то этапе пути автор рукописи отстал от своих и вынужден был возвратиться в Кулу. Что вынудило его — болезнь ли, ранение ли, престарелый ли возраст? Это остается неизвестным.

Вернувшись в предгорья, он запечатлел историю удивительного бегства. На чем? На пальмовых листьях? Возможно, что вначале на пергаменте. Рукопись потом переписывалась много раз и в таком виде странствовала по всей Индии, пока — в последнем своем «издании» — не попала, наконец, в Прагу и не легла на стол в кабинете хранителя рукописей.

Но какое же сокровище храма унесли с собой беглецы?

Троекратный вздох изумления раздался в тесном кабинете, когда Савчук, Водичка и Соукуп добрались до того места, где говорилось об этом сокровище. Оказывается, в первый раз место это было прочтено неправильно.

Впоследствии, рассказывая об этом коллегам, Савчук вспоминал об аналогичном случае с прочтением широко

¹ Вот что важно подчеркнуть: все они принадлежали к одной касте — брахманов.

известной фразы в Евангелии. Долгое время читалось так: «Легче *верблюду* пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в царство небесное». Но в этом была явная несообразность! Что общего между игольным ушком и верблюдом? Комментаторы, знатоки Священного писания, разводили руками: цветистая восточная метафора! Лишь недавно обращено было внимание на то, что написание слов: «верблюд» и «канат» сходно. Читать надо, несомненно, не «верблюд», а «канат». Тогда фраза будет выглядеть по-иному: «Легче протянуть *канат* сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в царство небесное»¹. Одно ключевое слово, а сразу меняется весь смысл!

То же произошло и при повторном прочтении рукописи на пальмовых листьях. Выяснилось, что один из ее переписчиков допустил по небрежности искажение текста. Скомпановал фразу так, что можно было предположить: речь в ней идет о *предмете* (отсюда варианты: чаша, подсвечник, статуэтка). В действительности же в виду имелось нечто неосоздаемое — *сам священный танец*, вернее, *душа танца*. Это и была та *святыня храма*, которую нужно было во что бы то ни стало спасти от безжалостного Аурангзеба.

Стало быть, беглецы пробирались горными тропами, не сгибаясь под тяжестью своей ноши, как предполагалось. Они шли, гордо выпрямившись. Несли сокровище храма в себе — в собственной своей памяти!

Пан Соукуп, хранитель рукописей, с уважением посмотрел на Савчука.

— Все этнографы будут завидовать вам, пан профессор, — сказал он торжественно. — На наших глазах вы сделали выдающееся открытие.

Савчук поспешно возразил.

— Мы сделали его! — сказал он, ударяя на слове «мы». — Это наше совместное с вами советско-чешское открытие! Так и доложу в Москве.

Затем все трое ученых, вежливо пропуская друг друга вперед, двинулись к выходу.

Задержавшись на минуту в одном из центральных залов, Савчук прощальным взглядом окинул потолок. Он был куполообразный и ярко-голубой, как небо в ветреную погоду. Такое, наверное, сейчас над Таджикиста-

¹ И. А м у с и н. Рукописи Мертвого моря. М., 1961 г., Изд-во АН СССР.

ном. Поздняя осень. Уборка хлопка закончена. Нодира, опустив голову, возвращается домой с поля. Выше голову, Нодира! Скоро ты снова будешь улыбаться!

— Пан профессор пробудет еще в Праге?

— Нет, к сожалению. Очень тороплюсь. Сегодня же выезжаю.

— Так пан Водичка довезет вас на своей машине до готела. Где остановился пан профессор? В «Третьем Интернационале»? Очень хорошо.

Пан Водичка с готовностью распахнул дверцу машины...

...Стоя в вагоне у раскрытого окна и провожая глазами Злату Прагу, чудесно освещенную пологими лучами заходящего солнца, Савчук с укором сказал себе: «Ты должен быть счастлив сейчас не только тем, что с помощью Соукупа и Водички разгадал тайну рода Нодир (не род, а обломок касты!), но и тем, что являешься быстрым гонцом, посланцем счастья. В Москве задержишься всего на день, на два и без промедления отправишься в Душанбе!

Не сразу, конечно, поверят ему Ныяз, и жена его Фатима, и дядя Абдалло, и Музаффар, и другие жители кишлака под странным, ныне расшифрованным названием «Там». Немало недоверчивых взглядов увидит он, Савчук, и скептических возражений услышит, когда, усевшись перед забывшими историю своего рода потомками давидаси и воинов храмовой стражи, примется рассказывать о том, что написано красной тушью на белоснежных пальмовых листах. А Нодира будет сидеть в сторонке, не сводя с него блестящих глаз, в волнении подавшись вперед.

Что ж! Он благодарен Нодире. Правда, счастлив был всего лишь одно мгновение, когда, нагнувшись, с гирляндой из цветов жасмина на шее, растерянный, неловкий, вдруг в безумии своем вообразил, что любим... И все же он сохранит память об этом мгновении до конца дней своих...

Да, защищая счастье Нодир, он, Савчук, будет терпелив и настойчив. Мало-помалу ему, бесспорно, удастся убедить несговорчивых и недоверчивых. А если понадобится, то он прибегнет и к помощи собратьев по профессии, местных, таджикских этнографов.

И когда исчезнут наконец все возражения против брака Нодир-Редкостной и Фатиха-Победителя, с ляз-

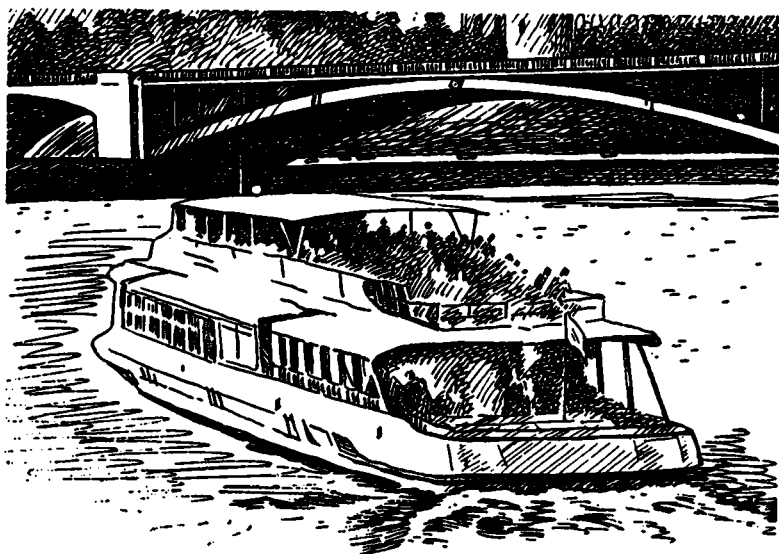
гом к ногам их упадут заржавевшие оковы древнего запрета.

Савчук представил себе пышную свадьбу, традиционное факельное шествие по улицам и огромный костер перед домом жениха. Через костер этот станут со смехом прыгать юноши и девушки. А потом участники свадьбы, весело переговариваясь, сядут за богатый пиршественный стол.

Только Савчука не увидят за этим столом. Как ни станут упрашивать остаться на свадьбу, как ни будет его умолять Нодира, сложив традиционным жестом ладони, он не согласится. Сошлется на неотложные дела и улетит в Москву.

Остаться на бракосочетание Нодире и Фатиха, которое он, можно сказать, устроил своими руками? Нет, это будет уже выше его сил...





ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

*Самое удивительное в чудесах —
это то, что они иногда сбываются.*

Г. Честертон

1

Экспедиция прибыла к озеру ночью. Вскоре все уже спали в наспех разбитых палатках. Только молодой археолог Федотов ворочался на кошке в углу. Радостное нетерпение мешало ему заснуть.

Стоило зажмурить глаза, и он снова ощущал себя в седле. Тропа ведет круто вверх — отпустив повод, плотно прижимаешься туловищем к шее лошади. Внезапно скалы расступаются, и видно на сотни километров вокруг. Горы, горы! Марево зноя колыхается над долинами. Но только успел бросить взгляд на них — и сразу, натянув поводья и откинувшись на круп лошади, ныряешь вниз по склону.

Да, спуск почти отвесный. Чувствуешь себя мухой, медленно ползущей по стеклу.

И вот уже дно ущелья. Быстрый ручей бойко побренькивает галькой. И клочок неба сияет вверху, в узком просвете между скалами...

Федотов надеялся, что до таинственного горного озера, цели путешествия, доберутся засветло. Однако ночь застала участников экспедиции в пути. Скрипя седлами, негромко переговариваясь, двигались всадники, следуя вереницей за проводником. Наконец что-то протяжно закричали впереди, и все остановились.

Большое водное пространство угадывалось внизу — оттуда, от подножия спуска, тянуло прохладой.

Но напрасно всматривался Федотов в темноту. Вдали виднелись не то тучи, не то горы, многоплановый фон, — чем дальше, тем светлее. Рядом чернели силуэты деревьев.

— Оно? — спросил Федотов спутника почему-то шепотом. — Где же оно?..

— А вон там, внизу!

Верно! Совсем близко было это долгожданное озеро, вернее, звезды, отражавшиеся в нем. Звезды были очень яркие и большие, непривычно большие, и они вспыхнули разом все, будто кто-то раскрыл у ног сундук, набитый доверху жемчужными ожерельями.

Василий Николаевич, начальник экспедиции, приказал разбивать лагерь. Здесь предстояло ждать утра.

Но как далеко еще до утра!

Некоторые участники экспедиции заснули сразу. Другие долго укладывались, зевая и переговариваясь сонными голосами. Василий Николаевич, сидя на корточках, копошился у радиоприемника. Он искал в эфире Москву — обычное занятие его по вечерам.

— Привычка, — пояснил он, усмехаясь. — Где бы я ни был — в командировке ли, в экспедиции, — не усну без того, чтобы не прослушать перед сном бой часов на Спасской башне...

Федотов откинул одеяло.

— Не спится? — обернулся к нему Василий Николаевич, и карманный фонарик, стоявший на земле, осветил снизу его лицо. — И мне, представьте! Не терпится поскорее взглянуть на ваше озеро. Какое-то беспокойство разлит в воздухе, вы не находите? словно бы мы остановились на пороге миража. Проснемся утром, выйдем

из палатки, глядь-поглядь, а озера никакого нет. Испарилось, исчезло за ночь без следа...

— Ну, ну,— пробормотал Федотов с неудовольствием.

— Шучу, дорогой, шучу!

Улыбаясь, Василий Николаевич нагнулся над радиоприемником, продолжая вертеть верньер настройки.

Вдруг женский голос сказал, твердо и внятно выговаривая слова:

— ...никаких оснований для беспокойства... Подготавливаемый эксперимент не представляет собой...

Голос оборвался так же внезапно, как возник. Спокойно и размеренно передавал диктор последние известия, где-то попискивала морзянка, Козловский пропел несколько тактов из «Дубровского» — предостерегающий голос не появлялся больше, как ни вертели верньер.

— К кому обращалась эта женщина? Зачем? — недоумевающе бормотал Василий Николаевич. — Какой-то эксперимент... Какие-то основания для беспокойства. Вы что-нибудь поняли, Павел?

Но тут над миром, как капли с большой высоты, упали двенадцать медленных гулких ударов.

...Улегся уже и Василий Николаевич и вскоре как-то подетски зачмокал губами во сне, два или три раза проводник выходил проведать стреноженных коней, а молодой археолог все не мог уснуть. Над странным предостережением, перехваченным по радио, думал недолго. Мысли вернулись к озеру, притаившемуся там, внизу.

Итак, он добрался до него. Не очень быстро, спустя несколько лет после того, как впервые узнал о нем. Но все же добрался, как обещал.

Что бы сказала об этом девушка, которая послала его к озеру?.. «Ведь вы не из тех, кто ловит солнечных зайчиков на стене?» — пошутила она тогда. (Кажется, это была поговорка, образное определение мечтателя.) И вот он здесь, на берегу озера, а завтра вместе с другими аквалангистами опустится на его дно.

2

Федотов постарался представить себе наружность девушки. Странно! Это долго не удавалось ему. Почему-то при знакомстве бросилась в глаза прическа: две толстые черные косы, уложенные

высоко на темени и возвышавшиеся над головой, как корона.

Он осмелился сказать об этом девушке. «Корона? — переспросила она и засмеялась. — Благодарю за комплимент... Хотя вы, наверное, не знаете, что «тадж» это и есть по-таджикски «корона»? Так что мы, таджики, все можем считаться увенчанными.

Но о короне речь зашла уже значительно позже. Сначала Федотов увидел девушку в профиль. Она сидела на одной с ним скамейке, уткнувшись в книгу. Губы ее, очень четко вырезанные, забавно шевелились — наверное, она что-то зубрила.

Ничего больше Федотов не успел заметить, потому что между ним и девушкой, пробормотав: «Пардон, пардон!», втиснулся толстый гражданин и тотчас же, удовлетворенно вздохнув, развернул «Вечернюю Москву».

Осень в том году была ранняя, но денек выдался солнечный, и все скамейки на Тверском бульваре были заняты. На дорожках хлопотали малыши, осваивая мир. С озабоченным видом они лепили из песка куличики, возили взад и вперед по дорожкам игрушечные грузовики или, восторженно визжа, догоняли друг друга.

Толстый гражданин, сидевший рядом с Федотовым, переменял позу. Из-за газеты мелькнул девичий профиль. Уронив книгу на колени, девушка мечтательно смотрела вдаль.

Никогда еще не доводилось Федотову видеть таких красавиц. Так бы и смотрел и смотрел на нее без конца.

Потом он подумал, что неприлично так пристально глядеть на соседку, и скрепя сердце отвернулся.

Тогда-то и появился на бульваре щенок, до того лохматый, что глаз и носа его видно не было. Щенка восхищали разноцветные опавшие листья, которые, шурша, носились по дорожке. Забавно насторожив одно ухо, он подкрадывался к ним, вскакивал, кидался на них и пугал восторженным заливыстым лаем. Когда же они разлетались от ветра, останавливался будто вкопанный и с глупым видом озирался по сторонам.

Федотов снова взглянул искоса на девушку и ужаснулся. Она смеялась! Над кем? Неужели над ним, Федотовым!

Но, взглянув еще раз на девушку и проследив за направлением ее взгляда, Федотов прочнее уселся на скамейке. Девушка смеялась совсем не над ним, она смея-

лась над щенком! На самом деле, нельзя было без улыбки наблюдать за его прыжками.

— Сколько хлопот у него! — сказал Федотов, ободрившись. — Вокруг все листья шуршат.

— Что?! — Сосед с газетой встrepенулcя, как от толчка, и уставился на Федотова.

— Я говорю: листья шуршат, — пробормотал Федотов упавшим голосом.

— А... — сказал сосед таким тоном, словно не ожидал услышать от него ничего более умного, и снова уткнулся в свою газету.

Девушка задумчиво посмотрела на Федотова. Нет, это не бульварный пристава, пытающийся любым способом завязать знакомство. Просто юнец лет восемнадцати, нечто долговязое, неуклюжее, светловолосое и очень робкое. Уши у него были сейчас как два пиона.

— Щенку очень весело осенью, — сказала она, твердо и внятно выговаривая слова. — Ему кажется, что все листья в саду играют с ним.

Так завязался разговор.

— Какой лохматый! — подивилась девушка.

— Да, странный, — подтвердил Федотов. И, напрягая память, рассказал несколько подходящих к случаю историй о собаках.

Говорить ему приходилось очень громко, потому что любитель «Вечерки» по-прежнему непоколебимо-неуступчиво сидел между ними. По-видимому, он принадлежал к тем людям, которые желают насладиться газетой полностью за свои три копейки и прочитывают ее вплоть до похоронных объявлений. С огорчением Федотов подумал, что разговаривает с девушкой как через стену.

Но не слишком удобно было и «стене». Читатель «Вечерки» стал кидать на своих соседей косые, негодующие взгляды.

Тогда юноша и девушка скромно встали и удалились.

Федотов говорил и говорил не переставая. Он очень боялся, что новая его знакомая воспользуется первой же паузой в разговоре и скажет: «Ну, мне пора» или «Извините, меня ждут». Нельзя было допускать пауз в разговоре.

— Я провалился на экзаменах в университет, — объявил он с места в карьер. И добавил: — Не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я этого заслуживаю. — Он вскинул свой острый, мальчишеский подбородок.

Подвела, по его словам, «проклятая» математика, которая с детства не давалась ему.

— Но я одолею ее за зиму,— пообещал Федотов.— Мне нужно ее обязательно одолеть. Ведь, не закончив университет, я не смогу стать тем, кем хочу стать.

— А кем вы хотите стать?

— Подводным археологом.

— Подводным?.. Никогда не слышала о такой профессии — подводный археолог.

— Дело, видите ли, вот в чем,— принялся объяснять Федотов, довольный без меры тем, что девушка заинтересовалась его особой,— я живу в Кансве у Днепра и научился очень хорошо нырять. Меня даже прозвали — человеком-амфибией.

...Летом он, понятно, пропадал по целым дням у реки. Нырял на спор и оставался почти минуту на дне, а для посрамления скептиков и маловеров приносил в горсти вещественное доказательство — речной песок или гальку. Как-то он поднял со дна старинную русскую гривну, в другой раз — заржавленный наконечник копья.

Азарт его возрастал с каждой новой находкой. Но главный триумф Федотова был впереди. Однажды он нашупал на дне что-то круглое, твердое и очень тяжелое — невподъем.

Были вызваны водолазы, которые обнаружили на дне доспехи времен Киевской Руси, пролежавшие много веков в речном иле. Богатырский меч с длинной рукояткой подняли на плечи два человека, а Федотов, пыжась от гордости, покатиł следом шит...

— Ну, а потом случайно попала в руки одна книжка — про Атлантиду. Я и заболел Атлантидой. Все, как говорится, одно к одному...

Вот почему Федотов не пошел ни в строительный техникум, ни в технологический институт, как большинство его сверстников-земляков. Твердо решил стать археологом, и именно подводным.

— Но провалился по математике,— закончил Федотов.

Простодушная откровенность этого юноши, который с места в карьер рассказал всю свою коротенькую биографию, невольно подкупала. Естественно было ответить ему тем же.

— Вас тянет под воду, а меня в глубь земли,— улыбаясь сказала девушка.

— Она показала толстую книгу, которую держала в руках.

— «Курс сейсмологии,— прочитал вслух Федотов.— О землетрясениях... А я думал, это роман о любви.

— Почему о любви?

— У вас были такие глаза, когда вы закрыли книгу...

— Какие же?

— Мечтательные...

— Вы все подмечаете... Я думала о будущем своей профессии. Ведь мы, сейсмологи, находимся на службе у человечества! Где-то я вычитала такую фразу — звучит, как девиз: «В час, когда все гуще тучи, нависшие над миром, теснее переплетаются руки сейсмологов, океанологов, геологов, которые находятся на службе у человечества».

— Не только сейсмологов, но и археологов всех стран.

— Да, и археологов.

— Я думаю, впрочем, что к тому времени, когда вы станете сейсмологом...

— Я стану им очень скоро. Я уже на третьем курсе.

Федотов не мог удержаться от вздоха, вспомнив о «проклятой» математике.

— Но ведь я значительно старше вас,— сказала в утешение девушка, безошибочно истолковав вздох Федотова.— Мне уже двадцать один год.

Они немного поспорили о том, солидный ли это возраст — двадцать один — или еще не очень.

За разговором молодые люди не заметили, как спустились по улице Горького, прошли площадь Дзержинского и площадь Ногина и очутились на набережной.

— Смотрите-ка! — удивилась девушка.— Устьинский мост!

Длинная очередь медленно двигалась вниз по гранитным ступеням к пристани речных трамваев.

— Вы когда-нибудь катались на речном трамвае? — спросил Федотов.

— Никогда.

— И я никогда. Покатаемся?

Он соврал. Катался, и даже не раз. Катание на речном трамвае предпочитал всем остальным столичным развлечениям.

— Как, однако, легко с вами разговаривать,— признался Федотов, когда они уселись на верхней палубе.— Вам не кажется, что мы знакомы уже много лет?

— Кажется.

— А я ведь даже не знаю, как вас зовут.

— Токджан.

— Павел.

Смущенно переглянувшись, они обменялись рукопожатием.

— А что означает ваше красивое имя — Токджан?

— Оно означает по-таджикски «Хватит девочек».

— Вот как!

— Да. У моих родителей родилось подряд три девочки. Я была четвертая. Вот они, рассердившись, и назвали меня Токджан. Это имя — заклинание.

— Не потому ли вы и выбрали себе мужскую профессию? — пошутил Федотов.

Но, к удивлению его, собеседница никак не отреагировала на эту шутку.

— Не потому, нет, — ответила она, неотрывно смотря вдаль. — Дело в том, что родители мои погибли во время землетрясения. С ними погиб и мой младший брат, любимец семьи.

— О, извините! Я не знал...

— Не волнуйтесь. Я понимаю, что вы не знали. — Неожиданно гибким, быстрым движением она повернулась к юноше: — Слышали ли вы о таком цветке — под названием королевская примула? На острове Ява он растет по склонам вулканов. Это волшебный цветок.

— Волшебный? Почему?

— Он за несколько дней предсказывает извержение вулкана. Случается, что расцветает вдруг гораздо раньше обычного своего срока. И тогда внезапное цветение его — зловещий сигнал из недр земли. Значит, людям, обитающим на склонах вулкана и у его подножия, нужно поскорее убираться прочь. Лава уже вскипает в кратере, того и гляди, переплеснет через край.

— Я впервые слышу об этом.

— Так вот, я очень хотела бы разыскать подобный цветок, по которому можно было бы заблаговременно узнавать о приближении землетрясения.

— Узнавать? И предотвращать? — затаив дыхание, спросил Федотов.

В манере разговора этого юноши было что-то очень непосредственное, бесхитростное, располагающее к откровенности.

— Предотвращать? Вряд ли. Вмешиваться в грандиоз-

ные тектонические процессы еще не под силу человеку. Но можно и нужно добиваться того, чтобы отвести... Как это говорят военные? Да, «отвести угрозу внезапности», нависшую над мирными городами, поселками и деревнями. Ведь самое страшное — это внезапность, то, что землетрясение всегда застает врасплох. А нет на свете ничего страшнее растерянности, паники... Заметьте: землетрясения чаще всего бывают ночью или на рассвете. Некоторые люди погибают во сне, другие не успевают выбежать из домов, прыгают из окон, спросонок мечутся по узким коридорам, топча, давя друг друга. И в довершение всего вспыхивают пожары, которые некому тушить... А каково тем, кого катастрофа застает в пути? Поезда стремглав летят под откос, поднявшаяся неожиданно волна топит пароходы... И все это происходит в мгновение ока! В одно короткое грозное мгновение!

— Но как предугадать это мгновение?

— Мне еще не вполне ясно это. Но я рассуждаю так. Научились же метеорологи предупреждать заранее о надвигающихся холодах, о наводнениях, ураганах и других стихийных бедствиях. Люди заглянули в высокие слои атмосферы, в глубь океана. Почему же они не могут заглянуть в недра земли? Вернее, не заглянуть — не то слово,— прислушаться к тому, что творится в недрах земли.

Токджан вытащила из «Курса сейсмологии» карандаш, служивший закладкой, и подняла его, держа на весу обеими руками.

— Нагнитесь! Поближе! — велела она. — Вот я стараюсь сломать карандаш. Я гну его. Раздаются похрустыванья, треск. Вы слышите?

— Да.

— То же происходит и перед землетрясением в толще земли. Все жмется, гудит, скрипит. Мощные пласты толщиной в десятки, сотни метров прогибаются, как этот карандаш в моих руках. Хруст и гул нарастают, приближаются...

— Шаги катастрофы? — подсказал Федотов.

— Да, шаги... И вот — крак!.. Пласты не выдержали чудовищного напряжения. Катастрофа! Надлом!

Она швырнула обломки карандаша за борт.

— До сих пор сейсмологи шли только по следам катастрофы. Спору нет, изучение землетрясений имеет большое теоретическое и практическое значение. На лекции наш

профессор уподобил землетрясение фонарю, который зажигается на мгновение и освещает недра земли. Но этого мало. Мне, например, мало. Я хочу заглянуть в будущее, хочу опередить катастрофу.

— Кажется, я начал понимать. Пограничные заставы на путях катастрофы?

— Выразились очень удачно. Да, своеобразные пограничные заставы. Длинная вереница специальных сейсмических постов в угрожаемой зоне. Мы будем охранять там наши города, мирный труд, отдых, сон наших советских людей, чутко прислушиваясь к таинственным подземным шорохам. В случае опасности будем сразу же оповещать о ней, чтобы можно было подготовиться. Укажем час землетрясения, определим его возможные размеры и эпицентр... Если опасность известна, более того, вычислена, измерена,— это почти не опасность.

— Когда же будет так?

— Очень скоро, мне кажется. Завтра. Может быть, послезавтра. Потерпим до послезавтра, ладно?

Такая Токджан, оживленная, порывистая, сбросившая с себя оковы замкнутости, еще больше понравилась Федотову.

Он подумал о том, что даже некрасивые выглядят красивыми, когда вот так, с воодушевлением, говорят о своем любимом деле, о своем призвании. Что же тогда сказать о красавице, подобной Токджан?

3

— Но я совсем заговорила вас! — Девушка со смущенным смехом отодвинулась от Федотова.— Бедненький! Я просто думала, мечтала вслух!.. Посмотрите-ка на берег! Москва словно позолочена.

Вертикальные сиреневые тени обозначили места, где улицы выходили к набережной. Многоэтажные дома были сплошь усыпаны блестками — это заходящее солнце отражалось в окнах. Вода текла неторопливо, слитно, будто расплавленный металл.

— А вот и Каменный мост! — воскликнула Токджан.— Сойдем здесь?

— Нет, нет,— испугался Федотов.— Я прошу вас. Ну

пожалуйста!.. Мы доедем до конца, до Бородинского моста.

— Однако вы хорошо разбираетесь в остановках.— Токджан лукаво склонила голову набок.— А говорили, что никогда не ездили на речном трамвае.

Но на этот раз ей не удалось смутить юношу. Он не отрывал от нее зачарованного взгляда.

— Токджан, Токджан... Какое красивое имя! Знаете ли вы, что его можно петь?..

Спутница Федотова посмотрела на него, не поворачивая головы, уголком настороженного черного глаза. Что-то уж очень он расхрабрился!

— Оглянитесь по сторонам! — сказала она, тактично отвлекая его внимание от своей особы.— Мы с вами постепенно погружаемся в синюю мглу.

Федотов огляделся.

Москву все больше окутывала таинственная синевая сумерек. Город терял четкость своих очертаний, как бы медленно отдаляясь, уплывая. Поверхность реки стала пепельно-серой.

Но вот зажглись уличные фонари, осветились окна домов на набережной. Тотчас же по реке поплыли длинные желтые зигзаги и множество разноцветных веселых квадратов. Москва-река надела своей вечерний наряд — темно-синий, в блестках.

— Вот так же ушел во мглу и город в горах,— задумчиво сказала Токджан.— Он затонул мгновенно во время очень сильного землетрясения.

— Затонул? А как это было?

Затонувший город, по словам Токджан, был одной из загадок древней исчезнувшей страны Согдианы. Располагалась она в бассейне реки Зеравшан, между средним течением Амударьи и Сырдарьи. Столица ее называлась Мараканд и находилась в районе теперешнего Самарканда.

Согдийцы были мужественными, свободолюбивыми людьми. В 329 году до нашей эры в пределы страны вторгся Александр Македонский и неожиданно получил отпор.

Засев в своих горных крепостях, запиравших вход в ущелья, согдийцы под руководством умного и храброго Спитамена оказывали македонцам сопротивление в течение трех долгих лет.

Особенно упорно оборонялся один город (название его утеряно), стоявший на берегу горного озера.

На исходе третьего года запасы продовольствия кончились, начался голод, но жители не открывали ворот, предпочитая смерть позорному плену.

В борьбу людей вмешалась стихия...

Это было землетрясение.

...С рассветом, будя эхо в горах, раздается рев сигнальной трубы.

Из шатров выбегают воины, торопливо пристегивая металлические наручи (металлические пластины), нахлобучивая на головы шлемы. Слышен звон сталкивающихся щитов, бряцание мечей. Воины строятся. Знаменитая македонская фаланга ошетибилась длинными копьями.

В суровом молчании защитники города ждут штурма. Площадь и узкие улицы пусты. Все население, способное носить оружие, на крепостных стенах. Бородатые лучники положили стрелы на тетивы луков. Женщины в плотно облегающих тело одеждах склонились над ковшами, доверху наполненными кипящей смолой. Старики и подростки замерли подле груд камня. Все это — стрелы, камни, кипящая смола — хлынет на осаждающих, едва лишь те приблизятся к стенам.

А в храмах идут беспрестанные моления. Оттуда доносятся хриплые возгласы жрецов, дребезжание молитвенных гонгов и плач маленьких детей.

Снова проревела сигнальная труба.

Двинулись! Македоняне двинулись на приступ!..

Звеня щитами, пехота спускается со склона. Все ускоряет и ускоряет шаг. Вот уже бежит, подбадривая себя воинственными кликами, выставив вперед длинные копья.

Заскрипели приводимые в действие громоздкие осадные машины. Бегом проволокли к крепостному рву штурмовые лестницы. Труба звучит пронзительнее, громче!..

И вдруг оборвался рев трубы. Короткая пауза. Что это?

Распался строй фаланги. Воины Александра в ужасе разбегаются, роняя щиты и копья, падают наземь, прикрывая глаза плащом, чтобы не видеть, как страшно мстит завоевателям согдийская земля.

Скалы сдвинулись с места. Высокие деревья раскачиваются, как былинки. Все громче, все яростнее подземный грохот.

Земля уходит из-под ног. Сотнями гибнут македоняне в разверзающихся зловещих трещинах и под осыпавшимися с гор камнями.

На глазах уstraшенных воинов Александра Македонского край берега, где стоял город, со всеми его башнями и крепостными стенами, усеянными людьми, со ступенчатыми крутыми улицами и ветвистыми деревьями медленно сполз в озеро и скрылся в высоко взметнувшейся пене...

Федотов зажмурил глаза, снова открыл их.

— Я представил себе вас на стене осажденного города, — пояснил он Токджан. — На голове у вас был конусообразный шлем, а в руке копье...

— На стенах города могли быть и женщины. Один из греческих историков, современник Александра, свидетельствует, что женщины в Согдиане сражались бок о бок с мужчинами...

— Значит, история с затонувшим городом достоверна?

— Этому верят не все... Однако я слышала, что в полдень в ясную погоду удастся видеть развалины на дне.

— Я бы очень хотел их увидеть, — мечтательно пробормотал Федотов. Он в задумчивости смотрел на белый гребень пены, следы за кормой. — Родные горы подоспели на помощь, — медленно продолжал он. — Мгновение — и отважные защитники города вместе с ним ушли вглубь от поражения и плена.

— О! Вы так понимаете легенду? Но существует и другая гипотеза. Предполагают, что Александр, не сумев взять город штурмом, приказал своим воинам перегородить озеро плотиной в самом узком его месте. Вода стремительно поднялась, и город оказался на дне. Землетрясение здесь ни при чем. Мне больше нравится этот вариант. Подумайте: три года подряд держаться против армии Александра, выстоять — и вдруг погибнуть от какого-то подземного толчка!..

— Вы сами сказали, что жители города предпочитали смерть плену.

— И все-таки мне их жаль. Вам не жаль? В детстве, когда я слышала эту сказку, то воображала себя на стенах осажденного города рядом с его защитниками... Да, вы угадали. Только в руках у меня было не копье...

— А что же?

— Какой-то особый прибор, с помощью которого можно повелевать стихиями. Я предотвращала землетрясение... Вам странно, что я принимаю эту старую историю так близко к сердцу?

— Что вы! Нисколько!..

— Но ведь мы, таджики, потомки древних согдийцев,— сказала Токджан. И, со свойственной ей стремительностью меняя тему, воскликнула: — Поглядите-ка налево! Это Парк культуры и отдыха! Хорош, правда?

Слева по борту проплывали купы деревьев и сверкала гирлянда огней. Река повторяла прихотливый световой зигзаг. Желтые огоньки всплывали по пути катера, как кувшинки со дна.

С берега донеслась песня — по воде звук летит очень далеко:

Широка страна моя родная...

На нижней палубе катера тотчас же подхватили песню и, как мячик, перебросили вверх:

Много в ней лесов, полей и рек...

— Что же вы? Помогайте, девушка! — крикнул разбитой парень в красной спортивной майке.

Токджан весело закивала и присоединилась к хору неожиданно сильным и высоким, металлического тембра, голосом.

— Складно! Очень хорошо! Теперь пойдет! — одобрительно заговорили вокруг.

А речной трамвай все бежал и бежал по Москвереке. Мелькали тени деревьев, светлые квадраты окон. И по воде неслась песня:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Так, с песней, добрались они до Бородинского моста.

— Вам куда? — спросила Токджан Федотова, стоя на гранитных ступенях набережной.

— Я живу в общежитии туристов, на углу Смоленской площади.

— А я на Потылихе. Значит, нам в разные стороны... Нет, нет, провожать не надо! Ну, спасибо за хороший вечер!..

— Это я должен благодарить вас,— неуклюже пробормотал Федотов, задерживая в своей руке ее теплую

маленькую руку. И вдруг добавил: — Я обязательно увижу затонувший город, о котором вы рассказывали!..

— О! — Девушка улыбнулась. В голосе ее прозвучали поддразнивающие нотки: — Значит, вы не из тех, кто ловит солнечных зайчиков на стене? Хозяин своего слова, настойчивый, волевой?.. Ну-ну!..

Легкой поступью она пересекла улицу и стала удаляться, энергично размахивая «Курсом сейсмологии». Федотов неподвижно стоял на тротуаре и смотрел ей вслед. Почувствовав его взгляд, Токджан оглянулась и еще раз ласково кивнула.

— До свидания, Павел, — донеслось до Федотова. Это в первый и последний раз за вечер она назвала его по имени...

Беспечность молодости! Он даже не узнал ее фамилии, не спросил адрес или телефон. Просто был слишком уверен в том, что в будущем году найдет ее и без адреса. Судьба — так он считал — была на их стороне...

Но он ошибся.

4

Обстоятельства сложились так, что он поступил в Ленинградский, а не в Московский университет.

Проездом домой, уже сдав успешно все экзамены, Федотов задержался на несколько дней в Москве. Но напрасно прогуливался он взад и вперед по бульвару, где впервые встретил девушку. Напрасно высматривал ее в Библиотеке имени Ленина, где занимались студенты различных московских вузов. Напрасно поджидал у входа в университет.

Однажды в фойе МХАТа показалось ему, что мимо прошла Токджан, увенчанная короной из черных кос. Он рванулся к ней, расталкивая толпу, бормоча извинения, спотыкаясь о ноги сидящих у стен.

— Токджан! — отчаянно позвал он.

На оклик обернулось удивленное лицо с реденькими, высоко вздернутыми на лоб бровями.

— Простите! Я обознался, — пробормотал сконфуженный Федотов.

Оказалось, что Москва слишком велика для них. Встретиться здесь не так просто, как, скажем, в родном Каневе.

Ему вспомнился толстяк с «Вечеркой», который сидел между ним и Токджан на бульваре. Тогда приходилось разговаривать, как через стену. Может, и теперь их разделяет стена, но уже настоящая, каменная? Разве нельзя предположить, что они живут в Москве в одном доме, только в разных квартирах, разгороженных капитальной стеной?

Мысль об этом показалась Федотову такой обидной, что он решил сделать то, с чего, собственно говоря, ему полагалось начать. Он пошел в канцелярию университета.

— Вам что, товарищ? — сухо спросила заведующая канцелярией, вскинув на него глаза.

— Я бы хотел узнать... затруднить просьбой, — пробормотал Федотов. — Нужен адрес одной вашей студентки... Она из Таджикистана, учится сейчас на четвертом курсе...

— Фамилия?

— Тут как раз затруднение... Я... я не знаю ее фамилии...

Он сказал это почти шепотом, пригнувшись к столу.

— Громче! Не слышу.

Федотов сделал глотательное движение. Ему показалось, что все девушки, сидящие в канцелярии, оторвались от бумаг, насторожились и иронически-вопросительно смотрят на него.

— Не знаю ее фамилии, — повторил он громче. — Зовут Токджан. Она, видите ли, из Таджикистана и...

Заведующая открыла было рот, чтобы сказать, что сперва надо узнать фамилию, а потом приходить за справкой, но, подняв глаза, встретила такой отчаянный, умоляющий взгляд, что неожиданно для себя смягчилась.

— Хорошо. Я посмотрю в списках...

Вскоре из закоулка между шкафами раздался ее скрипучий голос:

— Каюмова Токджан, тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года... Подходит это вам?

Федотов судорожно прикинул в уме. Сейчас ей двадцать два... Стало быть...

— Да, да! Именно тысяча девятьсот пятьдесят восьмого... Я думаю, это подходит.

— Каюмова у нас уже не учится. Перевелась по домашним обстоятельствам в Ташкентский университет.

Вначале с этим трудно, почти нестерпимо было примириться. Федотов собрался писать в Ташкент, в универ-

ситет, потом чего-то засмушался, заколебался. Удобно ли, не назойливо? Выражение «по семейным обстоятельствам» следует, чего доброго, понимать в том смысле что Токджан вышла замуж и уехала с мужем в Ташкент.

Но скоро на него нахлынули новые впечатления, завязались новые знакомства. А главное, он был опьянен Ленинградом.

Город этот, как никакой другой в России, продувают ветры разных эпох.

Федотову попалась книжка Анцыферова «Genius loci», то есть дух места, в данном случае Ленинграда. Долгое время юный студент не расставался с этой книжкой, она заменяла ему путеводитель по городу.

Одновременно он прочитал фантастический роман Финнея «Между двух времен». В нем утверждалось, что якобы можно физически переноситься в другую эпоху, вжившись глубоко в реалии ее культуры и быта, в частности архитектурные детали.

Нечто в этом роде проделывал мысленно Федотов. У него было две карты Ленинграда: современная и до-революционная, со старыми названиями площадей, мостов, улиц и переулков. Он как бы накладывал их одну на другую и бродил по городу, озираясь по сторонам, в каком-то сладостном забытии. Для историка с воображением (а воображения у Федотова было хоть отбавляй) все приобретает вокруг еще одно, дополнительное измерение — в прошлом.

Да, видно, сама судьба велела Федотову стать археологом! (В общем все это выглядит, конечно, наивно, но не будем забывать, что в то время Федотову было всего девятнадцать.)

Так получилось, что девушка в черной короне, наследница древних согдийцев, не исчезла совсем из поля его зрения, только отступила скромненько в сторону, в тень. А воспоминание о ней, частично уже размывшееся, осталось неразрывно связанным с затонувшим городом, одной из волнующих загадок Согдианы.

В Ленинграде Федотов узнал, что заветная Атлантида его, которой он «заболел» еще подростком, переместилась внезапно с запада на восток — из Атлантического океана в Эгейское море.

За последние годы океанологи с помощью безупречно точных приборов тщательно обследовали весь высокогорный хребет, который тянется по дну океана с севера на

юг, и положили его на карту. Для Атлантиды на этой карте места не оказалось. С безошибочной точностью было установлено, что последнее значительное погружение суши на дно произошло здесь в те времена, когда человека на земле еще не было.

Зато след исчезнувшей Атлантиды обнаружился на острове Крит и вблизи него. Знаменитый археолог Эванс (о, как остро завидовал ему Федотов!) наткнулся в Кносе на развалины огромного дворца-лабиринта площадью в две тысячи квадратных метров. Что послужило причиной его разрушения? Несомненно, извержение вулкана (остались слои вулканического туфа). На самом Крите вулканов нет. Однако на расстоянии ста километров к северу расположен небольшой вулканический архипелаг, в который входит остров Санторин. Внутри кольца островов находится глубокая лагуна, берега которой обрывисты и представляют собой, несомненно, стенки кальдеры — провала, образовавшегося на месте вулкана.

Недавно проведены раскопки на южном берегу Санторина. И что же? Открыты новые Помпеи, целый город крито-микенской (более древней, чем эллинская) культуры — с дворцами, храмами, скульптурами, жилыми зданиями, складами продовольствия, гончарными изделиями, остатками мебели и т. д.

Вулканическому извержению, как часто бывает, предшествовало здесь землетрясение. Затем толстый слой вулканического пепла, будто саваном прикрыл восточную часть Крита, юг Родоса, Киклады и распростерся на огромной акватории. Вулкан осел, образовавшийся провал был заполнен водами моря. При этом возникли гигантские волны — цунами, которые за полчаса добежали до Крита и довершили разрушение Кноса и других эгейских городов.

Все произошло именно так, как описывал Платон в своих знаменитых «Диалогах», только он зашифровал Крит под названием Атлантиды, поскольку речь шла о политической утопии.

«Что ж, — говорил себе Федотов в утешение, — до Эгейского моря, во всяком случае, ближе, чем до Атлантического океана. Даю слово, что со временем побываю на Крите! — И добавлял поспешно: — Но прежде обязательно спущусь к своему (своему!) затонувшему городу в горах!»

Учась в университете, Федотов с трепетом душевным

узнал об открытии «южнорусской Атлантиды» — Хазарии, сделанном выдающимся ленинградским ученым Л. Гумилевым.

Тот долго ломал голову над загадкой исчезновения Хазарии, государства, неоднократно упоминаемого в старорусских хрониках. От монахов-летописцев историки получили достаточно много материала о хазарах. Что же касается археологов, то на их долю не осталось ничего — ни руин, ни предметов материальной культуры, ни даже самого крошечного глиняного осколка. Это было поразительно. Когда-то сильную державу, державшую совершать набеги даже на Русь, будто смыло водой с земли.

Что привело к гибели Хазарии? Поражение на войне? Но тогда остались бы руины. Внезапное извержение вулкана? Но на Северном Кавказе и в дельте Волги, где жили хазары, вулканов нет.

Гумилев отправился туда с археологической экспедицией и долго странствовал на моторной лодке в густых плавнях, в этих джунглях нижнего Поволжья. Внимание его обратили на себя невысокие холмы, вернее, бугры, торчавшие в непролазных зарослях камыша. Гумилев раскопал один из них и — о радость! — почти сразу обнаружил там хазарский меч, щит, еще что-то.

Вот в чем была разгадка феномена хазар: их страну затопило море!

Дело в том, что Каспий периодически меняет свой уровень: то наступает на сушу, то отступает от нее. Примерно в XI или XII веке нашей эры началась очередная трансгрессия Каспийского моря. Метр за метром надвигалось оно на Хазарию, вкрадчиво приплескивая, подкрадывалось с юга, понуждало переносить жилища на бугры, потом сгоняло и с бугров. Хазары откочевали, растворились в других народах, а государство их распалось под ударами волн.

Можно с уверенностью сказать: все то время, что Федотов учился в университете, его мучило, сжигало нетерпение. Да, и зависть, откровенная, наивно-мальчишеская зависть к удачливым археологам.

Особенно остро реагировал Федотов на открытия, сделанные в Средней Азии. Бог знает что творилось с ним, когда он узнал: в Сурхандарьинском оазисе, в селе Халчаин, обнаружен античный город!

Произошло это так. Механизаторы колхоза имени Калинина приступили к расчистке площадки для РТС. Вдруг

раздался оглушительный скрежет, мотор бульдозера заглох. Землю поспешно разбросали из-под ножа, и все увидели основание белой колонны. Происшествие чрезвычайное! Немедленно в Халчаян прилетели археологи. Тонны земли со всей присущей археологам осторожностью просеяли они, пока не появились на поверхности толстые крепостные стены, легкие террасы, здания дворцового типа и, наконец, тронный зал.

А когда приступили к расчистке зала, то на восхищенных археологов глянуло из земли медно-красное, искаженное свирепой, угрожающей гримасой лицо. Оказывается, зал опоясывают около тридцати портретов, выполненных в реалистической манере, дающей представление о внешности людей, которые умерли более двух тысяч лет назад!

А черепков-то повсюду, черепков! В отличие от бывшей территории Хазарии вся земля здесь была усыпана черепками. Побывавший на месте раскопок журналист остроумно заметил: «Складывается впечатление, что жители столицы древнего Чиганиана только и занимались тем, что били посуду».

Стало известно Федотову и о том, что неподалеку от Термеза уже на протяжении многих лет производят раскопки древнего города. Предание гласит, что в этом городе обитали амазонки. Александр Македонский взял город штурмом, и от браков амазонок и македонских воинов произошли предки современных таджиков.

И когда возникало перед Федотовым в туманной дымке гордое лицо Токджан, он верил в то, что миф об амазонках — правда...

Важно отметить, что, как ни занят был Федотов, он ни на минуту не забывал о том, что кто-то ведет поиски возможности прогнозировать землетрясения. (А быть может, просто надеялся в один прекрасный день встретить в журнальной статье или в газетной заметке упоминание о девушке, увенчанной черными косами?)

Сейсмологи заметили, что слабые подземные толчки обычно предваряют сильные и могут быть зафиксированы чувствительным аппаратом.

Кроме того, постепенно нарастающее давление в очаге землетрясения вытесняет снизу газ — родон. (Избыток его в почвенных водах — сигнал опасности.)

Замечено также, что на приближение землетрясения реагируют животные. Змеи выползают из своих убежищ,

маленькие рыбки перемещаются к поверхности океана.

Что ж, возможно, Токджан и ее коллегам удастся вскоре найти тот «волшебный цветок», о котором она с воодушевлением рассказывала Федотову во время их прогулки на речном трамвае.

Не исключено, впрочем, что ныне девушка занялась разработкой какой-нибудь другой проблемы в сейсмологии...

Федотов закончил курс.

Молодая отрасль археологии — подводная археология (основателем ее был у нас академик Орбели) только набирала тогда разбег. И по окончании университета Федотов тотчас же с азартом включился в работу.

Однако обстоятельства сложились так, что он не смог сразу отправиться к «своему» заповедному озеру. Правильнее сказать, пришел к нему кружным путем, неспешно двигаясь по дну морей.

Он побывал в Польше, где принял участие в поисках легендарной Винеты, янгарного города, у берегов острова Волин. Он составлял в районе древней Фанагории подробный план городской оборонительной стены на глубине четырех-пяти метров. В отдаленные от нас времена береговая линия проходила совсем не там, где проходит сейчас, а Таманского пролива, скорее всего, не существовало.

Но вот наконец настало время, когда Федотов получил возможность приехать в горы Таджикистана и в ожидании рассвета остановиться на высоком берегу озера — на пороге тайны...

5

До начала подводных работ на озере осталось всего несколько часов, но, как всегда бывает, они были самыми томительными.

Федотов с завистью прислушивался к разноголосому храпу, от которого сотрясаясь брезентовый полог палатки.

Озеро там, внизу, под горой, волновалось — это было слышно. Наверное, ветер поднимался в горах. Волны глухо ударяли о берег.

Очень медленно стал светлеть полог палатки, постепенно окрашиваясь в бледно-желтый, затем в розовый

цвет. Можно было вообразить, что находишься внутри пестрой морской раковины.

И эта раковина звучала! Все сильнее, все громче!.. Озеро, видно, разыгралось не на шутку.

Федотов не выдержал. Поспешно натянул сапоги, перешагнул через разметавшегося на земле Василия Николаевича и вышел наружу.

Солнце только поднималось из-за гор. Лучи его еще не достигли озера, лежавшего в глубокой котловине, как бы в чаше. Со всех сторон подступали к нему крутые горы. Лес начинался у самой воды.

Туман, висевший над озером, придавал еще больше сказочного очарования зрелищу, которое открывалось перед Федотовым. Туман колыхался, ходил ходуном, свивался в кольца.

Озеро очень длинное, изогнутое в виде лука, дальний конец его теряется где-то за лесистым мыском. Ближайшая же к Федотову часть озера подперта перемычкой, то ли естественной, то ли искусственной, образуя в этом месте просторный залив.

И чем больше всматривается Федотов в эту перемычку, тем больше убеждается: она возникла не в результате землетрясения, она сооружена людьми. Во всяком случае, ему очень хочется так думать.

Клубясь, расходится туман. Все больше приоткрывается поверхность озера. Цвет его меняется на глазах. Сначала оно было черное, как грифельная доска, потом начало светлеть, синеть, вдруг по нему пробежала золотистая рябь, и вот, пронизанное до дна косыми лучами, озеро сделалось зеленым и прозрачным.

Нет, не видно пока еще. Рано! Проводник говорил, что затонувший город виден только в полдень, когда солнечные лучи падают почти отвесно. И даже в полдень удастся увидеть его не всегда. Поверхность воды должна быть совершенно гладкой, зеркально-гладкой, тогда в глубине — сказочное видение. Покачиваются в такт колебаниям рыбацкой лодки полуразрушенные крепостные башни, белеют внизу еле различимые прямоугольники домов.

Но видение это смутно, расплывчато. Потянуло ветром с гор, набежала быстрая рябь, и все исчезло внизу без следа, как подводный мираж.

Может, это и впрямь мираж, обман зрения? Нагромождения подводных камней, вокруг которых раскати-

ваются густые заросли водорослей, легко принять за развалины причудливые обломки скал.

Только спустившись на дно, можно решить загадку. Федотов нетерпеливо взглянул на часы-браслет.

Уже недолго ждать! Через двадцать минут побудка, затем завтрак, и наконец Федотов и помощники его наденут акваланги и двинутся с берега в глубь озера широким фронтом.

Он ясно представил себе, как плывет по улицам затонувшего города. Это будет удивительное путешествие, ведь оно будет проходить не только по дну озера, но и в глубь веков.

Двадцатый век останется наверху, за сомкнувшейся над головой зеленоватой преградой. Здесь, под водой, в зыбком струящемся сумраке, все еще четвертый век до нашей эры.

Аквалангисты осторожно скользят вплавь над покрытыми илом плитами древней мостовой. Приближаются к домам, наполовину зарывшимся в песок, заглядывают через окна внутрь. Распугивая рыб, раздвигают водоросли, закрывающие вход. Проникают внутрь, включают свет фонарей, чтобы прочесть письма на стенах.

Затем наступает самая трудная часть поиска. Наверх бережно поднимают бесценный археологический «улов»: оружие, черепки посуды, обломки камня с орнаментом и надписями...

Обидно, что тайну придется раскрывать по частям, отламывать ее, так сказать, по кусочкам. Насколько счастливее в этом отношении собратья Федотова по профессии — «сухопутные» археологи! Труд их бывает награжден сторицей, когда перед ними предстают открытые с кропотливой тщательностью из-под пепла или из земли древние, исчезнувшие на карте города — все целиком, от крыш до плит мостовой.

И снова с удивительной отчетливостью Федотову представилась картина давней осады. На мгновение опять ощутил себя восторженным юношей, каким был во время памятной прогулки на речном трамвае.

Но если тогда, на Москве-реке, картина рисовалась ему лишь в одном, черном цвете, то сейчас предстала пестрой, как ковер, сразу наполнилась разнообразными яркими красками. (Недаром же он за эти годы проштудировал столько книг о древней Согдиане и о персидском походе Александра.)

На берегу, у ног Федотова, теснятся кожаные шатры. Это лагерь македонян. Ниже, почти у самой кромки воды, осажденный город. Сверху он хорошо виден весь со своими домами, сложенными из больших серых кубов, с плоскими кровлями, с кудрявой зеленью деревьев.

Защитники и защитницы города льют на головы осаждающих горячую смолу, сбрасывают на них камни. Какой это по счету штурм? Шестой, седьмой?

Македоняне суетятся возле баллист и катапульт, меча увесистые камни и град стрел через крепостные стены. А вот несколько воинов подтащили к воротам таран, ударный конец которого имеет вид бараньего лба. Прикрывая спины и головы щитами, они принимаются раскачивать таран и с силой ударять им в ворота. Из лагеря проволоки осадные лестницы.

Нет, и этот штурм не удался! Македоняне отхлынули от стен!

Появился всадник в ярко отсвечивающем на солнце шлеме и в развевающемся красном плаще. Повелительный жест! И все воины опрометью бросились в сторону от города.

Они облепили оба берега залива. Суетятся там, как муравьи, роют мечами землю, сваливают в воду камни. Сверху, с крепостной стены, окаменев, смотрят на них удивленные согдийцы.

Что это? Не сумев сломить сопротивление непокорного города, Александр пустился на хитрость?

Да, неотвратимо начинает подниматься уровень воды в перегороженном заливе, а город со своими крепостными стенами, домами, деревьями и людьми уходит медленно на дно.

Весь ушел целиком, только высокая волна с пушечным гулом ударила о берег!

Видение это было мимолетным, пронеслось перед умственным взором Федотова и исчезло. По-прежнему внизу лишь лес и вода, освещенные косыми лучами восходящего солнца.

Так мучительно захотелось Федотову *воочию*, а не в воображении своем увидеть затонувший город, что он не удержался от мальчишеской выходки. Простер руку над водой и пробормотал какое-то заклинание.

И о чудо! Вдруг озеро покрылось рябью, словно бы судорога прошла по нему. С раскатом, подобным пушечному залпу, волна отпрянула от берега.

Федотов не поверил своим глазам. Озеро мелело! Ясно видно было, что оно мелест! Обнажились песок и длинные космы водорослей, тянувшиеся по песку за быстро убегавшей водой.

Город всплывал на поверхность!

Первыми вынырнули из яростных завихрений пены крепостные башни, укутанные в водоросли, как плюш. Потом показались дома. Большинство из них ушло до половины в ил. Наконец Федотов увидел и проступающие кое-где сквозь ил растрескавшиеся плиты мостовой. Стайки синих и красных рыбок — теперь рыбки владели городом — бились на плитах, пытаясь перепрыгнуть в уцелевшие лужи.

Наконец дошел до Федотова глухой подземный гул. Словно бы кто-то потянул землю из-под ног. От неожиданности Федотов сел на землю.

Впечатление было такое, будто где-то глубоко под землей стремительно прошли грузовики, целая вереница грузовиков.

Три подземных толчка последовали друг за другом очень быстро. Последний толчок был самым сильным.

Еще ничего не понимая, еще не ощущая ни малейшего страха, Федотов торопливо упивался зрелищем вынырнувшего из воды города. Это было кульминацией всей его жизни, это был тот счастливый, неповторимый миг, когда хочется сказать: «Остановись мгновенье — ты прекрасно».

Громадная чаша залива снова качнулась — на этот раз в сторону Федотова. Грозная темно-синяя волна шла на берег. Она была совершенно отвесной и достигала пяти или шести метров в высоту. По гребню ее, как огоньки, перебегали злые белые языки.

Она все больше перегибалась вперед, роняя клочья пены на песок. С грохотом обрушилась на парапет древней плотины, перевалила через нее, подмяла под себя.

Вода неслась теперь по узким крутым улицам, взлетая по ступенькам лестниц, заскакивая во дворы, вертясь в них с гиком, визгом, как вражеская конница, ворвавшаяся в город.

Зашатались и упали, точно кегли от толчка, статуи грифов на площади. В водоворотах пены в последний раз мелькнули конические купола.

Город, вызванный землетрясением на свет после двух с лишним тысячелетий, опять — со всеми своими дворцами, домами, крепостными башнями — исчез под водой...

Только тогда опомнился Федотов.

— Бегите!.. Бегите же!.. Смоет! — кричали ему из лагеря.

Федотов увидел приближение опасности и кинулся бежать прочь от воды.

Он мчался широкими прыжками, помогая себе руками, хватаясь за кустарник. Озеро догоняло его, будто стремясь расквитаться с человеком, дерзко похитившим его тайну.

Вода настигла Федотова на половине склона и с шипением обвила его вокруг ног.

Он сделал отчаянный бросок, поскользнулся в густой траве, едва не упал, но сверху протянулись к нему руки друзей и подхватили его.

У палаток вода остановилась. Медленно, неохотно растекалась она между деревьями. Потом поползла вниз.

— Счастье ваше, что берег крутой, — сказал кто-то. — Был бы отлогий, утащило бы в озеро, к черту на рога!..

Федотов оглянулся с недоумением, будто просыпаясь.

— Вы сумасшедший! — накинулся на него Василий Николаевич. — Так рисковать!.. Скала рядом ходуном ходила. Понимаете, ходуном! И камни с горы!.. — Он прервал себя: — Да вы ранены, голубчик!

Рубашка на Федотове была порвана в клочья, из раны в плече текла кровь. Только сейчас он заметил это и ощутил боль.

Встревожившийся Василий Николаевич приказал немедленно уложить Федотова на кошму в палатке и оказать медицинскую помощь.

Пока вокруг хлопотали с примочками и бинтами, археолог улыбался, отмалчивался. Весь еще был полон удивительным, неповторимым зрелищем.

Появление города, вынырнувшего со дна, напоминало миг вдохновения. Так чаще всего бывает под утро, после бессонной ночи, проведенной за письменным столом. Вдруг неожиданно возникает мысль, догадка, долго не дававшаяся в руки, и мгновенно все озаряется ослепительно ярким светом!..

Федотова перевязали, сделали ему успокоительный укол, и он послушно уснул.

Проснулся — как ему рассказали потом, через полтора часа — от автомобильных гудков, скрипа колес и возбужденных голосов. Один из них, женский, — но ведь в составе экспедиции нету женщин! — показался Федотову знакомым.

— Все ли благополучно у вас? Никто не пострадал? — спрашивал снаружи палатки задыхающийся, взволнованный голос. — Водолазы ваши не спускались под воду? Нет? — Женщина с облегчением перевела дух: — Я так боялась, что землетрясение застанет ваших работников под водой!..

— Послушайте! — сказал Василий Николаевич с удивлением. — Я узнал вас! Вернее, голос ваш! Это вы вчера говорили по радио?

— Да. Но тогда мы еще не знали, что к озеру прибыла экспедиция. Нас поздно предупредили. Из Душанбе позвонили по телефону полтора часа назад.

Участники экспедиции взволнованно заговорили, перебивая друг друга. Федотов представил себе, как они обступили и забрасывают вопросами женщину, примчавшуюся на машине в лагерь. Накопец разноголосую сумятицу покрыл густой, рокочущий бас Василия Николаевича:

— Вы предупреждали по радио о землетрясении? Вы сейсмолог?

— Да.

— У нас возникла какая-то неисправность в радиоприемнике. Услышали только обрывки двух ваших фраз.

— Главное то, что у вас были аквалангисты. Страшно подумать, что произошло бы с ними, если бы они находились под водой во время землетрясения.

— А где был его эпицентр?

— Эпицентр был в восьмидесяти километрах отсюда, в дальнем конце озера. В крайнем случае мы же могли отложить землетрясение на завтра.

— Как?

— Оно было искусственным.

Из дальнейших бессвязных вопросов и не менее бессвязных ответов Федотов понял, что на озере, точнее, в заливе его предположено в ближайшее время ставить гидроэлектростанцию. Предварительно полагалось провести разведку недр на сейсмичность. С этой целью на дальнем конце озера и был произведен взрыв.

— Представляете переполох, который возник, когда мы узнали о вас! — сказала женщина уже спокойнее. — Хорошо еще, что вдоль берега проложена сравнительно недавно хорошая автомобильная дорога. Я добралась всего за полтора часа. Правда, гнала во всю мочь. Даже на поворотах не тормозила.

Она засмеялась. Смех ее, негромкий, с придыханиями, показался Федотову еще более знакомым, чем голос. Неужели?..

— Я встану, — сказал Федотов слабым, но решительным голосом и отстранил товарища, который его поддерживал. — Нет, нет! Обязательно встану. Я уже чувствую себя хорошо.

— Да ты в уме? Ты ранен. У тебя поднимется температура.

— Черт с ней, с температурой! Нет, не могу лежать! Пусти! Я потом объясню.

Пошатываясь, он вышел из палатки и остановился, придерживаясь за брезент.

Да, это была Токджан. Он сразу узнал ее, хотя в черной короне кое-где появились жемчужные нити. На Востоке седеют рано.

Токджан смотрела на Федотова удивленными, широко раскрытыми глазами, не узнавая его.

— О! Все-таки у вас есть раненый! — воскликнула она с огорчением.

— Я видел затонувший город, — торжественно произнес Федотов вместо приветствия. — Я видел его весь — с домами и крепостными стенами!

— Не понимаю. Кто вы?

Ей принялись наперебой объяснять, кто такой Федотов и почему у него забинтована рука. Токджан только вертела из стороны в сторону круглой головкой, недоумеюще улыбалась и пожимала плечами.

— Я сам объясню, без комментаторов, — сердито сказал Федотов и, шагнув вперед, здоровой рукой отстранил молодых археологов, теснившихся вокруг Токджан.

— Вы просто не узнали меня, Токджан, — мягко сказал он. — За эти годы я, наверное, изменился больше, чем вы. Я Павел. Помните?

И к изумлению своих товарищей, принялся перечислять, не спуская глаз с Токджан:

— Лохматый щенок на бульваре, гражданин с «Вечеркой», речной трамвай, разговор о Согдиане и о будущей

вашей профессии, потом сломанный карандаш, полетевший за борт...

— Довольно! Я узнала вас. Павел, юноша Павел! Ну как же!

Токджан не двинулась с места, но глаза ее под высоко вскинутыми широкими бровями засияли.

— Стало быть, вы все-таки добрались до нашего озера?

— Как видите.

— Теперь можете со своими товарищами спокойно работать под водой.

— Да. Вы будете охранять меня.

— Я буду охранять вас.

Забыв об окружающих и не трогаясь с места, они перебрасывались быстрыми нервными фразами, за которыми прятался другой смысл, понятный только им двоим.

— Вы не ошиблись во мне, Токджан! — сказал негромко Федотов. — Я не из тех мечтателей, которые ловят солнечных зайчиков на стене.

— О да! Я убедилась. Я рада за вас.

И глаза ее еще ярче засияли навстречу Федотову...





Б У Х Т А П О Т А Е Н Н А Я

*Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.*

В. Маяковский

Г л а в а п е р в а я

ОБГОРЕВШИЙ КУСОК КАРТЫ

Нет, воспоминаний не пишу. Хотя, прослужив на флоте без малого полвека, мог бы, конечно, вспомнить кое о чем — например, о Порте назначения. А надо бы!.. Свободное время? Ну, нашему брату отставнику его не занимать стать.

Несколько лет назад я, представьте, даже предпринял такую попытку. Уселся было за письменный стол, положил справа любимый свой «паркер» с золотым пером, а перед собой стопу бумаги. И... ничего! Это ведь вам не рапорт и не докладная записка. Раза два или три, правда, выдал

из себя на полстранички что-то невыносимо тягучее, а дальше — стоп, будто наскочил на мель с разгона и плотно сел на ней, не в силах оторваться!

Всегда завидовал в этом отношении нашему знамени-тому адмиралу Сенявину. Не читали его? Вот кто обладал редчайшим даром не только побеждать врага на море, но и подчинять себе непокорные слова на бумаге!

Между тем на днях мне довелось прочитать мемуары одного немецко-фашистского подводника, а по прочтении таковых захотелось дать ему увесистого тумака в печати. Да, связано все с тем же Портом назначения!

Если это вас заинтересовало... Но, чур, ничего не записывать! Просто слушайте и запоминайте! А ежели по ходу дела у вас возникнут какие-либо вопросы, то милости прошу — отвечу. Так, понимаете ли, мне будет свободнее, привычнее. Устный рассказ, беседа! Какое же может быть сравнение?

Что выйдет из всего этого, поглядим, когда доскажу до конца. Уговорились?..

Итак, вам сообщили обо мне, что в прошлом я военный гидрограф. Правильно. Однако не ищите мое имя на карте советской Арктики. Так уж получилось, что его нет на ней. Другие наши гидрографы, в частности на Балтике, были счастливее меня. Бог знает, может, я поскромничал? В 1912 году мне представлялся случай, но...

Есть, видите ли, в советской Арктике место, с коим теснейшим образом связана моя военно-морская биография и даже, если хотите, выбор правильного политического пути в октябре 1917 года. Вокруг этого места на протяжении ряда лет возникали, фигурально выражаясь, вихри событий, и в них, помимо меня, втянуто было еще немало людей — от пройдохи купца Абабкова до восторженного фантазера радиотелеграфиста Валентина Гальченко.

Хотите увидеть на карте это небезынтересное местечко? Прошу вас. Вот атлас! Искать нужно в бассейне Карского моря, на материковом берегу. Нет, в Новую Землю не залезайте! Я же сказал: на материковом берегу!

Взгляните правее! Еще правее! Стоп! Это полуостров Ямал! Концом карандаша вы уперлись в губу Потаенную. Правильно! Она — моя крестница.

На карте такого масштаба этого, понятно, не видно, но здесь параллельно берегу протянулась песчаная узкая коса, которая прикрывает с моря вход в залив, по-местному — губу. Вокруг на сотни километров расстилается

плоская низменность, мохово-лишайниковая тундра. Иные географы именуют ее арктической степью.

Очень давно, при необычных обстоятельствах, я положил эту губу на карту, как ни противился мне купец первой гильдии Абабков. Он, понимаете ли, побывал там раньше меня и очень бы хотел припрятать ее от посторонних глаз. Но мы с вами еще вернемся к купцу Абабкову...

Я вспомнил о губе, положенной мною на карту, вот по какому поводу. Товарищи из ФРГ любезно прислали мне вышедшие недавно мемуары немецко-фашистского подводника, участника операции «Вундерланд». Не слышали о такой? Это закодированное название рейда в Центральную Арктику в августе 1942 года тяжелого крейсера «Адмирал Шеер», сопровождаемого несколькими подводными лодками. По существу, наглый, пиратский набег, который кончился ничем. Хотя с нашей стороны, конечно, были потери...

Мемуары названы немецко-фашистским подводником напыщенно: «Спуск в ледяной ад». Наше Карское море, видите ли, не понравилось этому голубчику, он сравнивает его с адом, да еще ледяным!

Перелистайте книгу, если хотите. Вы ведь читаете по-немецки? Только будьте осторожны, не выроните из нее закладочки. Я сделал их специально для одного моего молодого друга и бывшего сослуживца, который прилетает на днях в Ленинград, — обычно он проводит здесь свой отпуск.

Почему большинство закладок в конце книги? Очень просто. Заключительная глава ее посвящена описанию корабельного десанта в Потаенную. Автор мемуаров командовал этим десантом.

Несомненно, друга моего заинтересует именно заключительная глава. Он получит возможность — довольно редкую для участника тех или иных событий — еще раз увидеть их в неожиданном ракурсе, с точки зрения врага.

Вы уже наткнулись на карту Порта назначения? Это-то и есть самое интересное в мемуарах — сюрприз, который я приберегаю к приезду своего друга.

Снимок карты выполнен безупречно, слов нет! Имейте в виду, что фотографировать пришлось с клочка бумажки, скомканного, разорванного, полуобгоревшего. Приглядитесь получше: у этого края извилистая кайма особенно черна. Чудо, что карта вообще уцелела на пожарище.

Совершенно верно: уцелел только правый ее угол —

там, где название, выведенное старательным круглым почерком: «Порт назначения», а также часть приморского города с набережной, площадями и прямыми, вытянутыми, как по ниточке, улицами.

Вся левая сторона карты не сохранилась. Между тем на ней изображены были подходы к порту, причалы, доки и песчаная коса с дамбой, то есть как раз то, что больше всего интересовало гитлеровцев.

Да, эскиз! Конечно, эскиз, вдобавок выполненный карандашом! Командир десанта, в руки которого попал полуобгоревший обрывок карты, правильно воспринял это лишь как эскиз. Он посчитал, что порт и город перерисованы кем-то с настоящей штабной карты. Однако, взяв в руки полуобгоревший обрывок, гитлеровец вступил на зыбкую почву тревожных догадок и сомнений.

А! Вам бросилось в глаза отсутствие меридианов и параллелей? Именно так! Координаты Порта назначения не указаны. В этом-то, как говорится, и загвоздка!

До самого последнего времени я ошибочно полагал, что карта пропала безвозвратно, превращена вместе с деревянными постройками в пепел. Как видите, нет! Неожиданно, спустя много лет, она вынырнула на свет. И где? На страницах книги, принадлежащей перу фашиста, заклятого врага нашего строя! Не парадоксально ли это? Но в дальнейшем вы убедитесь: все, что связано с губой Потаенной, неожиданно и парадоксально.

Вы улыбнулись? Да, мемуарист иногда позволял себе лирические отступления. Наверное, прочли абзац, где написано о крымских яблоках? Как там у него? Позвольте-ка книгу...

«Мой приятель, тоже подводник, писал мне, что в Севастополе его научили новому способу пить вино. Нужно взять большое яблоко, разрезать пополам и выдолбить сердцевину. Получатся как бы две чаши, в которые и наливают вино. Оно приобретает особый, двойной аромат!»

Вот вам! Один подводный подонок в августе сорок второго смакует вино на руинах Севастополя, а другой в это же время бешено завидует ему и глотает слюнки в «ледяном аду» Карского моря. Еще бы! В Потаенной гитлеровцам не удалось разжиться ни вином, ни яблоками.

Зато, бродя взад и вперед по пепелищу, они наткнулись на нечто гораздо более ценное — на этот полуобгоревший обрывок бумаги!

Воображаете смену выражений на лице командира десанта?

Вначале, понятно, ликование. Ах, до чего ему повезло! Он, а не кто другой, напал на след нового, засекреченного русского порта в Арктике!

Затем, однако, ликование сменяется недоумением, досадой, растерянностью. Где же этот порт? Как его найти?

Тем временем десантники приводят в чувство русского, у которого найдена карта. Они с остервенением тычут ее в лицо ему. Присев на корточки подле раненого — русский тяжело ранен, — переводчик поспешно переводит вопросы командира: «Где это, где? Отвечай! Здесь — в Карском? Или западнее — в Баренцевом? А может, восточнее — в море Лаптевых?»

Ответ для гитлеровцев неожидан. Как у него в книге, у этого немецко-фашистского мемуариста?

Ага! Нашел! «Русский матрос посмотрел на меня, — пишет подводник, — потом негромко, но выразительно сказал несколько слов. «Что он сказал, что? Переведите же поскорей!» — поторопил я переводчика. Но тот имел почему-то смущенный вид. «Это непереводимо, господин лейтенант, — ответил он. — Видите ли, матросы на русском флоте ругаются очень замысловато. Он вас обругал, господин лейтенант. Но я, конечно, постараюсь выразить его мысль более деликатно. Это выглядит примерно так: «Тебе, то есть вам, господин лейтенант, туда никогда и ни за что не дойти!» Или «не добраться» — может, так будет точнее».

Не дойти? Не добраться? Ничего не понимая, я повернулся к русскому. Но он был уже мертв. Странно, что на лице его застыла чудовищно-безобразная гримаса, отдаленно напоминавшая улыбку...»

Впрочем, допрос мог быть продолжен, потому что среди развалин гитлеровцы обнаружили еще одного «языка» — мальчишку лет пятнадцати-шестнадцати. Но тут командир корабельного десанта по независящим от него обстоятельствам был вынужден прервать свое пребывание в Потаенной, вдобавок в убыстренном темпе. При этом, как пишет мемуарист, шлюпка на отходе накренилась и мальчишка утонул.

Но это либо недоразумение, либо вранье. Вы, наверное, уже догадались, что в данном случае речь идет о моем молодом друге, которого я поджидаю?

И все же, несмотря на потерю обоих «языков», особо

чувствительную в данной ситуации, будущий мемуарист был непомерно рад и горд. Он успел увезти с собой ценнейший трофей — карту!

Перебросим несколько страниц. Мемуарист пишет:

«Доставленная мною карта подверглась изучению в штабе германских военно-морских сил на Крайнем Севере. По приказанию командования разведывательная авиация, совершая дальние круговые полеты над обширной акваторией Баренцева и Карского морей и прилегающей к ней береговой территорией, настойчиво искала этот засекреченный, надежно запрятанный порт. Усилия наших летчиков остались безрезультатными. Одна из волнующих и опасных тайн русских в Арктике осталась неразгаданной.

Я должен выразить свое удивление и восхищение тем дьявольским искусством, с каким русские маскировали свои военные объекты, превращая их в некое подобие арктических миражей!»

Выражение «арктический мираж», я уверен, особенно понравится моему другу. Ничего общего с миражем, что вы! Наоборот! Все на чрезвычайно прочной, незыблемой основе!

Должен оговориться. Кое-что в книге, бегло перелистанной вами, остается для меня неясным. Поэтому я составил перечень вопросов, которые собираюсь задать моему другу по его приезде.

В частности, хочу спросить его насчет кудряшек. «Припомните-ка, — скажу я, — каков был с виду немецко-фашистский переводчик? Этаким кудрявенький, хоть и не очень молодой, лет около пятидесяти в 1942 году, — стало быть, примерно мой ровесник?»

Боюсь, что эта затея кончится ничем. «Помилосердствуйте! — воскликнет мой друг. — До того ли мне было тогда, чтобы приглядываться к лицам, злобно перекошенным, черным от пепла и дыма? Да еще и запоминать, кто из десантников кудрявенький, а кто не кудрявенький!»

И конечно, он будет прав.

А жаль! Кудряшки — особая примета. Мерзавец с кудряшками!

В своих мемуарах немецко-фашистский подводник не называет фамилии переводчика. Упоминает о нем пренебрежительно, вскользь: бывший офицер русского флота, бывший гидрограф! В общем, с какой стороны его ни взять, всюду он бывший.

А я почти уверен, что знаю его имя и фамилию. Да и как не знать! Однокашники! Друзья детства!

Вы удивлены? О, то ли еще случается в жизни!

Знакомые, впрочем, обычно называли его не по фамилии, а по имени — Атька. Полное его имя было Викентий. Но в раннем детстве он сам стал называть себя Атькой. Так это за ним и осталось. Уж он и усы себе завел, и офицерские погоны на китель надел, а для окружающих все был Атька и Атька. Есть, знаете ли, такая категория людей, которых до преклонного возраста называют уменьшительными именами.

В детстве мы, помню, пропадали с ним на Петровской набережной, играя в Робинзона и Пятницу. Я был Робинзоном, Атька — Пятницей. А вся Петроградская сторона считалась у нас необитаемым островом, каковым она, впрочем, и была лет за двести до нашего рождения.

Вот что стоит еще отметить, это характерно: когда о наших проказах делалось известно родителям и наступал неотвратимый час возмездия, Атьке попадало гораздо меньше, чем мне! У него было такое скромное, невинное, чуточку даже удивленное несправедливостью взрослых выражение лица, а золотистые кудряшки вились надо лбом, как у херувимчика.

Считалось поэтому, что я дурно влияю на его нравственность.

Затем прошла пора детских игр, мы вместе с Атькой поступили в Морской кадетский корпус, закончили его и были выпущены офицерами флота. А через несколько лет наши с ним интересы, вообразите, столкнулись в одной точке Арктики, именно в губе Потаенной. Произошло это задолго до высадки там немецко-фашистского корабельного десанта...

Глава вторая

«ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» С КАПИТАЛИЗМОМ

1

Теперь попрошу вас сделать усилие и вообразить меня молодым. Ну, понятно, не слишком молодым, не гардемаринном и даже не мичманом¹. Нет, уже лейтенантом, стало быть, опытным по дореволюционным меркам военным моряком и, без ложной скромности скажу, неплохо зарекомендовавшим себя по службе.

В связи с этим придется ненадолго вернуться из атмосферы 1942 года, раскаленной, насыщенной пороховыми газами, в иную, внешне мирную, но внутренне чрезвычайно напряженную атмосферу 1912-го.

Из книг вам, вероятно, известно, что для России канун первой мировой войны был характерен самым безудержным предпринимательским ажиотажем? Словно бы капитализм предчувствовал: скоро ему крышка! Повсюду сколачивались состояния — зачастую в результате афер, умопомрачительно дерзких комбинаций. На глазах возникали, разбухали и почти тотчас же лопались разнообразные акционерные общества, компании, товарищества и прочее. Дельцы отчаянно спешили. С остервенением обгоняя друг друга, ловчили зашибить деньгу, где можно, а порой и там, где нельзя.

В отношении губы Потаенной по закону этого делать было нельзя. Но пройдоха Абабков осмелился.

На имя министра финансов неожиданно поступает письмо, из коего явствует, что некий Абабков, архангелогородский купец, воспользовавшись тем, что побережье Карского моря недостаточно изучено, втихомолку разрабатывает на западном берегу Ямала залежи медной руды. Существует, мол, неизвестная гидрографам губа, где удалось найти эту руду, причем в состоянии, крайне редко встречающемся в природе, а именно в твердом виде. Шельма Абабков чувствует себя в припрятанной от начальства губе таким маленьким самодержцем, никому, ясное дело, налогов не платит, а выгоду имеет преогромную. Медь, как известно, важна прежде всего для военных нужд.

¹ Мичман — первое офицерское звание в дореволюционном русском военно-морском флоте.

Вообще-то говоря, он, Абабков,— это выяснилось впоследствии — был очень крупным по тем временам лесопромышленником, но решил, кстати, подзаработать и на меди.

Ну, это мы теперь с вами знаем, что в Ямало-Ненецком округе есть месторождения железных руд, редких металлов, бурого угля, торфа и так далее. А по соседству, на Таймыре, имеется еще более разнообразный ассортимент полезных ископаемых, в том числе и медь.

Готов снять с книжной полки энциклопедию, чтобы подтвердить ею свои слова. Не хотите? Да, в наше время это, конечно, общеизвестные, так сказать, расхожие сведения.

Но в 1912 году Ямальский полуостров в наших глазах выглядел во многом еще, как *terra incognita* — земля неизвестная.

Кем написано было разоблачительное письмо по поводу меди, я, признаться, не поинтересовался — таким же, как Абабков, дельцом, тайным его завистником и конкурентом или каким-нибудь местным чиновником, обойденным взяткой, а быть может обидевшимся на Абабкова из-за мизерности таковой? Да в данном случае это и не суть важно.

Начальство в Петербурге, естественно, переполошилось.

Министр финансов направил раздраженное послание морскому министру. Тот, в свою очередь, навалился на подчиненного ему начальника гидрографического управления. Воспоследовал, полагаю, гневный адмиральский разнос: «Что за недосмотр? Почему на карте и в лоции нет упомянутой губы?» И вслед за разносом приказание: «Этим же летом найти ее и закрепить на карте под соответствующими координатами! Дабы,— присовокупил министр,— из-за вашей нерадивости никому не повадно было нарушать законы и священные устои Российской империи!»

Ну, коль скоро дошло дело до священных устоев, то сами понимаете...

Начальственный гнев по ступенькам служебной лестницы докатился до рядовых гидрографов. Но в управлении у нас нашлись и скептики:

— Губа, не показанная на карте и в лоции? Невероятно! Да еще такая, на берегах которой добывается медь, и, наверное, не первый год? Стало быть, есть в этой губе причал? Шахтные постройки или открытый карьер на

сопке? Дома, где живут рудокопы? Наконец, между Архангельском и губой, припрятанной Абабковым, совершаются регулярные рейсы? Нет, как хотите, это ни то ни се, черт знает что, мираж какой-то арктический, порождение убогой канцелярской фантазии!

Им возражали, и вполне резонно:

— Однако купец Абабков, он-то — не мираж? О нем никак не скажешь: ни то ни се, черт знает что, порождение канцелярской фантазии.

А другие подхватывали:

— Ого! И надо полагать, далеко не мираж! Этакий, наверное, купчиниче пудов на семь, на восемь, дремучей рыжей бородой до бровей зарос! (Всем почему-то казалось, что он рыжий. Хитрый — значит, рыжий.)

Я несколько дней только как вернулся из отпуска — проводил в Крыму свой медовый месяц. Сами понимаете, не испытывал желания расстаться на длительный срок с молодой женой. А путь по тем временам предстоял немалый — в обход Скандинавии, через пять морей: Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское. Ведь Беломорско-Балтийского канала тогда еще не было.

Но так нередко случается в нашей военно-морской жизни: на меня-то и указал начальственный перст. Приказано было незамедлительно снарядить в поход судно и отправляться в Карское море, а там, пройдя вдоль западного берега полуострова Ямал, восполнить пробел в лощи и найти эту запропастившуюся, к стыду нашему, губу.

Я начал готовиться к походу. И тут-то стали происходить со мною вещи одна удивительней другой...

2

Примерно за неделю до отплытия гидрографического судна жена моя вернулась из города вся трепещущая от волнения.

Оказывается, в шелковом отделении магазина «Штандарт и Фабрикант» (был такой магазин на Екатерининском канале — ныне канал Грибоедова) к ней подошла незнакомая дама, весьма представительной наружности, элегантно одетая.

Притворяясь, что выбирает что-то на прилавке, незнакомка вполголоса спросила по-французски:

— Простите, я не ошиблась, вы супруга лейтенанта такого-то?

Жена ответила утвердительно.

— Меня чрезвычайно интересует зрение вашего мужа, — продолжала так же вполголоса дама. — От этого, знаете ли, зависит его служебная карьера, а также материальное благосостояние. Все ли хорошо у вашего мужа со зрением?

— Но он моряк! — удивившись, ответила моя жена. — У него не может быть плохого зрения.

— Это жаль! — сказала незнакомка задумчиво. — Для мужа вашего и для вас было бы гораздо лучше, если бы зрение его внезапно ухудшилось. И даже не сейчас. Не сегодня и не завтра. А, скажем, через несколько недель...

И с этими словами она удалилась.

Не правда ли, фантазмагория? Жена решила, что в магазине с нею говорила какая-то психопатка.

Предположение это вначале показалось мне единственно правдоподобным. Ночью, однако, я проснулся и подумал: «Все же это странно! Почему мне пожелали ухудшения зрения именно через несколько недель? Меня тогда не будет в Петербурге. Я буду уже находиться в море, где-нибудь на подходах к западному берегу Ямала... Позвольте! А не связано ли происшествие в магазине «Штандарт и Фабрикант» с этой загадочной губой, утаенной от Российской империи?..»

Само собой, я ничего не сказал жене, чтобы не волновать ее. Но к обеду она вернулась просто вне себя. Встреча со зловещей дамой повторилась и, представьте себе, на этот раз уже не в магазине, а на Невском!

Надо пояснить, что в ту пору жена моя была очень молода, почти девчонка, только весной закончила гимназию, и мы тут же сломая голову поженились. Никак не удавалось ей, помню, привыкнуть к новому своему положению — солидной замужней дамы. Поведаю вам еще одну тайну. Она была сладкоежкой, до самозабвения любила ореховый шоколад в плитках — был такой, назывался, если не вру, «Милка».

Итак, сделав необходимые покупки, жена пополнила их излюбленной своей «Милкой» с намерением съесть шоколад немедленно. Поедать таковой на Невском, спеша домой с покупками, было бы, по тогдашним понятиям, неприлично в высшей степени. Поэтому жена задержалась

у какого-то ювелирного магазина, повернулась спиной к прохожим и, делая вид, что разглядывает выставленные в витрине драгоценности, начала отламывать от плитки кусочки и украдкой совать себе в рот.

Вдруг над ухом ее раздался знакомый вкрадчивый голос:

— Вам нравится это ожерелье? Нет? Наверное, внимание ваше привлекла вон та бриллиантовая брошь? Что ж, она очаровательна. И, несомненно, очень подойдет к цвету ваших волос. У вас хороший вкус... Кстати, как чувствует себя ваш муж? Жалоб на ухудшение зрения нет? Но блеск такой дорогой броши мог бы на некоторое время ослепить его, как вы думаете?

Оглянувшись, жена робко ответила, что покупка подобных драгоценностей нам не по средствам.

— О, пустяки! — небрежно ответила дама. — Ведь вы молодожены и, конечно, не откажетесь от маленького, пусть запоздалого, свадебного подарка?

— От вас? Но, собственно, почему, я не понимаю...

— Видите ли, я забочусь о зрении вашего мужа. Иногда для человека бывает лучше не разглядеть что-то на берегу, чем разглядеть. Передайте мужу, он поймет.

У жены не хватило духу оглянуться — столь страшна показалась ей эта дама, преследовавшая ее с такой неотступной настойчивостью.

Быстрый шорох платья, легкие шаги... Жена осталась у витрины с недоеденной «Милкой» в руке.

И что бы вы думали? В тот же вечер у дверей нашей квартиры позвонил посыльный — «красная шапка» и вручил жене моей сверток, присланный из ювелирного магазина!

Вы не ошиблись, в свертке оказался футляр с той самой брошью!

Брошь была немедленно возвращена ювелиру, а я отправился в полицию, где сделал формальное заявление о домогательствах аферистки.

Теперь, вне дома, жену сопровождал, на некотором расстоянии, невзрачный человечинка в дымчатом пенсне — сыщик...

До отправления гидрографического судна оставалось два дня.

Я возвращался из порта домой усталый и злой. Перед отправлением, как обычно, возникали новые и новые неполадки-недоделки, а сроки были жесткие, начальство буквально наступало мне на пятки.

Меня на Миллионной окликнули. За мною тащился на извозчике Атька, уже известный вам друг детства, бывший верный Пятница, неизменный соучастник всех моих отчаянных проказ и шалостей.

С годами лицо бывшего Пятницы изменилось. Оно выглядело теперь помятым, потасканным, старообразным, хотя мы с Атькой, как я уж вам докладывал, были ровесниками. Однако кудряшки, наперекор всему, остались.

— Садись, подвезу! — крикнул он, остановив извозчика у тротуара. — Ведь тебе на Большую Дворянскую? Нам по пути!

Но вскоре выяснилось, что нам с ним отнюдь не по пути!

Усевшись рядом с Атькой, я обратил внимание на то, что он сегодня в каком-то странно-взвинченном, необычном для него состоянии. Не в меру говорлив. То и дело краснеет. Прячет глаза. Пьян, что ли, спозаранку?

Заботливо поддерживая меня за талию, чтобы не трянуло на ухабах, он ни с того ни с сего принялся читать вслух вывески магазинов, мимо которых мы проезжали неторопливой извозничьей трусой.

— «Артур Коппель»! — провозгласил мой друг с чувством, даже с какой-то дрожью в голосе. — «Г. Бюрге», «Братья Бремле». А вот, обрати внимание, «Л. Бертран». Тут же, под ним, еще и «Э. Бурхардт». Сплошь иностранцы! Каково?

Разумеется, не могу сейчас припомнить всего, что он бормотал. Но в моем архиве сохранились дореволюционные газеты. На первых страницах их печатались рекламные объявления. Желаете убедиться? Прошу вас. Ну вот хотя бы несколько номеров «Биржевых ведомостей». Читайте! «Фирма Ремингтон», «Фирма Зингер», «Тюдор», «Вестингауз», «Л. Нобель», «Братья Мори», «Денье», «Зеефсльдт», «Стеффен», «Джон Бернадт», «Артур», «Оффенбахер и К°», «Эквитебл, общество страхования жизни в Соединенных Штатах Америки, учрежденное в

1859 г.». Уф!.. Можете вообразить, сколько таких и им подобных иностранных фамилий прочел Атька, пока мы трусили на извозчике по улицам Петербурга? Заметьте, ни одной русской фамилии! На это как раз и напирал бывший Пятница.

Я с удивлением покосился на него.

— Может, хватит, а?

— Но ты убедился?

— В чем я должен был убедиться? Вывески и сам умею читать.

— Нет, не умеешь. Читаешь, но не вчитываешься, не вдумываешься, брат, в эти вывески. Неужели тебя не волнует, что всем у нас заправляют капиталисты иностранные? Ты же патриот своего отечества, ты — русский!

— О чем ты, никак в толк не возьму?

— О том, что наши русские богатства должны разрабатывать русские и на русские деньги!

— Так ведь это сказал до тебя еще император Александр Третий!

— И правильно, по-моему, сказал! Он понимал, что у нас в России...

Но тут мы остановились у дома, где я жил.

— Я к тебе на минуточку, дельце есть! — сказал Атька.

— Заходи. К обеду угадал как раз. Жена будет рада, — сказал я и соврал: жена терпеть его не могла.

Мы закурили у меня в кабинете, пока рядом, в столовой, гремели посудой, накрывая на стол.

«Денег приехал просить, не иначе, — прикидывал я, поглядывая на гостя, который явно был не в своей тарелке. — Правду, стало быть, говорят, что на днях он жестоко продолся в шмен-де-фер¹».

— Ну, говори, не тяни! — поторопил я. — Денег, что ли, признаться захотел?

— А! Деньги, деньги! — встрепенулся гость. — По теперешним временам кому не нужны они, деньги эти?.. Только ведь я не занят. Я, напротив, тебе предложить хотел. И довольно солидную сумму. По старой дружбе...

Это было уже что-то сверхъестественное! Атька готов мне покровительствовать и даже ссужать меня деньгами!

— А велика ли сумма-то?

Он назвал ее. Я насторожился. Цена той самой бриллиантовой броши!

¹ Ш м е н - д е - ф е р — азартная карточная игра.

— Но взамен от меня потребуется, наверное, адова работа? — спокойно спросил я, стяхивая пепел от папиросы в пепельницу.

— Никакой! Абсолютно никакой! Наоборот, тебе даже придется отказаться от работы.

— В отставку, что ли, прикажешь подать?

— Зачем в отставку? Заболей! Долго ли заболеть?

Так и есть! Опять она, эта таинственная незнакомка из магазина «Штандарт и Фабрикант», только сейчас, будто по волшебству, принявшая облик друга моего детства.

— Слушай, не хитри, не петляй! — попросил я. — Давай в открытую, а? Твоему доверителю, так будем говорить, очень не хочется, чтобы я положил на карту эту самую губу где-то на западном берегу Ямала. Хорошо. Допустим, я заболел. Ты прав, по теперешним временам деньги каждому нужны. Однако свет не на мне клином сошелся. На поиски губы отправится другой гидрограф, только и всего.

— А это уж, брат, не твоя печаль!

— Например, ты отправишься? Я угадал? С охотой вызовешься заменить больного товарища? А потом исхитришься и сумеешь ничего не увидеть на берегу?

— А хоть бы и так? В робинзоны я, знаешь, уже не играю. И в необитаемые острова тоже. Рассуждаю трезво. Жили наши картографы без этой губы и еще несколько лет как-нибудь перебыются. Медь кончается там, к твоему сведению. Вот пусть и добирает ее себе этот купчина архангелогородский. Не платит государству налоги? А тебе-то что? Ты же не государство! — Он доверительно перегнулся ко мне со стула. — Повременить надо! Повременить! Только и всего. Годика три-четыре, не больше. Доберет купчина остаточки, тогда милости просим, открывайте на берегу Ямала все, что пожелаете!

От злости я потерял на какое-то время дар речи. А бывший друг моего детства продолжал журчать над ухом все убедительнее, все увереннее:

— Ты же не глуп, ты должен понять. Ну, положишь на карту эту губу, а дальше что? Как воронье, налетят эти стеффены, бернадты, оффенбахеры! Я обобщаю, понятно. Но ты убедился только что, это же факт наглядный, русским купцам и промышленникам у нас в России дышать от иностранцев нет! То-то и оно! Абабков — он, конечно, ловкач и жмот и все что ты хочешь, зато, согласишься, как-никак свой брат русак!

Он, видите ли, мало того, что добросовестно отработывал полученные им за посредничество деньги, он еще и базу высокопринципиальную под это подводил! Ай да Атька!

Рано или поздно всякому терпению приходит конец. Вскочив, я отбросил стул. Тотчас же вскочил и он, а за стеной в столовой вдруг воцарилась тишина.

— Говоришь, свой брат русак? Врешь, это твой брат, а не мой! Да и какой ты ему брат? Ты ему холуй, а не брат! Офицер русского флота к купчишке в холуи нанялся! И уже не хочешь в робинзоны? Теперь не хочешь, дрянь, не хочешь?

В подобных случаях, бог знает почему, забываешь нужные слова. Под язык подворачивается какая-нибудь чушь, безладица. К чему я, например, долдонил ему про Робинзона?

Нет, я не бил его, не подумайте обо мне плохо, хотя он, конечно, заслуживал основательной трепки. Я просто схватил его обеими руками за грудь, но так, что летний белый китель затрещал по швам, и то поднимал в такт словам над стулом, то опускал с силой, будто задом его забивал сваю.

Жена высунулась из двери, ойкнула и скрылась.

Любопытно, что во время экзекуции Атька не сопротивлялся, несмотря на то что был раза в полтора выше меня и, если судить по кадетским временам, намного сильнее. Он только морщился болезненно и все закидывал голову, видимо опасаясь пощечин. А кудряшки его так и прыгали, так и танцевали над потасканным, осунувшимся лицом. Помнится, больше всего меня злили именно эти кудряшки.

Я потащил его к выходной двери, и он, представьте, не упирался, послушно перебирал ногами, по-прежнему сохраняя совершенное безмолвие.

— Чтобы и духу твоего!.. — напутствовал я его и швырнул ему с верхней площадки перчатки и фуражку. Потом с грохотом захлопнул дверь.

И тут наступила реакция. Не отвечая на расспросы перепуганной жены, я с трудом добрал до кабинета, закрылся на ключ и упал в кресло.

...Жене я не стал ничего объяснять. Предупредил лишь, что если в мое отсутствие явятся знакомые офицеры, то ей надлежит протелефонировать немедленно в порт. Понимаете ли, я ждал вызова на дуэль. В состоянии аффекта, так тогда говорили, я довольно основательно утрамбовывал стул бывшим Пятницей.

Но секунданты от Пятницы не явились. Он «предпочел проглотить обиду не разжевывая», как говорят французы.

В назначенный день гидрографическое судно под моим командованием вышло из порта.

4

Плавание из Санкт-Петербурга в Карское море было чуть ли не целой экспедицией. Правда, ледовая обстановка тем летом сложилась благоприятная.

Преодолев два шторма средней силы, мы проскользнули Югорским Шаром из Баренцева в Карское, вошли в огромную Байдарацкую губу и двинулись на север вдоль западного берега Ямала. Справа по борту потянулась однообразная серая тундра.

Перевод слова «Ямал» знаете? По-ненецки это, собственно, два слова. «Я» — «земля», «мал» — «конец». Стало быть, «конец земли». Но на некоторых наших картах сохранялось еще широкоупотребительное название — Самоедский полуостров. Самоеды, самоедь — это по-старому ненцы.

К сожалению, координаты показанной на карте губы, в которой купец Абабков нарушал законы Российской империи, оставались загадочными. О, в том-то и штука! Видимо, тайный недоброжелатель Абабкова был человеком невежественным в навигации либо не сумел раздобыть нужные сведения. В письме его, посланном в министерство финансов, было сказано лишь: «Западный берег полуострова Ямал, ближе к его оконечности». А протяженность Ямала — семьсот километров!

Военный гидрограф Иванов положил на карту материковый берег Карского моря еще в 1829 году. Норденшельд высаживался на западном побережье Ямала в 1875 году. Там дважды побывал Нансен. Но и после посещений Иванова, Норденшельда и Нансена были, понятно, разные уточнения и дополнения. Вообще в те годы в Арктике всякие сюрпризы были возможны. Не далее как спустя год после нашей экспедиции гидрографические суда «Таймыр» и «Вайгач» открыли к северу от мыса Челюскин архипелаг, ныне носящий название Северной Земли.

Целый архипелаг, понимаете! А здесь речь шла всего лишь о какой-то ничтожной губе. Ан попробуйте-ка усмотреть

рите ее с моря, если тундровый берег не только однообразен, но еще и весь изрезан маленькими заливами и бухточками.

Надо, правда, отдать должное тайному недоброжелателю: в своем письме он сообщил ряд важных географических подробностей, коими я в дальнейшем и руководствовался.

В частности, он предупреждал, что вход в губу прикрывает с моря невысокая песчаная коса и тянется параллельно берегу, издали с ним совершенно сливаясь. Каверза, придуманная природой специально для нашего брата гидрографа! Не удивительно, что вход в губу, закрытый с моря косой, трудно, почти невозможно усмотреть, тем более на значительном удалении. Так и возникло это прискорбное для нас упущение на карте и в лоции, чем не замедлил воспользоваться предприимчивый Абабков.

Поиски губы, не обозначенной на карте, — дело, поверьте, нелегкое, кропотливое, выматывающее душу. Мы тщательно обследовали почти весь западный берег полуострова Ямал и нигде не обнаружили этой губы. Но ведь она была! Она, несомненно, была. В этом убеждало меня не только письмо недоброжелателя, убеждали и неотвязные домогательства Атьки, а также авантажной незнакомки. И хотя Атька разглагольствовал о том, что «свой брат русак» добирает в губе «остаточки», но, видимо, приврал, по обыкновению. Меди на берегу было еще немало. Сужу по цене бриллиантовой броши. Цена была высока.

Каждый день я с напряженным вниманием вчитывался в лоцию Карского моря.

«Берег полуострова, — невозмутимо повествовала лоция, — большей частью низменный, с неглубокими заливами, отделенными от моря песчаными косами».

«Ах, даже так? — думал я, раздражаясь. — Значит, в этом отношении наша губа ничем не отличается от других заливов?.. Но дальше, дальше!»

«Глубины у берега — от тридцати до пятидесяти метров. В отдельных местах берег откосый к морю, высотой до тридцати метров». Это было важно. Недоброжелатель как раз писал о высоком покатом берегу (откосом), не указывая, правда, его высоты.

Ободряло меня и то, что берег к северу постепенно понижался. Это тоже совпадало с указаниями недоброжелателя.

Тем не менее никаких результатов пока не было. А путе-

шествие уже приближалось к концу, то есть судно готовилось обогнуть Конец Земли.

Истерпение мос и команды возрастало. Мы были накалены до предела. Так, вероятно, Колумб ждал возгласа: «Земля!» Я ждал возгласа: «Губа!»

Было объявлено, что командир выдаст денежное вознаграждение тому из матросов, кто первым заметит вход в губу, не показанную на карте. Наблюдение было усилено. На фок-мачте неотлучно сидел один из сигнальщиков с биноклем.

Хорошо еще, что бессонное полярное солнце не уходило с небосвода, — мы имели возможность продвигаться без остановок, не тратя времени на якорные стоянки.

С трепетом душевным я ожидал, что вот-вот прямо по курсу сверкнет чистая вода, вдаль возникнут смутные очертания острова Белого, а мы так и не обнаружим утаенной от государства губы.

В девять тридцать памятного мне августовского дня сигнальщики на мачте и на мостике усмотрели справа по борту нечто показавшееся им подозрительным. Я торопливо поднес бинокль к глазам. Да, верно! Береговая полоса выглядела многоплановой, как видим это на сцене в театре. За первой «кулисой» — беспорядочным нагромождением песка и гальки — блеснула вода, из-за нее выглянула вторая «кулиса» — такое же нагромождение песка и гальки. Так и есть! Это коса, а за косой прячется вход в губу!

Я поспешно заглянул в лоцию. Никакой губы на этих координатах не значилось. Мы у цели! Господин Абабков, готовьте встречу гостям!

Я помнил о рифах и мелях и поэтому, несмотря на то что меня била лихорадка нетерпения, дождался прилива. Потом выслал лотовых на бак и, ведя промер глубин, обогнул выступ косы и на малых ходах ввел судно в узкость.

Вот оно что! Недоброжелатель из Архангельска не предупредил, что незваный посетитель рискует споткнуться о порожек! Оказывается, это была не только гидрографическая каверза, это была еще и ловушка для опрометчивых и торопливых навигаторов. Мало того, что проход между косой и материковым берегом был узок, он был изогнут подобно самоварной трубе. Словом, здешняя природа явно благоприятствовала нарушителям закона, искавшим уединения.

Зато, едва лишь судно прошло узкость, мы очутились

посреди залива сказочной голубизны. Вода в нем даже не была подернута рябью — волнение с моря почти не достигало сюда в штиль.

За косой был высокий берег, а еще дальше неоглядные пространства тундры, поросшей мхом и лишайником, вразброс лежащие валуны и среди них лужи-лайбы, никогда не просыхающие летом. Все серо, серо! Тундра во всей своей наготе, пустая, протянувшаяся на многие сотни километров к югу. И ведь сейчас полярное лето, середина августа! А как мрачно, наверное, все это выглядит зимой...

Впрочем, пейзаж — дело вкуса. Для Абабкова Потаенная являлась, бесспорно, самым приятным уголком на свете.

Я, разумеется, не рассчитывал на то, что он встретит нас хлебом-солью. Полагаю, и вообще-то он редко бывал в губе, полностью положившись на своего управляющего. Вместо Абабкова нас встретили пять или шесть пестрых сибирских лаек. Они сидели в ряд на мокром прибрежном песке и внимательно следили за тем, как мы, подняв в заливе волну, швартуемся у шаткого деревянного причала. Матросы попробовали было позвать их, но собаки с негодующим лаем разбежались.

Судя по всему, рудник работал до последнего дня, упрямый владелец его, вероятно, продолжал надеяться, что зрение мое в море «ухудшится». Надо думать, люди Абабкова уехали отсюда буквально за несколько минут до нашей высадки, тогда лишь, когда увидели, что судно, приближающееся с юга, изменило курс и повернуло ко входу в губу. При этом они так торопились убраться, что в суматохе не успели собрать всех своих ездовых собак.

Можно предположить, что рудокопам приказано было в случае опасности прибрать все под метелочку. Однако они поленились, понадеялись на авось, как частенько бывало в то время, и следы незаконного их пребывания в Потаенной остались.

Мы убедились в том, что медь добывалась хищническим, чуть ли не первобытным способом.

Рудокопы работали только летом. Жили они даже не в землянках, а в каких-то ямах или норах. В одной из них матросы нашли котелок с недоеденной кашей, в другой припрятано было кое-что из оборудования, до крайности примитивного. Поодаль в тундре чернел провал котлована.

Тень карающего закона нависала над Абабковым,

поэтому подручные его спешили выжать из залежей все, что можно, пока не схватили за руку.

И вот схватили!

Теперь губа, которую Абабков старательно прятал от гидрографов, заняла свое место на карте и в лоции, где я посвятил ей несколько скупых слов, лишенных всяких эмоций.

«Под такими-то и такими-то градусами, минутами, секундами северной широты и такими-то восточной долготы у северной оконечности полуострова Ямал... губа, отгороженная от моря узкой песчаной косой, которую вода, возможно, прорывает весной... берег, сложенный из песка и глины, приподнят над морем на двенадцать метров, далее переходит во всхолмленную тундровую равнину... глубины у берегов...»

И наконец:

«Экспедицией на таком-то судне в 1912 году установлен здесь гидрографический знак, представляющий из себя деревянную пирамиду высотой в восемнадцать метров, увенчанную двумя перпендикулярно пересекающимися кругами».

В своей докладной я написал, что считал бы целесообразным устроить в Потаенной маяк. Площадь обзора с берега очень велика, в ясную погоду видно на десятки миль вокруг.

Однако построить маяк так и не удосужились. Зато спустя тридцать лет, во время Великой Отечественной войны, мой гидрографический знак был использован в качестве сигнально-наблюдательного поста.

Почему я не присвоил губе своей фамилии? Ну, при сложившихся щекотливых обстоятельствах это было бы не совсем удобно, вы не находите? Чувствовался бы привкус сенсации, а я всегда ненавидел сенсацию. Да и не мне, если хотите, а моему высокому начальству было решать, достоин я или недостоин увековечить свою фамилию на карте.

Я окрестил губу Потаенной, считая, что это соответствует обстоятельствам ее открытия.

Мог ли я ожидать, что меня еще не раз удивят причудливые изгибы «биографии» этой губы?..

Возвратясь в Петербург, мы чувствовали себя, как вы догадываетесь, на седьмом небе. Начальство с благосклонной улыбкой пожимало мне руку, коллеги гидрографы откровенно завидовали, и, согласитесь, было чему завидовать. В управлении поговаривали о том, что будто бы даже предстоят награждения.

Никто не вспоминал о прохвосте Абабкове. А что о нем вспоминать? Прохвосту идти по Владимирке¹, это ясно. Помилуйте, самим его высокопревосходительством сказано: «Обман государства! Потрясение устоев империи!» Здесь, однако, уже заканчивалась наша, гидрографов, компетенция и начиналась компетенция судей и прокуроров. Пусть-ка теперь они повозятся с Абабковым, пусть разметят дальнейшее его, бесспорно незавидное, будущее согласно статьям действующего Уголовного кодекса.

Атька? Вас интересует беспутный Атька? С ним и того проще. Не дождавшись моего возвращения, он использовал свои связи в Морском штабе и быстро смотался, как говорят теперь, с Балтийского на Черноморский флот.

Вы считаете, что я был обязан вывести его на чистую воду? Но ведь никто не присутствовал при нашем «задушевном» разговоре. Атька мог за милую душу от всего отпереться. Кроме того, я, признаюсь, питал к нему слабость. Что ни говори, мы же когда-то играли в Робинзона, потом учились вместе в корпусе, были с ним одного выпуска!

Не достаточно ли для Атьки, думал я, той небольшой домашней выволочки, которой он был подвергнут мною? Не пробудила ли эта выволочка совесть, доселе дремавшую в нем?

Мною вдобавок владело тогда настроение удивительной душевной приподнятости. Мне наконец удалось внести свой вклад в гидрографию Арктики, обогатить и уточнить ее карту! Я был счастлив и, естественно, хотел, чтобы все вокруг были счастливы, как я...

Однако настроение мое вскоре изменилось. Ни один из участников экспедиции не получил наград, ожидаемых к Новому году. Меня, что выглядело совсем странно, даже обошли во время присвоения очередных воинских званий.

Кто-то определенно вредил мне. Кем-то пущены были в

¹ То есть по Владимирской дороге — в Сибирь, на каторгу.

ход невидимые тормоза, загадочные силы сцепления, глубоко запрятанные в недрах санкт-петербургских канцелярий. Иной раз мне казалось, что стоит лишь прислушаться, и сквозь непрекращающийся суетливый гомон столицы донесется едва внятное поскрипывание зубчатых валов и колесиков.

Но кто же втихомолку управляет валами и колесиками? Кто не жалеет денег, и, видимо, немалых, на смазку этих валов и колесиков?

Ответ напрашивался. Конечно же, он, злопамятный Абабков!

Однажды утром, развернув газету, я на одной из ее страниц увидел групповую фотографию. Из подписи явствовало: это наши отечественные финансисты и промышленники, которые только что получили от правительства крупнейший военный подряд. В центре группы восседали рядышком знаменитые петербургские банкиры Вавельсберг и Алферов. Всем известно было, что они лютой ненавистью ненавидят друг друга, даже отворачиваются при встрече. Однако на снимке оба финансовых деятеля послушно, хоть и с натугой, улыбались в фотообъектив.

Зато какой же неподдельно восторженной, какой лучезарной была улыбка полноватого, несколько болезненного на вид человека средних лет в сюртуке с атласными отворотами, который жался где-то сбоку группы (пребывая пока, вероятно, лишь в ранге второстепенного богатея). Он, судя по его позе, очень боялся остаться за пределами фотоснимка и, сохраняя на лице описанную выше улыбку, всем туловищем своим клонился, перегибался, тянулся к центру, то есть к Вавельсбергу и Алферову.

Да, вы угадали. В перечне военных подрядчиков я наткнулся на фамилию Абабкова, лесопромышленника из Архангельска!

Теперь вопрос к вам: хорошо ли вы знаете Ленинград? Вот как! Даже очень хорошо? А я пари готов держать, что вам неизвестен или почти неизвестен любопытнейший переулок в Ленинграде. Название его? Банковский. Оно что-нибудь говорит вам? Ничего не говорит? Я так и думал.

Между тем, рассказывая туристам о Великой Октябрьской революции, надо бы, я считаю, начинать экскурсию по Ленинграду именно с Банковского переуллка. А уж затем вести толпу приезжих по привычному маршруту — под арку Главного штаба и к Смольному.

Прогуляйтесь-ка при случае на Банковский, очень

рекомендую. Сюда, в святая святых старого Петербурга, можно попасть по-разному. С улицы Росси поверните на улицу Крылова, которая тянется несколько наискосок, и выйдете на Садовую, к Гостиному двору. А если угодно, шагайте напрямик по улице Ломоносова. Банковский параллелен ей и упирается в канал Грибоедова. И еще примета: он между Мучным, Перинным и Москательным переулками!

Лабиринт этих переулков дореволюционные репортеры именовали «российским Сити». Засев в грузных лабазах и теснейших конторах с окнами, заделанными решеткой, наши русские толстосумы прибирали отсюда постепенно к рукам высокомерную дворянско-помещичью империю. «Все куплю», — сказало злато...

Банковский переулок коротенький, метров девяносто (длина миноносца), очень узкий и поэтому почти всегда полутемный, даже в солнечный день.

Разъяренно пялятся друг на друга со стен львы и взлохмаченные Нептуны — таков в те годы был распространенный сюжет барельефов на домах. А быть может, это должно было аллегорически изображать соперничество между размещавшимися на переулке банками?

Возвращаясь со службы, я делал иногда крюк, чтобы пройтишний раз вдоль Банковского. Разумеется, не рассчитывал встретиться с Абабковым. Да и что мне бы это дало?

Стены со львами и Нептунами, а также узкие, огражденные решеткой окна, за которыми допоздна горбились российские клерки, корпевшие над grossбухами, все же, наверное, как-то помогали мне сосредоточиться, лучше осмыслить свою жизнь — занятие, кстати сказать, не очень-то привычное для большинства тогдашних офицеров флота.

Прошу вас, поймите меня правильно: дело не в личной обиде, отнюдь нет! Обида явилась лишь толчком к размышлениям, которые шаг за шагом уводили все дальше по опасному пути.

Для меня победа в Карском море — можно, я думаю, до какой-то степени считать это победой? — вдруг обернулась поражением. Да что я говорю, больше чем поражением — катастрофой в личном психологическом плане!

Вот вам еще один парадокс, связанный с губой Потасенной. То, чего не удалось бы достигнуть самым красноречивым агитаторам и пропагандистам-революционерам, сле-

лал, причем запросто, мимоходом, этот купец Абабков. Он поколебал в моих глазах престиж Российской империи!

Что же это за государство, размышлял я, в котором люди, стремящиеся к его благоденствию и возвеличению, обесславлены, а проходимцы, нагло его обкрадывающие, преуспевают? За взятку, выходит, можно купить всех в этом государстве — от околоточного надзирателя до прокуроров и судей, а быть может, даже и до его высокопревосходительства самого морского министра? Разница, надо полагать, лишь в размерах суммы, предлагаемой взяткодателем.

Взятка? Зауряд-взятка? О нет! Взятка с большой буквы, ее величество Взятка, всесильная, всепроникающая, непреодолимая, подлинно самодержавная, — вот кто ныне управляет у нас в России!

Некая зияющая трещина с угнетающей повторяемостью возникала в моем воображении. Зигзагом пробегала она от Банковского переуллка через весь Санкт-Петербург, по гранитному его фундаменту, и продолжала на глазах у меня удлиняться и расширяться. Полубредовая иллюзия, не правда ли, почти кошмар? Но вдобавок, заметьте, крамольный кошмар!

Так или иначе, но благодаря истории с губой Потаенной я был до известной степени уже подготовлен к безоговорочному переходу на сторону революции, что и совершил, как вы знаете, в октябре 1917 года вместе с несколькими другими офицерами Балтийского флота.

В те времена среди военных моряков имела хождение одна шутка. Не отрицаю своего авторства. Я сказал, что при содействии купца Абабкова у меня возникли особые, личные счета с российским капитализмом...

Глава третья

ШЕСТОЙ СВЯЗИСТ ПОТАЕННОЙ

1

Что же произошло с губой Потаенной после революции? Вопрос законный. Отвечаю: а почти что ничего! Атька если и прилгнул, то, как ни

странно, самую малость. Покровитель его, расторопный архангелогородец, действительно подбирал «остаточки». Правда, советские геологи возобновили работы в тех местах, но, говорят, и трех лет не прошло, как залежи были выбраны до самого доньшка. После этого губа Потаенная надолго погружается во мрак...

Обо мне разрешите кратко, только то, что имеет непосредственное отношение к Потаенной. Гражданскую войну я закончил на Балтике, а потом, как гидрограф, перешел в УБЕКО — Управление безопасности кораблевождения на Крайнем Севере. Исходил этот Крайний Север на кораблях вдоль и поперек, но, представьте, так больше не побывал ни разу в своей Потаенной — как-то все не складывались обстоятельства.

Между тем у нас в Арктике, и буквально на глазах у меня, происходят удивительные события. Ледокольный пароход «Сибиряков» — он еще дважды будет фигурировать в моем повествовании — за одну навигацию проходит Северным морским путем, Чкалов и Громов, как пишут в газетах, совершают «прыжок» из СССР в США, и, наконец, на «макушку земного шара» высаживаются наши зимовщики во главе с академиком Шмидтом!

Однако события эти обходят Потаенную стороной. Грустно, но факт! Такой уж это оказался заброшенный уголок Арктики.

Очень мало упоминаний о Потаенной, а также обо мне найдете и в литературе. Хорошо еще, если автор какого-нибудь сугубо специального труда скороговоркой пробормочет в сноске или в примечании: «Губа положена на карту лейтенантом таким-то на гидрографическом судне таком-то». Даже коллеги и сверстники мои гидрографы, на глазах у которых произошел небывалый географический казус со спрятанной от начальства губой, начисто выкинули все из головы. При встречах никто и словом не обмолвился: «Как мол, Потаенная твоя там? Ну и баталию же ты, помнишь, выдержал из-за нее с этим купчиной... как его...»

Обидно? А как бы вы думали?..

Вспоминая об открытой мною — вроде бы и ни к чему? — губе, я рисовал в своем воображении тех сибирских лаек, которые встретили нас, сидя в ряд на берегу. Для меня это было как бы воплощением безысходного запустения. Брошенные абабковскими рудокопами собаки вскоре после нашего ухода, конечно, убежали в глубь тундры и

одичали там, либо их, что более вероятно, забрали к себе немцы из ближайшего стойбища. И все же при мысли о Потаенной я долго не мог отделаться от странной, гнетущей ассоциации: с низкого мглистого неба свешивается матовый шар луны, мохнатые диковатые морды молитвенно подняты к ней, безлюдный берег по временам оглашается протяжным скорбным воем.

И так, вообразите, длится годы и годы...

2

Что же явилось причиной того, что «по прошествии времен», торжественно выражаясь, перед узкой косой и надежно укрытым за нею заливом вновь раздернулся черно-белый занавес из снежных зарядов и тумана?

Вы не ошиблись. Война! Из глубокой спячки Потаенную пробудила Великая Отечественная война. Но известную роль сыграл в этом и я.

Видите ли, в начале войны я был призван на военно-морской флот в звании капитана второго ранга. А в августе 1941 года была сформирована Беломорская военная флотилия со штабом в Архангельске, которая входила в состав Северного флота. Я получил назначение в оперативный отдел штаба, поскольку — вероятно, не без оснований — считался знатоком северного военно-морского театра.

Поразмыслив над картой, я не замедлил доложить начальнику штаба о том, что, по-моему, нужно разместить в губе Потаенной новый пост наблюдения и связи. Оттуда, с высокого берега, просматривается значительная часть акватории. И вместе с тем служебные и жилые помещения можно со стороны моря укрыть от наблюдателей, так как тундра в этом месте полого спускается к востоку.

Начальство согласилось с моими доводами и приказало сформировать команду нового поста. Этим пришлось непосредственно заниматься мне: заместитель начальника штаба убыл в командировку и я в течение двух недель исполнял его обязанности. Тут-то и появился будущий шестой связист Потаенной — без паспорта, но с именем прославленного земляка на устах в качестве рекомендации.

На мой письменный стол легли, понятно, и документы.

Если не ошибаюсь, заявление, написанное на листке, вырванном из школьной тетради в клетку, выражающее желание уничтожить фашистов, находясь в рядах доблестного Военно-морского Флота, затем справка из школы об успешном окончании седьмого класса и два удостоверения: члена клуба радиолюбителей-коротковолновиков и участника республиканской географической олимпиады, получившего вторую премию. Паспорт, комсомольский билет и метрика якобы сгорели в поезде во время бомбежки, которой подвергся владелец документов по пути в Архангельск. Подпись на заявлении была старательная, еще неумелая: «Гальченко Валентин».

Я, разумеется, наложил резолюцию: «Отказать!» И любой, уверяю вас, сделал бы то же, сидя за моим столом.

Но, как известно, настойчивым везет. А Гальченко Валентин был настойчив. Причем, что очень важно, не нагло настойчив — сейчас говорят: «пробивной», — а очень немногословно, деликатно, я бы сказал, даже гипнотически настойчив.

Он ухитрился перехватить меня по дороге в штаб, который помещался над Северной Двиной в одном из зданий горкома партии.

Первое впечатление от этого Гальченко было, откровенно говоря, не из обнадеживающих. Он был невысокий, тощенький и с каким-то, я бы сказал, наивно-упрямым и вместе с тем застенчивым выражением лица, вдобавок чрезвычайно белесый. Белесыми были у него и волосы, и брови, и ресницы, будто мама перед визитом к начальству окунула сыночка в кринку со сметаной.

Запинаясь, он сообщил, что родом с Украины, уроженец города Ромны.

— В нашем городе родился киноартист Шкурат, который играл старого казака в фильме «Чапаев», — поспешил добавить проситель, будто это обстоятельство могло расположить меня в его пользу.

Отец Гальченко Валентина, как выяснилось, воевал на Западном фронте, а сам он эвакуировался с матерью в Архангельск, где жили родственники. Мать устроилась в госпиталь медсестрой.

— Поезд твой где горел? — спросил я.

— Под станцией Коношá! — торопливо ответил Гальченко. — В третий вагон от нашего ка-ак ахнет бомба!

— А сколько лет тебе, говоришь?

— Восемнадцать,— сказал он и неожиданно запнулся, покраснел.

«Поезд-то, возможно, и горел,— подумал я,— но паспорта, скорее всего, не существует вообще в природе. А покраснел посетитель потому, что не привык еще врать, пусть даже с самыми благородными намерениями».

Мне это понравилось в нем. То есть именно то, что он покраснел. И все же скрепя сердце пришлось подтвердить свою резолюцию.

После этого Гальченко принялся аккуратно, как на службу, являться в мою приемную и просиживать там с утра до вечера. Когда я проходил мимо, он поспешно вскакивал, однако не произносил ни слова. Всего лишь, понимаете ли, скромно напоминал о себе, но неуклонно, неотвратно!

Наконец адъютант (без моего ведома) запретил ему сидеть в приемной.

Но он не унялся. Лишь отступил на заранее подготовленные позиции — встал напротив здания штаба на противоположном тротуаре.

3

Как-то в разгар суматошного рабочего дня я вышел из-за стола, чтобы немного поразмяться. Сделал два или три вдоха-выдоха перед открытой форточкой и вдруг заметил этого упряма из Ромен. Глубоко засунув руки в карманы, он подскакивал и переминался с ноги на ногу на своем посту. Доски тротуара прогибались, пружиня под ним. Если не ошибаюсь, моросил дождь. И вообразите, я невольно растрогался при виде этой тощенькой, узкоплечей, стоически мокнувшей на тротуаре фигурки в каком-то поношенном, куцем, с короткими рукавами пальтеце!

Гляжу, земляк прославленного киноартиста, продолжая подпрыгивать, вытащил из кармана горбушку хлеба и начал ее задумчиво жевать. Эта горбушка, признаюсь, меня доконала.

«Как он питается? — подумал я о нем.— Мать при всем желании не может уделять ему много из своего скромного жалованья. На работу между тем упрямец не идет, видимо, надеется, что я перемену свое решение... А ей-богу, я и перемену его! По крайней мере, мальчишка будет сыт,

обут, одет. Опасно в Потаенной? Ну и что из того? А где не опасно? В прифронтовом тылу иной раз опаснее, чем в такой вот захолустной губе Потаенной. Воевать, судя по всему, он будет не хуже других. Тем более, он любитель-коротковолновик, а на постах у нас не хватает радистов. Разумеется, это против правил — взять на службу без паспорта, только на основании справки из школы и удостоверения участника какой-то географической олимпиады, вдобавок неразборчиво напечатанного. Ну, да была не была! Первый раз в жизни рискну нарушить правила!»

И я нарушил их...

Понимаете ли, если бы все происходило на год позже, я бы направил этого Гальченко на Соловецкие острова, к капитану первого ранга Авраамову, начальнику школы юнг. Но в 1941-м школы там еще не было. Так что мое положение оказалось безвыходным.

«Черт его знает, этого настойчивого роменца, — думал я, уговаривая сам себя, — может, и на самом деле ему восемнадцать? А что он низкорослый и худенький, так мало ли чего: плохо питался в детстве, болел долго либо просто порода такая мелковатая у них, у Гальченко».

Я вызвал адъютанта.

— Пригласите ко мне того молодого человека с горбушкой, который топчется перед штабом на тротуаре!

Молодой человек с горбушкой явился.

— Значит, восемнадцать? — спросил я, не поднимая глаз над бумагами. — Хорошо! Я верю тебе. Отправляйся прямо в военкомат. Я сейчас позвоню туда.

И через несколько дней он пришел ко мне уже краснофлотцем, одетым по всей форме, в черной шинели, в черной шапке с утопленной в мех красной звездочкой, туго-натуго подпоясанный, чтобы нельзя было засунуть двух пальцев за ремень, а на ремне медная бляха, надраенная до солнечного сияния. Таковое же сияние испускала и его улыбающаяся физиономия. Он даже показался мне выше ростом. И тут я окончательно уверился в том, что поступил правильно.

Начальник связи флотилии, естественно, приказал штабным радистам проверить его знания и умение.

Результаты проверки оказались удовлетворительными.

Перед самым отъездом он пришел ко мне попрощаться — уже со знаком штата радиотелеграфиста на рукаве. Это суконный черный кружок с красной окантовкой, а посередине, на фоне адмиралтейского якоря, вышиты две

красные, зигзагообразно перекрещивающиеся стрелы, удостоверяющие принадлежность их владельца к великому братству советских военных радистов.

Помнится, вновь испеченный краснофлотец то и дело скашивал глаза на свой рукав, любуясь этими красивыми стрелами. Но прежнего сияния на его физиономии я не усмотрел. Выяснилось, что он недоволен мною. Как? В чем дело? Почему?

Гальченко, понимаете ли, узнал, что его направляют на пост наблюдения и связи. Из-за этого он и заявил мне претензию. Пробормотал, потупясь, что, по его мнению, принес бы Родине больше пользы, служа на корабле, а не на суше. Суша, видите ли, его не устраивала. Он желал разрезать форштевнем крутые волны, штормовать, топить!

Ну, тут я быстренько, без лишних церемоний, выпроводил неблагодарного строптивца за дверь.

Так, с выражением обиды на лице, он и отбыл на ледокольном пароходе «Сибиряков» к новому месту службы.

Да, вот о чем еще, пожалуй, стоит упомянуть.

При посадке на пароход он немного замешкался, прощаясь с матерью, потом кинулся бегом по причалу, сгибаясь под тяжестью сундучка, и кто-то из будущих его товарищей крикнул матросам, стоявшим у сходней:

— Погодите сходни убирать! Не видите, что ли, последний связист Потаенной поспешает!

А моторист поста Галушка — кажется, это именно был Галушка — добродушно поправил:

— Не говори: последний! Может, он в работе у нас будет первый. Говори: шестой связист Потаенной!

И на какое-то время это стало как бы его кличкой...

А теперь позвольте мне, так сказать, чуточку посторониться, чтобы выдвинуть Гальченко и пятерых его товарищей на передний план.

Я, как видите, сделал свое дело — положил в 1912-м Потаенную на карту, а в 1941-м убедил начальство организовать там пост наблюдения и связи. В дальнейшем судьба Потаенной целиком зависела уже не от меня, а от шести связистов поста. Сейчас рассматривайте меня лишь как историографа, добросовестно повествующего об этой необычной судьбе.

О да, само собой! То, о чем я узнал впоследствии от Гальченко, позволю себе иной раз дополнить собственными своими впечатлениями об Арктике. Не будете на меня за это в претензии?

Глава четвертая

МИКРОБЫ ЗДЕСЬ НЕ ВЫЖИВАЮТ

I

Признаться, отчасти я понимаю огорчения шестого связиста Потаенной. Подумайте, ему даже не дали вдосталь насладиться переходом по бурному Карскому морю! Старшина первой статьи Тимохин, командир отделения радистов, по свойственной ему природной недоверчивости, не слишком-то полагался на оценку штабных радистов. Он сам решил проверить Гальченко по пути в губу Потаенную!

— Посмотрим, посмотрим, какой ты любитель! — сказал Тимохин зловеще и подбородком указал ему на табуретку напротив.

Очень ясно представляю себе эту сцену. Обоих радистов разделяет длинный обеденный стол. Дело происходит в кубрике, команда «Сибирякова» только что отужинала. Некоторые матросы уже разбрелись по койкам, другие собирались последовать этому примеру, но в предвкушении зрелища снова уселись за стол.

В полном составе присутствуют в числе «болельщиков» и связисты поста.

Не удостоивая вниманием публику, старшина Тимохин выбил дробь на столе согнутым указательным пальцем. О, это был, бесспорно, виртуоз своего дела! На телеграфном ключе работал, я думаю, не хуже, чем Паганини играл на скрипке. Гальченко оробел, но не подал виду. Черенком вилки простучал ответ — конечно, не так быстро, как Тимохин, но в неплохом темпе. Матросы за столом поощрительно заулыбались и придвинулись ближе. Краем глаза Гальченко заметил, что мичман Конопицын, начальник поста, многозначительно переглянулся со старшиной второй статьи Калиновским, командиром отделения сигнальщиков. Но лицо строгого экзаменатора оставалось непроницаемым.

Опять это дьявольское тимохинское стаккато! Старшина рассыпал по столу такую скороговорку, что кто-то сидевший рядом не удержался и восторженно крикнул. Гальченко собрался с духом и отстучал старшине ответ, по-прежнему довольно быстро.

— Ну как? — подавшись вперед, спросил моторист Галушка.

— Сойдет для начала, — небрежно ответил Тимохин. — До классного радиста, конечно, ему далеко. Но подучится, будет тянуть! Я на койке нежиться не дам!

И вы думаете, Тимохин отступился от него после этой проверки? Как бы не так! По два-три раза в день перехватывал на верхней палубе и мрачно говорил, смотря куда-то вбок:

— Воздухом дышишь морским? Успеешь надышаться еще! Пойдем-ка лучше в кубрик, делом займемся! Что зря на походе время терять!

Да, это был человек долга, неумолимый к себе и к другим. Представляет, он занимался с Гальченко по специальности всю неделю, что «Сибиряков» шел от Архангельска к Потаенной. Как он пояснял, хотел натренировать память новичка и обострить его несколько туповатый слух.

— Стучишь ты, в общем, терпимо, — говорил он, — но за память тебя не похвалю, нет! Настоящий радист обязан ухватить во время приема и держать в памяти не менее двух-трех кодовых сочетаний, чтобы успеть их записать. Мало ли что может случиться! Карандаш у тебя, допустим, сломался, чистый лист бумаги потребовался, крыша над головой, наконец, загорелась от снаряда. Тут и нужна радисту память!.. Слух тоже имеешь не абсолютный. Когда будет много помех в эфире, станешь нервничать, теряться, путать. А у настоящего радиста знаешь какой должен быть слух? Если, к примеру, играет оркестр, то радист обязан отчетливо различать любой инструмент. Хоть завтра в дирижеры нанимайся... Дай! — недовольным голосом требовал он и отнимал у новичка наушники. — Теперь стучи!

Они уже не перестукивались костяшками пальцев или черенками вилок по столу. Старшина раздобыл у радистов «Сибирякова» тренировочный пищик. Надев наушники, Гальченко с напряжением вслушивался в торопливый, очень резкий писк. Потом они менялись со старшиной ролями.

Воображаете картину? Сидят оба — взрослый и юнец — рядом на длинной скамье, как два сыча на одной ветке. Бортовая качка кладет «Сибирякова» с волны на волну, солонка и хлебница ездят взад-вперед по столу, приходится то и дело прерывать тренировку и подхваты-

вать их, чтобы не свалились на пол. Из камбуза тянет кислыми щами и подгоревшим жареным луком.

Периодически новичка выворачивает наизнанку, но старшина Тимохин неумолим. Он говорит:

— Пойди страви и возвращайся. Не тот моряк плох, кто укачивается, а тот, кто при этом не хочет или не может работать!

Вот они и работали. Старшина — с небрежной ухваткой виртуоза, поджав тонкие губы, не глядя на Гальченко. Тот — втянув голову в плечи, надувшись, как мышь на крупу.

Ему, понимаете ли, очень хотелось поскорее наверх, из душного кубрика на палубу!

Когда урок затягивался, земляк знаменитого киноартиста начинал все чаще поглядывать с робкой надеждой на старшину. Может, эта фраза последняя?

Старший радист «Сибирякова» Гайдо, проходя через кубрик, ободряюще подмигивал Гальченко.

Как-то он остановился у стола и сказал:

— Хорошую ты себе военно-морскую специальность выбрал. Это же мы, связисты, первыми начали войну — восприняли ее на слух! А ты и не знал? Именно наши посты на Балтике, на Черном море и в Заполярье услышали гул моторов приближающихся немецко-фашистских бомбардировщиков и, не медля ни секунды, доложили об этом командованию. Так что гордись, молодой!

2

Но, гордясь своей военно-морской специальностью, Гальченко очень уставал от тренировок с пищиком и порывался наверх, на палубу.

Ему, понимаете ли, хотелось побродить по кораблю, глаза по сторонам. Это же был «Сибиряков», о котором он столько читал! Первый в мире корабль, за одну навигацию совершивший переход Северным морским путем из Архангельска в Берингов пролив, пробивший форштевнем своим дорогу всем остальным кораблям!

Наконец, умилившись Тимохина добросовестной работой, Гальченко выбирался наверх. По «Сибирякову» он ходил сами понимаете как! На цыпочках? Пожалуй, это у него не вышло бы из-за качки. Не на цыпочках, нет, но с благоговением!

Он даже не обращал внимания на то, что корабль не очень большой — в длину семьдесят три с чем-то метра, в ширину, если не ошибаюсь, десять или одиннадцать.

Закинув голову, Гальченко всматривался в топы мачт, выписывавшие зигзаг на мглистом небе. Рисовал в своем воображении, как все это выглядело, когда мачты и рен «Сибирякова» были одеты вздувшимися темными парусами. Это, как вы знаете, был самый романтический эпизод сибиряковской эпопеи. Капитан Воронин был помором и в молодости немало походил под парусами. Не случайно же пришла ему в голову эта мысль — поднять паруса, сшитые наспех из брезентов, когда, уже на финишной прямой, перед самым выходом в Берингов пролив, у «Сибирякова» сломался гребной винт и плавающие льды потащили парход в обратном направлении. Последние мили сибиряковцы дотягивали под парусами со скоростью всего пол-узла, — вдумайтесь в это! И все же дотянули. Так, под парусами, они и закончили свой путь — подобно Колумбу и Васко да Гама!

А сейчас, удивляясь самому себе, Гальченко запросто рассказывал по палубе легендарного корабля.

С почтительным сочувствием смотрел он издали на Качараву, нынешнего командира «Сибирякова», щеголеватого, подтянутого грузина, с неизменным белоснежным кашне вокруг шеи.

Почему он сочувствовал ему? Впоследствии Гальченко объяснил мне это.

Легендарный «Сибиряков», увы, оставался лишь вспомогательным посыльным судном, хотя имел кое-какое вооружение на борту, три зенитных орудия. Всего-навсего посыльное судно. И это с его-то биографией?

До конца войны обречен он нести свой тяжкий крест — развозить зимовщиков по зимовкам, связистов по их постам, а заодно и разнообразный малогероический груз: консервы, лекарства, стройматериалы и презренную квашеную капусту.

У одного кочегара, с которым подружился Гальченко, — звали его Павел — был патефон, которым он очень дорожил. Из пластинок уцелела только одна. Остальные, к сожалению, разбились в прошлый рейс, когда «Сибирякова» прихватило у Вайгача десятибалльным штормом, Павел иногда разрешал новичку прокручивать эту пластинку.

Называлась она, если не ошибаюсь, «Шалёнка»,



старинный цыганский романс. Были там слова, которые очень подходили к тогдашнему настроению Гальченко:

Моя серая лошадка,
Она рысью не бежит.
Черноглазая девчонка
На душе мой лежит!

Никакая черноглазая или сероглазая еще не лежала на его душе. Однако «Сибиряков» на самом деле не бежал «рысью», а плелся едва-едва, словно бы прихрамывая при бортовой качке. Сравнение с серой лошадкой напрашивалось.

Кто лучше Гальченко мог понять сибиряковцев, обреченных развозить по Арктике зимовщиков, связистов и капусту! Ведь и он стремился воевать по-настоящему. Но тоже не повезло: направлен в глубокий тыл, в какое-то никому не ведомое арктическое захолустье!

Конечно, в мирное время он ликовал бы. Арктика есть Арктика! Однако в данной конкретной ситуации ему было уже мало Арктики. Шла Великая Отечественная война, в том-то вся и суть. Он хотел не только зимовать, но и воевать!

С командой «Сибирякова» у Гальченко сложились очень хорошие отношения, особенно с сигнальщиками-наблюдателями.

Без усталости готов был он любоваться их пестрыми сигнальными флагами, красными семафорными флажками, а также фонарем-прожектором со шторками-планками, которые то открывались, то закрывались. В общем, фонарь хлопал ими, как кокетливые девушки ресницами. Нет, сравнение не подходит. Девушки, как впоследствии стало ему известно, проделывают это бесшумно. Здесь же беспрерывно раздавался шелест и грохот жести.

Когда «Сибиряков» проходил мимо береговых постов или навстречу ему двигались корабли, сигнальщик давал опознавательный сигнал и принимал ответ. Поразительно быстро, словно бы играючи, похлопывал он по планкам, и прерывистые проблески — точки-тире-точки — стремглав уносились из-под его ладони вдаль. Гальченко завистливо вздыхал. На мостике тоже работали знатоки своего дела, виртуозы.

Хотя полярный день тянулся бесконечно, но проблески прожектора хорошо принимались на большом расстоянии.

Сигнальщики объяснили Гальченко, что корабль — свой он или чужой — важно опознать именно на большом расстоянии. Ошибешься, промедлишь — и запросто схлопочешь торпеду или снаряд в борт!

Должен сделать один упрек в адрес Гальченко. Увлечшись обзорением «Сибирякова», новичок непростительно мало интересовался командой своего поста.

Больше остальных товарищей, пожалуй, понравился ему толстощекий веселый моторист Галушка. Они были земляки. Роменский район входил когда-то в Полтавскую область, а Галушка был из Полтавы.

— Не просто галушка, понимаешь ли ты, — говорил он, поднимая указательный палец, — а ще й полтавська галушка! — И смешно надувал щеки.

Калиновский, командир отделения сигнальщиков, как-то мимоходом спросил у Гальченко, играет ли тот в шахматы. Гальченко ответил, что играет, но плохо.

— Давай сыграем? — сказал Калиновский и вытащил из своего сундучка доску и фигуры.

Гальченко не оправдал его надежд и почти мгновенно получил мат, даже, кажется, киндермат.

— Да, ты плохо играешь, — сказал спокойно Калиновский и, не вступая в дальнейшие объяснения, спрятал шахматы в сундучок. Это показалось шестому связисту Потаенной очень обидным.

О будущем его начальнике, мичмане Конопицыне, Гальченко было известно, что ранее он служил боцманом на тральщике, — и только! Земляк знаменитого киноартиста не знал, что первый конопицынский тральщик подорвался на mine и затонул, но боцман спасся — выплыл. Его в той же должности перевели на другой тральщик, однако — только на войне случаются подобные удивительные совпадения, — наскочив на мину, затонул и второй тральщик. И Конопицын опять выплыл! Тут уж мертвой хваткой вцепился в «непотопляемого боцмана» я, занятый в то время как раз формированием команды поста в Потаенной. Помилуйте! Боцман, да еще дважды тонувший, — это же клад для вновь организуемого поста, тем более в такой заполярной глуши!

Однако Гальченко до поры до времени воспринимал связистов Потаенной чисто внешне, не утруждая себя изучением их характеров и привычек.

Мичман Конопицын? Невысокого роста, крепко сбитый, очень быстрый в движениях, горластый. Калинов-

ский? Широкоплечий, высоченный — под потолок, силищи, надо полагать, невероятной. Краснофлотец Галушка? Флегматичен, улыбчив, добродушен. Краснофлотец Тюрин? С виду обыкновенный парень из какой-нибудь плотницкой артели, только наспех переодетый во фланелевку и бушлат. Старшина первой статьи Тимохин? И по наружности придира и брюзга.

Возраст пяти связистов колебался между двадцатью тремя и тридцатью годами. Это Тимохину было тридцать, хотя, ворчливый и насупленный, он выглядел даже старше.

Отчасти напоминает перечень действующих лиц, посылаемой пьесе? Именно так. По-настоящему Гальченко узнал своих товарищей позже, на берегу Потаенной, уже в действии.

Вот вам еще факт, иллюстрирующий крайнюю его тогдашнюю наивность. То ли в суматохе спешных сборов, то ли по чьей-то оплошности связистов забыли снабдить в Архангельске библиотечкой. Узнав об этом, Гальченко чрезвычайно огорчился. Не мог себе вечера свободного представить без книжки. Как же он теперь?..

— А когда читать-то? — неожиданно сказал мало-разговорчивый Тюрин. — Вахта круглосуточная — это раз! Куховарить, дрова пилить-рубить, траншеи в снегу прорывать — это два! Плавник собирать — это три! А знаешь, как неаккуратно плавник на берегу лежит? Глянь-ка!

Он вытащил из кармана спичечный коробок и вывалил его содержимое на стол. Спички легли вразброс, одна на другую.

— Видал? Только там каждая «спичка» будет потяжелше в сотни тысяч раз. Попробуй развороши такую кучу, да еще в мороз или в пургу!

Присутствовавший при разговоре Галушка сладко зевнул и так потянулся, что хрустнули кости:

— Это правильно Тюрин тебе разъясняет. Минуток двести соснешь за сутки, то ще й будэ добрэ! А сон на войне — роскошная вещь, друг Валентин! Ты еще пока молодой, не понимаешь...

А «Сибиряков» тем временем неспешным шестиузловым ходом подвигался к цели.

Море буграми вскипало по носу и по бортам, как и положено ему вскипать. За кормой тянулась пенящаяся полоса — след от винтов. Чайки, по обыкновению, оплакивали свою участь, летя неотлучно за пароходом и выпрашивая подавание. Небо было серым, пасмурным. Солнце проглянуло, кажется, три или четыре раза, не больше. И тогда на горизонте взблескивали отдельные плавучие льдины.

Но для подростка, никогда в жизни не видавшего моря, все это было, конечно, диво дивное. Тени Нансена, Седова, Визе, Ушакова теснились вокруг него.

Наконец справа по борту открылся долгожданный гидрографический знак. Все было в точности, согласно лоции: на высоком берегу обитая поперечными досками, узкая, вытянутая вверх пирамида, наверху ее два вертикально поставленных, пересекающихся деревянных круга — с какой стороны ни погляди, всюду шар!

Нет, цвет гидрографического знака, по свидетельству Гальченко, был уже не черный, а какой-то пестроватый, вроде бы серый с белым. Посшибали краску лютые ветры, повыела ее морская соль — за столько-то лет!

Неподалеку от гидрографического знака связисты с удивлением обнаружили заросшую мхом яму и рядом с нею полусгнившие сваи. Что это было такое и для чего предназначалось, так и не смогли понять.

Губа Потаенная, по позднему признанию Гальченко, показалась ему с первого взгляда самым унылым местом на свете. «И здесь я должен пробыть всю войну! Это, выходит, год, а то и два? — подумал он. — Да я еще до Нового года с тоски помру!»

Был отлив. Качарава, опасаясь сесть на мель, не захотел втягиваться в губу и стал на якорь в пяти кабельтовых¹ от берега. Сами понимаете, пришлось погрести, когда началась переброска грузов с парохода на берег.

Если бы пост установили внутри бухты, то площадь обзора была бы ничтожной. Пост должен находиться на самом высоком месте — значит, там, где гидрографический знак. Поэтому, осмотревшись, мичман Конопицын выбрал одну из расщелин, прорезавших берег, внизу которой на-

¹ Кабел ь т о в — единица измерения, равная 185,2 метра.



ходила удобная для высадки «кошка»¹, и превратил ее в перевалочный пункт. Сюда и подгребали шлюпки с грузом.

Ну, можете вообразить, что это было такое? Не преувеличиваю: по скоропалительности напоминало высадку десанта на вражеский берег!

На все про все отведено было восемь часов, но моряки управились за десять. И то, я считаю, поставили рекорд.

Какой ни был Гальченко «молодой», а сообразил, почему так спешат. Еще бы! Хуже нет для корабля, как стоять в море на якоре. Лишен свободы маневра, превращен в неподвижную мишень. А враг в любой момент мог появиться вблизи Потаенной. Вот почему торопился Качарава. Вокруг только и слышно было: «Давай, давай!»

С этим подбадривающим кличем матросы «Сибирякова» вскрыли трюмы, потом принялись поднимать оттуда тюки и ящики и грузить их на шлюпки. Часть бочек швыряли прямо за борт. Их арканили со шлюпки концами, так и подтаскивали к берегу. Кое-что разбилось, но без этого же нельзя в такой спешке, верно?

¹ «К о ш к а» — нечто вроде песчаного пляжа, где обычно скапливается много плавника.



На берегу все сваливали в кучу, как попало: палатки, консервы, керосиновые лампы, полушубки, тулупы для сигнальщиков, спальные мешки, техническое вооружение — радиоприемник с аккумулятором, радиопередатчик, пеленгатор, движок, стереотрубу, бинокли, ракетницу, — набор флагов, сигнальный фонарь, посуду, крупу, муку, консервированный шпиг, бочки с бензином для движка, бочки с керосином для ламп, лопаты, пилы, соль, чай, сахар, лавровый лист, экстракт клюквенный и всякое другое.

Да, патефон! Чуть было не забыл про патефон! На прощание Павел подарил Гальченко свой патефон с единственной уцелевшей пластинкой: «Моя серая лошадка, она рысью не бежит...» Шестой связист Потаенной был очень обрадован и растроган этим подарком.

Моряки продолжали авралить без передышки, работая по пояс в воде. Да и на берегу то и дело обдавало их холодными брызгами от наката.

Сорванным голосом Тимохин кричал:

— Давай, связисты, давай! От воды только подальше клади! А то в море обратно волной унесет!

А где же мичман Конопицын? А! Вон он где! Выполняет

со старшиной Калиновским первое боевое задание — устанавливает на берегу сигнально-наблюдательный пост.

Гальченко удивился, когда увидел, что две фигурки в ватниках проворно карабкаются вверх по доскам, которыми обита пирамида гидрографического знака. Куда их понесло? Что им там надо?

Тюрин, передавая очередной ящик, просветил новичка насчет этой акробатики:

— В пирамиде двадцать метров без малого, понял? Вот тебе и наблюдательная вышка готова! Ставили люди гидрографический знак на взгорбке, на самом высоком месте берега. С моря отовсюду хорошо видеть. Значит, и с берега, со знака, нам, сигнальщикам, видно будет хорошо.

— Разговорчики! — прикрикнул Тимохин. — Вертись, подхватывай!

Но через некоторое время Гальченко улучил минутку и украдкой еще раз оглянулся на деревянную пирамиду знака. Там стучали в два молотка. Оторвав от задней стенки несколько досок, Конопицын и Калиновский уже сколачивали настил-площадку под самым шаром. А через четверть часа они подняли наверх и немудреное хозяйство сигнальщиков. Антенну в целях маскировки приткнули к пирамиде. И вот уже верзила Калиновский, согнувшись в три погибели, прилаживается к стереотрубе.

Пост в Потаенной открыл глаза! Живем, стало быть!

Ах, вас интересует, что там моросило в это время? Ну да, летом же там постоянно что-нибудь моросит: дождь либо мокрый снег, а то и дождь вперемешку со снегом.

Представьте, Гальченко впоследствии затруднился ответить мне на этот вопрос. Не запомнилось ему, как-то не обратил внимания. И без того на нем сухой нитки не было, хотя работал он, конечно, как все, в ватных брюках и куртке.

«Обязательно простужусь и оскандаюсь перед товарищами», — думал он с тревогой.

Ничего подобного! К собственному удивлению, Гальченко даже не чихнул ни разу после этой выгрузки. А ведь в родимых своих Ромнах он, по его словам, весной и осенью не вылезал из ангин и гриппов.

Через два-три дня шестой связист Потаенной, недоумевая, обратился за разъяснением к мичману Конопицыну.

— Микробы здесь не выживают! — бросил тот мимоходом и умчался, очень озабоченный, куда-то по своим делам.

Зато тундра, думаю, очень досаждала связистам во время выгрузки. Как назло, она к их прибытию совершенно раскисла. А ведь я помню, что в Потаенной мокрый песок с галькой: шаг шагнул — и будто кандалы на ногах, полпуда грязи налипает сразу.

Правда, вскоре мичман Конопицын снял Галушку, Тимохина и Гальченко с разгрузки — ее заканчивали уже без них матросы «Сибирякова». Галушка принялся налаживать движок, который поставили пока прямо на землю, а Гальченко с Тимохиным разбили палатку под рацию. Наступил самый нервный для радистов момент. Волнуясь, они стали распаковывать ящики с аппаратурой: цела ли она, не отсырела ли, не разбили ли при выгрузке какую-нибудь особо хрупкую деталь?

Пока радисты занимались этим, «Сибиряков» уже снялся с якоря. Гальченко выскочил из палатки. Калининский размахивал на своей вышке флажками, передавая семафор: «Счастливого плавания!» А сигнальщик «Сибирякова», стоя с флажками на мостике рядом со старшим лейтенантом Качаравой, неторопливо ему отвечал.

На прощание «Сибиряков» ободряюще погудел, затем развернулся и стал удаляться. Вскоре его будто размыло в серой пелене. Все уплотняясь, она стеной встала между берегом и кораблем. Шестеро связистов остались одни.

Но долго огорчаться не приходилось. Они не располагали для этого временем. Едва лишь раскатистое эхо от гудка «Сибирякова» затихло в глубине тундры, как Гальченко уже услышал приветливое домашнее бормотание движка. Потный, весь в мазуте, Галушка подсоединил шланги к рации, и Тимохин, забравшись в радиопалатку, вышел в эфир. Ура! Все в порядке, аппаратура работает! Новый пост наблюдения и связи в губе Потаенной ожил и действует!

Свободные от вахты, и Гальченко в том числе, принялись разбирать вещи, беспорядочно сваленные в кучу на берегу, — на редкость, доложу вам, трудоемкое занятие.

«Когда же вечер?» — думал шестой связист, разгибаясь с кряхтением. Вечер наступил только на исходе двадцать первого часа с начала высадки. Вещи были разобраны, рассортированы и аккуратно разложены — полушубки к ватникам, ложки-плошки к кастрюлям, чай и лавровый лист к мукe и шпигу.

— Харч! — провозгласил Конопицын.

Ну и харч же это был! Вкуснее Гальченко, по его сло-

вам, никогда ничего не едал. На дрова нарубили плавник, лежавший поблизости, потом в разлоге, защищенном от ветра, запылал костер, забулькал чайник на костре, зашкворчали в кастрюльке мясные консервы. Воды было вдосталь, наивкуснейшей и наичистейшей, из лайд, где таял снег.

Ели связисты, как вы догадываетесь, невероятно много и долго. Это же одновременно был завтрак, обед и ужин — весь их суточный рацион!

Утолив голод, Гальченко засмотрелся на пламя. Он никогда не думал, что плавник горит так своеобразно, зеленоватыми, очень уютными огоньками, зеленоватыми, наверное, из-за морской соли, впитавшейся в древесину!

Шестой связист Потаенной клевал и клевал носом до тех пор, пока наконец не ткнулся головой в колени и не заснул крепким сном тут же у костра.

Наверное, и Галушка с Тюриным тоже свалились рядом на землю. Первые два дня, кстати говоря, все спали прямо на земле. Сил не было разбить жилую палатку. Потом, отдохнув немного, связисты установили ее возле радиопалатки.

Разбудил Гальченко ворчливый голос Тимохина:

— Где молодой наш? Будите его, товарищ мичман, время вышло.

А он только начал входить во вкус сна! Но делать нечего — сменил Тимохина у рации, а Тюрин полез на вышку сменять Калиновского.

Так началась круглосуточная вахта в губе Потаенной. Продолжалась она ровно сутки, полярные сутки, — от августа сорок первого по август сорок второго года...

Глава пятая

НА ПОЛОЖЕНИИ ШТАТНЫХ НЕВИДИМОК

1

Сами понимаете, работы в Потаенной было сверх головы! Мало того, что связисты обеспечивали круглосуточную двустороннюю радиосвязь, но помогали еще и нашим кораблям, проходившим мимо

в обоих направлениях — на восток и на запад. Свои РДО¹ в Архангельск или на Диксон они предпочитали передавать через пост. И, как вы понимаете, правильно делали. Не хотели лишний раз вылезать в эфир, чтобы не засекла немецкая радиоразведка и не навела на них самолеты. А так аккуратно отсверкают прожектором с моря и спокойно двигаются дальше, к месту своего назначения.

Закончив вахту, Гальченко выползал из палатки, а Тимохин с трудом протискивался в нее и укладывался на боку у ради. «Царствуй, леж на боку!» — бормотал себе под нос шестой связист Потаенной, удаляясь.

Попробуй Расскажи неосведомленному человеку об этой палатке — не поверит, чего доброго, засмеет. Гальченко-то еще кое-как умещался в ней, он был худенький, небольшой. А каково приходилось высокому и грузному Тимохину! В палатке можно было только лежать или сидеть на полу, и то согнувшись в три погибели.

Кроме радиста и ради, там находился еще и примус. Милый примус! Неугасимый его огонь обогревал и ободрял во время радиовахты.

И все-таки, несмотря на физическую усталость и хронический недосып, Гальченко не давала покоя его неукротимая мальчишеская любознательность.

Как-то, улучив свободных четверть часа, он слазил проводить сигнальщиков на их верхотуре, под шаром гидрографического знака. Они уже успели сколотить трап и начали устраиваться по-зимнему, всерьез и надолго. Бревнами укрепили площадку, которую в день высадки сбили второпях, кое-как, а на ней установили нечто вроде кабинки, чтобы не так прохватывало ветром. В углу торчал поставленный на попа ящик, на нем лежал вахтенный журнал сигнальщиков, тут же помещался телефон, который соединял сигнально-наблюдательный пост с жилой палаткой внизу.

Самый глазастый вражеский наблюдатель не сумел бы с моря или с воздуха распознать никаких перемен в этом с незапамятных времен стоящем здесь гидрографическом знаке. Ан теперь-то он был уже с начинкой! Однако все, что происходило внутри этой высокой деревянной пирамиды, увенчанной шаром, происходило скрытно. А палатки размещались у подножия пирамиды, в разлоге, под прикрытием высокого берега.

¹ Р Д О — радиограмма.

Шестеро связистов поста перешли на положение штатных невидимок, хоть и ненадолго. Вот когда Потаенная во второй раз оправдала свое название.

Конечно, пост в конце концов засекли, но не с моря и не с воздуха, а в эфире, что было неизбежно. И произошло это почти спустя месяц после высадки. А пока сигнальщики, укрывшись внутри гидрографического знака, вели наблюдение с приятным сознанием того, что их не видит никто, а они видят все на десятки миль вокруг.

Вахту нес Калиновский. Он разрешил Гальченко заглянуть в стереотрубу, к которой тот прильнул с жадностью, а сам вел в это время биноклем от берега к горизонту и вдоль него, как бы медленно «заштриховывая» взглядом водное пространство. Видимость была хорошей.

— Хоть бы один корабль за вахту! А то все льдины да льдины! Надоело о них докладывать, — пожаловался Калиновский. — Или того хуже — мираж!

— Как это — мираж?

— А так. Вдруг сверкнет льдина на горизонте. Ты определяешь пеленг, расстояние до нее, все честь по чести, и докладываешь. А через минуту — бац! — и нету твоей льдины! Растаяла в воздухе без следа. Рефракция¹ это, понимаешь?

И Калиновский объяснил новичку про рефракцию.

Вот как! Выходит, рефракция не всегда плоха? Иногда она бывает хороша. Благодаря рефракции удастся увидеть то, что очень отдалено от нас. Мы словно бы приподнимаемся на цыпочки и заглядываем через горизонт! А Гальченко всегда так хотелось заглянуть за горизонт!

Мы еще вернемся с вами к явлению рефракции. Как ни странным это покажется, оно непосредственно связано с Портом назначения...

Перед глазами у Гальченко все внезапно побелело. Огромные хлопья закружились в окуляре бинокля. На Потаенную стремглав налетел снежный заряд. И море, небо, тундра мгновенно словно бы утонули в нем.

— Видимость — ноль, — сказал с досадой Калиновский, отодвигаясь от стереотрубы. — Теперь на вышке вынужденный простой минут десять — пятнадцать.

¹ Суть этого явления состоит в том, что солнечные лучи, преломляясь в разных по плотности слоях атмосферы, дают порой искаженное изображение предметов. Обычно рефракция как бы приподнимает их над горизонтом.

— Что ж, перекурим это дело, товарищ старшина? — с напускной развязностью спросил Гальченко, доставая из кармана кисет с махоркой.

Калиновский долго смотрел на шестого связиста Потаенной, выдерживая томительную паузу.

— Я не курю, — сказал он веско. — И тебе не советую. Я, видишь ли, был чемпионом Минска по штанге, до войны поднимал ее и после войны надеюсь поднимать. Так что мне курение ни к чему. А тебе, я считаю, и подавно. Слышал такую умную чешскую поговорку: «Мужи з хлапца дела спорт, нигди сигарета»?¹

Гальченко передавал мне, что готов был от конфуза сквозь доски провалиться, тем более что по-настоящему-то и не курил, а кисет таскал с собой только для того, чтобы при случае угощать взрослых.

Калиновский сжалился над ним и переменял тему.

— Подлее нет ничего снежных зарядов, — объяснил он. — Все что хочешь может произойти на море за эти десять — пятнадцать минут! Проскочит снежный заряд — и нет его! Ты опять в стереотрубу глянул, а у самого берега вражеская лодка-подлянка уже из воды вылезает!

Белая болтушка, вроде жидкой манной каши, по-прежнему бултыхалась над морем и тундрой, а вышка беспрерывно раскачивалась, словно маяк, под шквальными ударами ветра.

Прошло несколько минут, и снова возникли серое море и серое небо. Снежного заряда, умчавшегося куда-то в тундру, как не бывало, и Калиновский, повернувшись к Гальченко спиной, нагнулся к окулярам стереотрубы...

2

Достаточно ли ясно усвоили вы одну очень важную истину: наши связисты в Потаенной были невидимы с моря и с воздуха, зато слышимы в эфире? Они находились на положении мышки, которая сидит, притаилась в норе, в то время как голодные кошки, с напряжением вытянув шею, изо всех сил стараются определить на слух, где же она прячется. Правда, «кошек» было всего две и сидели

¹ Мужчину из мальчика делает спорт, сигарета — никогда (чешск.).

они на очень большом расстоянии от поста,— это было отчасти утешительно.

Не снисходя до объяснений, старшина Тимохин сказал мрачно, что рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, пост ущучат в эфире, то есть запеленгуют, и тогда жди бомбежки! Гальченко и сам понимал, что немецким радиоразведчикам не понадобится для этого много времени. Но оптимист Конопицын утверждал, что пеленг будет взят не точно, так что особенно тревожиться нечего.

Если продолжить сравнение с кошками, то вам придется вообразить, что одна из них расположилась в Северной Норвегии, а вторая прилегла на Шпицбергене. К огорчению гитлеровских радиоразведчиков, не хватало еще третьей кошки. Ей полагалось бы пребывать где-нибудь восточнее Шпицбергена. Вот тогда мышь в норе сразу была бы обнаружена.

Нет, чувствую, сравнение это не совсем удачно. Минутку! Ну представьте себе другую картину: две длиннющих руки с распряженными жадно когтистыми пальцами протянулись из Северной Норвегии и со Шпицбергена через Баренцево и Карское моря к нашей Потаенной. Протянулись через эфир, не забывайте об этом! Они, эти руки, пытаются сомкнуться на Потаенной, зажать ее в смертельные тиски, но захватывают только воздух.

По двум пеленгам, взятым примерно с одного направления, можно лишь очень приблизительно определить, где находится искомая точка, в данном случае пост. Он мог находиться в Потаенной, но также и на пятьдесят — семьдесят километров севернее, восточнее или южнее.

Решение этого вопроса волей-неволей приходилось возложить на авиаразведку.

Но начальник поста заблаговременно принял меры предосторожности.

Очень пригодились для этого старые рыбацьи сети, найденные на причале.

Поначалу хозяйственный мичман надеялся починить их и в дальнейшем пользоваться ими по прямому назначению. Но сети оказались слишком ветхими. Тюрин промаялся с ними несколько дней и отложил иглу — они расползались в руках.

Тогда Конопицын использовал сети для камуфляжа. Он растянул их над радиопалаткой и стоящей рядом с нею жилой палаткой. Затем послал всех свободных от вахты в тундру и приказал им принести побольше мха. Его

подчиненные выполнили это приказание. Пучки мха были прикреплены в разных местах к сети — внешне беспорядочно, но на самом деле строго обдуманно. Прежде всего, как вы понимаете, требовалось скрыть от чужого, холодно-пристального, недоверчивого взгляда, обращенного сверху, четырехугольные очертания палаток. В природе, насколько мне известно, ничего строго четырехугольного нет.

Маскировка под тундру как будто бы удалась. Никаких палаток! Просто в тундре поднялись еще две кочки, поросшие мхом, а на Ямале таких гигантских, в рост человека, кочек полным-полно.

Мичман Конопицын позаботился также отрыть несколько щелей.

Едва связисты успели закончить эти приготовления, как к ним припожаловал наконец «ревизор» — «Хейнкель-III».

Тюрин, который нес вахту на вышке, углядел его издали и тотчас доложил по телефону начальнику поста. Связисты заняли свои места по боевому расписанию. Все в Потаенной замерло и примолкло. Только Тимохин — радиовахта была его — торопливо заканчивал передавать доносение о самолете, обнаруженном постом: «ВЗД! ВЗД!»¹

Немецкий разведчик летел очень низко над береговой линией. Когда он заложил над Потаенной крутой вираж и плоскости его встали почти вертикально, Гальченко отчетливо увидел на фюзеляже черно-желтый зловещий крест. Солнце в тот день, к сожалению, вело себя плохо — светило вовсю.

Немца, надо думать, заинтересовал причал. Он кружил и кружил над ним чрезвычайно долго.

С ненавистью и страхом Гальченко следил из своей щели за немцем. Но вот что интересно! До этого, по его словам, он испытал несколько бомбежек. Кстати сказать, эшелон с эвакуированными действительно горел у станции Коноша, я проверял это. И Гальченко было тогда очень страшно, по его словам.

Было ему страшно и теперь. Рев немецких моторов, то затихавший, то усиливавшийся, буквально разрывал нутро на куски. Однако он боялся уже не за себя. Он боялся за рацию, за вышку на гидрографическом знаке, за все хозяйство, устроенное с такой огромной затратой труда

¹ Воздух! Воздух!

и только-только начавшее налаживаться. Сердцем был неразрывно связан с постом в Потаенной.

Да, правильно: как моряк со своим кораблем...

Но выяснилось, что волновался он напрасно. Что мог увидеть немец во время своего настойчивого кружения над берегом? Только то, что уже, без сомнения, значилось на его карте. Гидрографический знак. Старый, полуразрушенный причал. Кучи плавника. Разлоги и кочки, поросшие мхом.

Однако летчик, вероятно, был человеком самолюбивым. Он не захотел возвращаться на базу без победной реляции.

Со стороны тундры связисты услышали несколько тупых ударов о землю.

Галушка не утерпел, на мгновение вынырнул из щели и сразу же нырнул в нее обратно.

— Котлован в тундре бомбит! Ну и дурило! — радостно сообщил он. — Нашел где бомбить! От же, понимаешь...

И от полноты душевной он вклеил на украинском языке весьма красочную и подробную, но не совсем приличную характеристику вражеского летчика, сослепу бомбящего пустую тундру.

А от последней своей бомбы немец разгрузился в районе причала. Однако промахнулся, угодил не в причал, а в кучу плавника, лежавшего поблизости. Впрочем, это не имело большого значения, так как сделано было явно для очистки совести.

После этого самонадеянный разведчик улетел восвояси — докладывать начальству, что пост наблюдения и связи, недавно открытый русскими на материковом берегу Карского моря, перестал существовать.

Отбой воздушной тревоги!

Гальченко кинулся со всех ног к радионалатке — проведать старшину Тимохина. Тот, к крайнему его изумлению, был занят тем, что неторопливо извлекал из ушей лочки пенькового каната.

— А зачем вы канат в уши, товарищ старшина?

Он недовольно поднял глаза.

— Рев моторов действует мне на нервы!

Вот как! У старшины Тимохина есть нервы?..

Но дело, оказывается, было не столько в нервах, сколько в великолепно тренированном, профессионально-обостренном слухе радиста. Тимохин привык различать тончайшие, нежнейшие нюансы звуков в эфире, выбирая

из них лишь те, которые были ему в данный момент нужны. А тут словно бы над головой у него бухали в гигантский медный таз.

На немецкой базе, надо полагать, вскоре завязалась ведомственная склока между авиа- и радиоразведчиками. Первые утверждали, что предполагаемый пост наблюдения и связи, укрывшийся в развалинах старого рудника, разбомблен, о чем свидетельствует фотоснимок, сделанный летчиком. Вторые же начисто опровергали это. Зловредный пост продолжает существовать и по-прежнему регулярно выходит в эфир.

Но связисты пока могли не интересоваться этой склокой. Лето кончалось. А зимой гитлеровцы, по заверению Конопицына, вряд ли станут налетать на Ямал. Хватит им забот на Баренцевом море, которое, благодаря Гольфстриму, не замерзает круглый год.

Да и немецкие подлодки уже завершали свои операции в Карском море. Та, с которой повстречались Гальченко и Тюрин у Ведьминого Носа, была, вероятно, одной из последних.

3

Мичман Конопицын регулярно посылал свободных от вахты связистов обследовать на шлюпке взморье в одну и другую сторону от поста. Больше всего беспокоили его плавучие мины, которые после штормов появлялись у берега.

Вскоре после воздушного налета на пост в очередную патрульную поездку посланы были Тюрин и Гальченко. Они прошли на веслах около пятнадцати миль вдоль берега и не обнаружили ничего подозрительного или маломальски ценного. Гальченко рассказывал мне, что устали они зверски — все время пришлось выгребать против встречного ветра, называемого в просторечье мордотыком.

Наконец Тюрин решил перевести дух, перед тем как возвращаться на пост.

— Маленько отдохнем у Ведьминого Носа, — предложил он.

Есть на север от Потаенной такой далеко выступающий в море мысок, узкий, высокий. Он не был удостоен включения в лоцию и не имел официального названия. Но между

собой связисты именовали его Ведьмин Нос. Что вызвало у них эту ассоциацию, я уже позабыл. То ли несколько изогнутая, крючковатая форма мыса, то ли кочки на нем, напоминавшие бородавки. Какую же ведьму можно представить себе без бородавок на носу?

Этот самый Ведьмин Нос Гальченко с Тюриным облюбовали для кратковременного отдыха. Вытащили шлюпку наполовину из воды, чтобы волной не унесло обратно в море, а сами расположились под прикрытием мыса. Там не так донимал ветер.

Тюрин, усевшись, принялся сосредоточенно стругать перочинным ножом палочку — обычное занятие его в редкие минуты досуга. А Гальченко лег навзничь, разбросав тяжелые, набрякшие в кистях руки. Спину приятно холодил сырой песок.

Солнце, вообразите, начало даже припекать. В Арктике иной раз выдаются летом такие чудесные минутки — именно минутки.

«На нашем ЮБК не загорись», — вспомнилась Гальченко шутка Калиновского. ЮБК — это Южный берег Крыма, но Калиновский переиначил смысл трех этих букв, и получилось — Южный берег Карского моря.

Гальченко надоело лежать, он встал, перешел на ту сторону Ведьминога Носа и принялся бесцельно бродить среди кочек, поросших мхом.

Что-то блеснуло на желто-белом пушистом ковре. Что это? Он нагнулся.

— Товарищ Тюрин! — закричал он. — А что я здесь нашел!

Тюрин неохотно встал и подошел к нему.

— Ключ разводной? Ишь ты! — удивился он. — Не иначе как Галушка обронил. Он три дня назад с Калиновским ходил в эту сторону.

— Ая-яй!

— Ну и раззява! Попадет ему от мичмана!

Гальченко огорчился за своего земляка.

— И зачем в поездки патрульные таскает ключи с собой?

Но, рассмотрев разводной ключ, Тюрин внезапно бросил его на землю, будто это была змея.

— Валентин! А ключ-то ведь не наш!

Представляете эффект такого открытия?

Места в этой части Ямала первобытно-первозданные, почти нехоженые. Связисты знали, что лишь ненцы забре-

дают сюда во время летних откочевок, да и то не часто. Но сейчас они уже откочевали на юг. Да у ненцев и не может быть разводных ключей. К чему им разводные ключи? Выходит, здесь побывали не ненцы, а немцы?

В этот момент Гальченко с Тюриным ощутили себя в положении Робинзона, который неожиданно обнаружил след чьей-то голый ступни на мокром прибрежном песке. Но взволновались они наверняка гораздо больше Робинзона!

Только сейчас Гальченко заметил, что земля между кочками довольно плотно утрамбована. словно бы нечистая сила на самом деле прилетает сюда тайком и водит здесь вприпляску хороводы.

Гальченко прошелся вдоль площадки, внимательно глядя себе под ноги. Внимание его привлекло ярко-синее пятно на желто-белом фоне. Тюбик с зубной пастой? Он поднял этот тюбик.

— Брось! — сердито сказал Тюрин. — Вечно у тебя привычка за все руками хвататься. А если это особая минка такая? Брось, говорю тебе!

Но это была не минка и не зубная паста. На синем тюбике Гальченко прочел «Köse», то есть сыр. Вот как! Стало быть, немецкое командование снабжает своих моряков сыром-пастой в оригинальной упаковке! Гальченко по-сильнее надавил на тюбик. Из него поползла желтая масса. Он не удержался и попробовал ее, не обращая внимания на грозные гримасы Тюрина. Правильно! И на вкус — сыр!

Тюрин, подняв с земли, показал Гальченко обтирку из ветоши. Последняя, неопровержимая улика!

Совсем недавно, несколько дней или часов назад, здесь побывала вражеская подлодка!

Не сговариваясь, Гальченко с Тюриным бросились к шлюпке.

В этом, знаете ли, проявился безотказно действующий условный рефлекс, привитый на службе. Каждый связист, увидев или услышав что-то мало-мальски подозрительное, спешит сразу же, без промедления, доложить об этом на командный пункт.

Раскачав шлюпку, Тюрин и Гальченко сдвинули ее с места. Но вдруг могучая длань старшего простерлась над Гальченко и рывком прыгнула к земле. Как подкошенные оба связиста упали на землю неподалеку от шлюпки.

Неподалеку от берега всплывала вражеская подлодка!

Путь в море перекрыт. Бежать в тундру на глазах у немцев? Бессмысленно. Всплыв на поверхность, они накроют с первых же залпов.

Гальченко не видел, как подлодка медленно приближается к Ведьминому Носу.

Мгновение жизнь обоих связистов была на острие ножа. Но им повезло. Подлодка подошла к мысу с другой его стороны, и шлюпка замечена не была.

Некоторое время Гальченко лежал, слушая, как бешено колотится сердце и волны очень громко ударяют о берег.

Потом донесся лязг обрушившейся в воду якорной цепи. Ну, так и есть! Подлодка стала на якорь в некотором отдалении от берега! По-видимому, немцы будут заряжать аккумуляторы. Кто-то, кажется, еще на «Сибирякове», говорил, что они предпочитают проводить зарядку у берега — прячутся, что ли, в его тени?

Связисты лежали, почти сливаясь с землей, плотно вдавившись в нее всем телом. Она успокоительно дышала в лицо сырыми запахами мха и мокрого песка.

«Только бы немцы ограничились зарядкой аккумуляторов! — думал Гальченко. — Только бы не вздумалось им высадиться на берег!»

Но им вздумалось! Гальченко услышал плеск весел. Совсем близко раздались громкие, веселые голоса.

В школе Гальченко, надо сказать, не пренебрегал немецким языком, как из нелепого упрямства и предубеждения делало большинство его сверстников. И сейчас немецкий пригодился.

Командир подлодки, судя по всему, решил пополнить запасы питьевой воды — в тундре полно лайд, — а заодно дать возможность своей команде поразмяться.

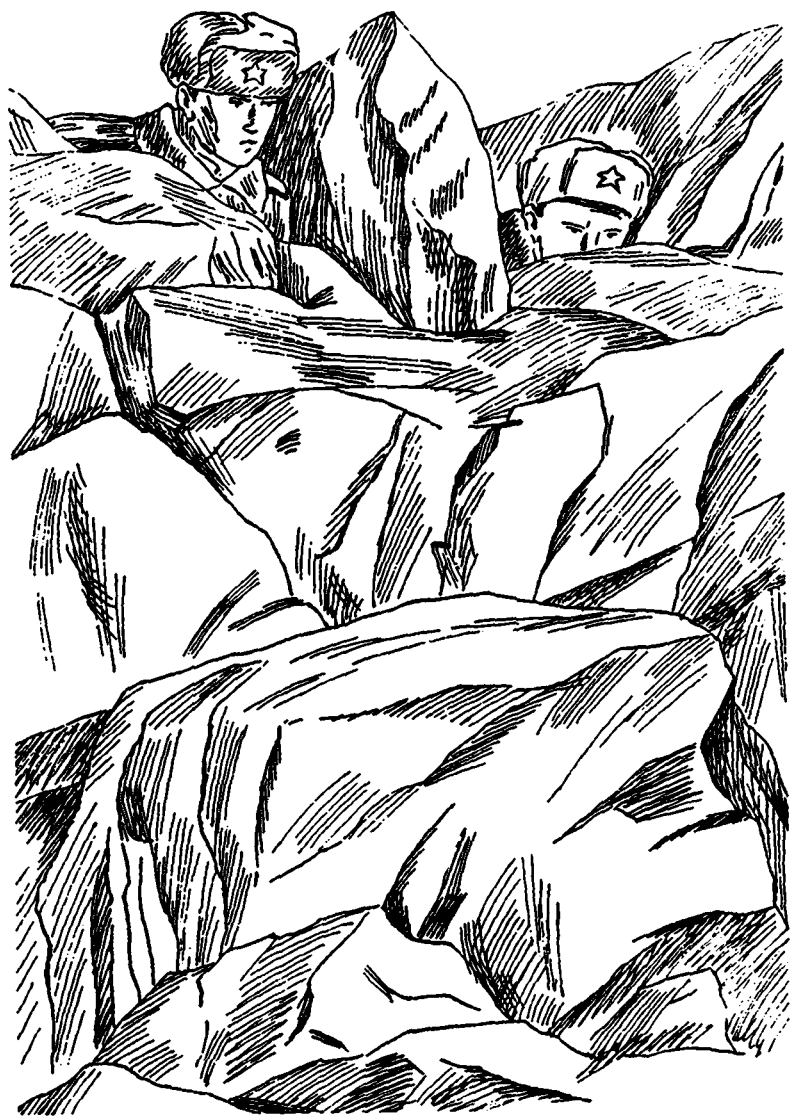
Резиновый тузик сновал без остановки между берегом и подлодкой: сюда перевозил подводников, свободных от вахты, обратно — анкерки¹ с пресной водой.

С той стороны высокого мыса слышались топот ног, плеск воды, блаженное фыркание, словно стадо мамонтов пришло на водопой. Сгрудившись у лайд, подводники, вероятно, брызгали водой друг на друга, потому что кто-то взвизгивал и упрашивал тоненьким голосом: «Лос мит дэм, Оскар! Лос мит дэм!»²

На подлодке запасы пресной воды ограничены, и обыч-

¹ Анкерки — бочонки.

² Оставь меня в покое, Оскар! (нем.)



но для умывания ее не хватает. Знакомые офицеры-подводники рассказывали мне, что, отправляясь в плавание, неизменно берут с собой большой флакон одеколона и два полотенца. А тут, понимаете ли, такая благодать — в тундре лайд без счету!

Гальченко, по словам его, особенно злило то, что немцы опиваются нашей водой. «Капли воды не дал бы им, — вспоминал он впоследствии. — Пусть бы подохли все от жажды в своей подлодке!»

Напившись и умывшись, гитлеровцы затеяли играть в чехарду и в салки. Представляете? Земля дрожала от топота их сапог. И не удивительно! Подлодка — это же плавучий стальной коридор. В нем не больно-то разгуляешься и напрыгаешься! А у Ведьминого Носа — простор, солнце, свежий, бодрящий воздух!

Ну, подлинно подгадали наши связисты к самому шабашу ведьм!

«Но что произойдет, — продолжал думать Гальченко, — если кто-нибудь из этих беспечно орущих и хохочущих молодых парней, расскаавшись, приблизится еще метров на десять, заглянет невзначай по эту сторону высокого мыса и увидит нас и нашу шлюпку? Что тогда?»

Об этом, конечно, думал и Тюрин.

Он толкнул Гальченко в бок:

— Гранаты!

А сам, не оглядываясь, подтянул под правый локоть винтовку.

Гранаты лежали в шлюпке. Гальченко быстро сползал за ними и снова улегся рядом с Тюриным.

Его трясло от нетерпения. Живыми все равно отсюда не уйти. Скорей бы тогда бой! Он представлял себе, как раскрасневшаяся харя появляется над кочками. Смотрит на советских связистов, продолжая улыбаться по инерции. И вдруг беззаботной, глупой улыбки как не бывало! Секунда замешательства, и...

Воспользоваться этой секундой! Подняться во весь рост и забросать всю веселую бражку по ту сторону мыса гранатами, прежде чем гитлеровец успеет крикнуть, предупредить своих камрадов!

Не было бы старшего — Тюрина, — наверное, Гальченко так бы и сделал. Глупо, конечно! Ну, разорвал бы в клочья нескольких гитлеровцев и сам бы погиб под пулями, а дальше что? Подлодка благополучно ушла бы в море, и о ней на посту ничего бы не узнали.

Старшой беспокоился о том же, о чем и Гальченко. Опять толкнул его в бок.

— Слышь-ка,— зашептал он над ухом,— а ведь бодяга эта надолго!

— Какая бодяга?

— Заряжаться будут долго. Часа два-три, если не больше, протыркаются с этим.

— Ну и что?

— А то, что мотай-ка живым духом на пост! Доложишь мичману про лодку.

— Как же я оставлю вас, товарищ Тюрин? Умрем, так вместе!

— Вишь ты: умрем! Кому это нужно, что мы оба умрем? Первую заповедь связиста забыл? «Что увидел, сразу о том докладывай!» Зачем немцы, по-твоему, у Ведымина Носа околачиваются? Может, караван наш подстерегают?

— А вдруг они сунутся сюда?

— А вдруг да и не сунутся? Ишь как распрыгались! И грязи много на мысу. Они же чистоплотные. Не захотят грязь на сапогах в свою подлодку тащить. Ну, а уж если сунутся, так я же не один. Гранаты и винтовка при мне! В случае чего, я прикрою тебя огнем.

Гальченко все еще колебался.

— Иди, иди! — грозным шепотом повторил Тюрин.— Я тебе приказываю!

Гальченко, распластавшись, как черепаха, пополз в сторону.

По его словам, невыносимо раздражали хлюпанье и причмокивание оползающего мокрого песка, пугающе громкие — так казалось Гальченко. Но он надеялся, что предательские звуки эти заглушит равномерный гул прибора.

Наконец он выбрался на моховую подстилку, которая бесшумно и мягко пружинила под ним.

Пришлось сделать довольно большой крюк, чтобы, прячась в разлогах и за кочками, отдалиться на достаточное расстояние от гитлеровцев, резвившихся на берегу, как школьники.

Впрочем, они так поглощены были своими играми, что даже не оглядывались на привычно безлюдную тундру. А вахтенный сигнальщик на подлодке, вероятно, смотрел только в сторону моря, хотя ему положено вести круговой обзор.

Наконец, километрах в двух от берега, Гальченко поднялся и побежал.

Как я понимаю, это был почти марафон.

Прямоком по тундре намного ближе до поста, чем морем вдоль извилистого берега, и все же, думаю, насчитывалось километров двенадцать, не меньше.

Гальченко пробежал их одним духом, не останавливаясь. Причем, заметьте, бежал не по ровной дорожке, а по сырой кочковатой тундре.

Моховой покров достигает там, насколько я помню, толщины трех метров — запросто выдерживает летом тяжесть собачьей упряжки и саней с седоком. Однако в тундре много болотистых участков, где мох ненадежен.

Гальченко обегал их, так же как и высокие торфяные кочки, встававшие, как надолбы, на его пути.

Он перепрыгивал с разбега лужи, спотыкался, оскальзывался. Яловые сапоги не были приспособлены для такого бега. Вдобавок на них сразу же налипли комья раскисшей глины. Тогда Гальченко скинул сапоги, забросил их за спину и побежал налегке — босиком. Нет, не ощущал, по его словам, стужи, которая исходила от промороженной насквозь земли. Наоборот! Влажный мох приятно охлаждал разгоряченные ступни.

Посмотрела бы на него мать! Причитая, кинулась бы, наверное, готовить растирания-притирания и горячую ножную ванну с горчицей.

Споткнувшись о кочку, Гальченко упал. И снова запах тундры ударил ему в лицо.

Тут только — лежа — почувствовал он, что силы его на исходе. Чего бы на свете не отдал, лишь бы продолжать лежать так, не шевелясь, час, другой, чувствуя, как силы мало-помалу возвращаются к нему...

Но он переборол себя, вскочил и побежал. Ветер подталкивал его в спину. Когда они шли с Тюриным на веслах к Ведыминому Носу, ветер дул навстречу, тормозя движение. Сейчас он, спасибо ему, был с Гальченко заодно. Он торопил, подгонял, настойчиво свистел в уши: «Скорей, скорей!»

Когда Гальченко прибежал на пост, то сначала не мог произнести ни слова. Стоял перед Конопицыным и, держась за грудь и разевая рот, только прерывисто и шумно дышал.

Но мичман был стреляный воробей. Не расспрашивая ни о чем, командовал Галушке:

— Запускай движок!

На посту сэкономили горючее и запускали движок лишь тогда, когда выходили на связь в эфир.

Тимохин крикнул Конопицыну из радиопалатки:

— Эфир чист. Я готов к передаче!

Гальченко все еще пытался совладать с дыханием. Наконец с паузами ему удалось выдать из себя нечто бесвязное:

— У Ведьминого Носа... подлодка противника... Заряжается... Тюрин послал...

Конопицын кивнул и вытащил блокнот.

Из палатки высунулась рука Тимохина, взяла бланк с внеочередным РДО, Конопицын повернулся к Гальченко, но тут ноги «марафонца» подкосились и он шмякнулся на землю.

Галушка оттащил его в жилую палатку и принялся отпаивать обжигающе горячим чаем — универсальное средство во всех подобных случаях. А затем Гальченко уснул.

Он не знал, что с ближайшего аэродрома поднят был в воздух самолет, который направился к Ведьминому Носу, но, к сожалению, уже не застал там немецкой подводной лодки.

Товарищи рассказали Гальченко, что он проспал богатырским сном десять часов. За это время Тюрин успел благополучно вернуться домой на шлюпке...

Конечно, донесение о вражеской подлодке, которая, обнаглев, устроила стоянку у Ведьминого Носа, было очень важно, и мы в штабе флотилии тотчас же приняли свои меры.

Но вот чего не знали и, конечно, не могли знать связисты поста: с самого начала войны гитлеровцы очень интересовались западным берегом Ямала, и в частности Потаенной. Ведь в лоции Карского моря имелось подробное ее описание.

Медь? Нет, на этом этапе войны военно-морское командование противника заботилось не о меди. Оно с восторгом использовало бы губу Потаенную в качестве секретной стоянки своих подлодок или самолетов, действовавших в Карском море.

Ледяная шеколда? Что из того, что зимой ледяная шеколда, как вы изволили выразиться, задвигалась перед Потаенной? Само собой, имелось в виду лето. А летом мимо Потаенной — в одну и другую сторону — проходили

наши караваны. Куда как удобно для немецко-фашистских подлодок и самолетов, которые прятались бы в глубине губы, отделенной от моря косой!

Но мы опередили гитлеровцев. Узнав о том, что в Потаенной запеленгован наш пост, гитлеровцы, наверное, локти кусали себе от досады.

И все же, представьте, они не отказались от некоторых надежд, о чем я расскажу в дальнейшем.

Запомните одно: все время пост в Потаенной находился под дамокловым мечом! И в августе сорок второго меч этот наконец опустился на голову связистов...

Глава шестая

БЕРЕГ ОТКРЫВАЕТ И ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА

1

Но до этого было еще далеко. Через два дня после гальченковского «марафона» наш очередной караван благополучно проследовал мимо бухты Потаенной. Я находился на одном из кораблей конвоя.

Могу засвидетельствовать, что благодаря хорошему несению службы на посту в Потаенной нам удалось избежать встречи с немецкой подлодкой. Та ли это была подлодка, которую Гальченко и Тюрин видели у Ведьминого Носа, утверждать не берусь, хотя для этого есть некоторые основания. Впрочем, летом немецкие подлодки в одиночку и стаями рыскали по всему Карскому морю, околачиваясь больше у выходов из проливов: Югорского Шара, Маточкина Шара и Карских Ворот. Допускаю, что немецко-фашистское командование, подогреваемое своими радиоразведчиками, направило подлодку к берегам Ямала, чтобы проверить рапорт летчика, якобы уничтожившего пост. Но даже если и так, то задание это было попутным. Для всякого подводника главное — топить корабли противника!

Я не был командиром этого конвоя, шел в качестве пассажира — направлялся как представитель штаба на Диксон для решения ряда служебных вопросов. Думаю, что вы не удивитесь, узнав, что на подходах к Потаенной я ощутил вполне понятное волнение.

Караван, с которым я следовал, был небольшой: танкер и сопровождавшие его два тральщика. Я находился на тральщике.

Мы беспрепятственно миновали Югорский Шар, на подходах к которому обычно затаивались немецкие подлодки. Командир конвоя воспрянул духом.

Несколько дней прошло без происшествий.

Мы, вероятно, были еще в нескольких десятках миль от Потаенной, когда сигнальщик поста — по возвращении в Архангельск я узнал, что это был Калиновский, — увидел подлодку, которая шла под перископом на юго-запад, то есть нам навстречу, прижимаясь к берегу.

Волнение моря было тогда не менее трех баллов. Калиновскому пришлось проявить все свое умение, чтобы заметить в стереотрубу перископ, прячущийся за довольно высокими волнами.

Нет, Калиновский не знал, наша эта подлодка или вражеская. Задача сигнальщика строго ограничена: заметить перископ подлодки, двигающейся вдоль берега курсом на юго-запад, и доложить об этом. Вот и все! А чей это перископ, в штабе военной флотилии разберутся.

Действительно, в то время наших подлодок там не было и не могло быть.

Оповещение о противнике принято было на всех кораблях и береговых частях флотилии, в том числе и на нашем головном тральщике. Немедленно командир конвоя изменил курс, отвернул мористее. На судах каравана пробили боевую тревогу, артиллеристы и пулеметчики заняли свои места, сигнальщикам приказано было усилить наблюдение. И затем с кормы полетели в воду глубинные бомбы, одна серия за другой, «в порядке профилактики», как, усмехаясь, выразился минер.

Таким образом, благодаря образцовому несению службы в Потаенной, немецко-фашистские подводники остались в дураках. Может быть, они разминулись с нами. А может быть, «профилактика» помогла. Кому охота, скажите, лезть под бомбы, которые всколыхнули все вокруг каравана? Фашисты привыкли нападать исподтишка. Но тут фактор внезапности был утерян.

Скажу вам откровенно, я ощутил нечто вроде отцовской гордости.

Ведь именно мне пришла в голову мысль учредить в Потаенной пост наблюдения и связи. И вот не прошло и двух месяцев, как пост, бесспорно, сохранил

жизнь мне и еще десяткам людей, не говоря уже о кораблях и ценном грузе.

Хотелось, сами понимаете, переброситься со связистами двумя-тремя приветствиями. Но, изменив свой курс, корабли слишком отделились от берега — он был уже не виден.

Зато на обратном пути, хотя Потаенную затянула плотная полоса тумана, проблески прожектора все же пробились сквозь нее.

Странно было мне смотреть на узкую полосу берега, которую я положил когда-то на карту, а два месяца назад заселил шестью связистами — отличными советскими парнями.

Берег, подобно черной пантере, то открывал, то закрывал блестящие глаза. Пост требовал от нас опознавательные.

Наши сигнальщики поспешили их дать.

2

— Гордишься небось любимчиками своими? Уберегли тебя и караван от немецкой подлодки? — сказали мне в штабе по возвращении.

Связистов Потаенной считали, быть может не без основания, моими любимцами. Но честью вас заверяю, что я не оказывал им никакой протекции — ни в смысле снабжения, ни в смысле поощрений.

Достаточно сказать, что по штатам военного времени в Потаенной должны были служить одиннадцать связистов. Я же смог послать туда только шесть.

На других постах зачастую было не лучше. И все же донесения поступали отовсюду своевременно, факты наблюдений были достоверными.

Учтите, наши посты были разбросаны на протяжении многих тысяч километров. Я говорю только о материковом берегу, а были посты еще и на островах!

Колоссальный охват работы! Мало того, что ни на секунду нельзя было спускать глаз с моря, чтобы своевременно предупреждать о попытках морского или воздушного десанта, неукоснительно и регулярно надо было обеспечивать безопасность проводки всех караванов в восточной части Баренцева моря, в Белом море и в западной части Арктики.

Кто-то из военно-морских деятелей назвал наши бере-

говые посты нервной системой флота. И эту нервную систему мы, естественно, стремились сделать еще более разветвленной и чуткой.

В штаб Беломорской военной флотилии стекались сигналы со всех наших береговых постов наблюдения и связи. Мы почти физически ощущали эту непрерывную напряженную пульсацию в эфире. Обгоняя друг друга, неслись к нам РДО о движении кораблей и караванов, о выброшенных на берег минах, о появлении над постом советских самолетов, о всплытии вражеских подлодок, о налете на пост внезапно вынырнувшего из-за туч бомбардировщика. Перед глазами штабных работников как бы проплывала беспрестанно меняющаяся панорама, которая с предельной точностью и до мельчайших деталей отражала события, происходившие на огромном военно-морском театре.

Для немецкого разведчика, разбомбившего в тундре старый котлован и кучу плавника на берегу, Потаенная так и осталась Потаенной, то есть надежно скрытым и неуязвимым постом наблюдения и связи. Никто на берегу Ямала не пострадал. Но постам, территориально более близким к тем участкам военно-морского театра, где разыгрывались главные события в сорок первом году, пришлось туго.

Если память не изменяет мне, пост Пумманки подвергался бомбежкам и обстрелам с самолетов шесть раз, пост Вайталаhti — пять раз, пост Цып-Наволоок — три раза, цып-наволоокский участок службы наблюдения и связи и другие строения — что-то около семи или восьми раз.

Больше всего пострадала злосчастная станция Кутова. После пяти воздушных налетов она была разрушена полностью. В Териберке сгорел жилой дом, были убиты три матроса и ранены пять. На Цып-Наволоке был поврежден жилой дом, разрушены отдельные агрегаты, пострадала жилой дом поста Вайталаhti, блиндаж поста Пумманки. Несколько матросов были ранены.

Привожу эти данные по памяти, но с достаточной степенью точности.

Да, враги били по нервам, по нервной системе нашего флота!

И все-таки люди на постах держались. Удивительные это были люди!..

Связисты-новоземельцы, к примеру, предпочитали, не-

смотря на бомбежки, жить не в землянках, а в домах.

Но на Новой Земле были высокие скалы, за которыми постройки не просматривались с моря. В Потаенной никаких скал на берегу не было.

Стало быть, здесь полагалось строить землянки?

Конечно, в отношении комфорта — не блеск, согласен. Это такие ямы в два метра глубиной, вместо крыши настил из досок, устланный толым или рубероидом, сверху вдобавок прикрытый аккуратными квадратами мха и торфа — для тепла и одновременно для маскировки.

Но мичман Конопицын доложил, что рельеф местности на Ямале позволяет строить не землянки, а дом. Я поддержал его рапорт. С моим мнением посчитались, так как я был единственным человеком в штабе, бывавшим в Потаенной.

Строительство дома Конопицыну было разрешено.

Глава седьмая

ЗАПОЛЯРНЫЕ РОБИНЗОНЫ

1

Однако, по словам Гальченко, до середины сентября связисты поста жили еще в палатке.

Затем их, кроме дождя и зарядов, начали нещадно хлестать штормы.

Однажды шквальным порывом чуть было не унесло жилую палатку — ее с трудом удержали за распорки, не то она, как белая бабочка, упорхнула бы в тундру.

Гальченко с опаской поглядывал на вздрагивающий от порывов ветра, колышущийся над головой непрочный полог. Неужели придется жить под ним и зимой? Хотя изнутри палатка подбита байкой, а посередине стоит чугунная печь, все равно не высидишь здесь в тридцатиградусные морозы.

На чугунной печке, стоявшей в палатке, связисты готовили себе пищу.

Запасы, достаточно солидные, не только не таяли, а, словно бы по волшебству, пополнялись день ото дня. Это было связано с уже упоминавшимися мною регуляр-

ными патрульными поездками на шлюпке вдоль побережья.

Предпринимались они обычно после шторма, который срывал мины с якорей и выбрасывал их на берег. Мины мичман Конопицын подрывал самолично — недаром он служил раньше на тральщиках.

Во время патрульных поездок большое внимание Конопицын уделял также плавнику.

Ближайшие к Потаенной «кошки» — маленькие песчаные пляжи — были завалены плавником, великолепным строевым лесом, сибирской сосной и елью, которые остались от разбитых плотов-«сигар» и от пущенных ко дну лесовозов.

Тут-то, карабкаясь по беспорядочно наваленным бревнам, Гальченко понял, каким точным было сравнение со спичками, рассыпанными по столу. Мичман Конопицын, видите ли, был привередлив, он желал «товар» только на выбор! Понравилось ему торчащее из кучи бревно, тукнул топором, удовлетворенно улыбнулся: звенит! Но попробуй-ка вытащи облюбованный «товар» из-под бревен, лежащих наверху!

Среди даров моря иной раз попадалось кое-что и поинтереснее, на взгляд Гальченко, а именно: предметы, уцелевшие после кораблекрушения и прибитые к берегу.

Однажды у полосы прибоя он увидел странный светлый камень, совершенно круглый. Волны то накатывали его на гальку, то неторопливо откатывали в море.

— Подгребай! — приказал Конопицын. — Это окатыш. Ящик с лярдом разбило о камни, лярд всплыл и плавает.

— А почему он круглый, как шар?

— На гальке волной обкатало его. Потому и название — окатыш. Видишь, кое-где в нем галька темнеет, как изюм в булке?

И шар лярда был подобран и улегся на дно шлюпки, чтобы впоследствии отправиться в котел или на сквороду.

Сигнальщик — недреманое око нередко замечал со своей вышки бочки или ящики, плавающие в воде. Тотчас же мичман Конопицын высылал за ними шлюпку. Добычу прибуksировывали к берегу и вскрывали. Гальченко, по его словам, всегда волновала эта процедура. Ну-ка, что за сюрприз приготовило сегодня Карское море? Все-таки он был мальчишкой, что там ни говори, и частенько воображал себя и своих товарищей новыми заполярными робинзонами.

В этом смысле новоземельским робинзонам, понятно, было лучше, чем ямальским. Все, что удерживалось на плаву после потопления кораблей союзных конвоев, направлявшихся в Архангельск или в Мурманск, прибывало именно к западному берегу Новой Земли.

Но немецкие подлодки шныряли взад и вперед также и у Югорского Шара, и у Карских ворот.

Не откажите в любезности — мне отсюда не дотянуться, — справа от вас этажерка, на ней книга Визе «Моря советской Арктики». Нашли? Снимите ее, пожалуйста, и откройте на странице сто пятьдесят пятой. Там показаны траектории движения гидрографических буев и бутылок в Карском море, иначе — направление господствующих ветров и течений. Ну, что? Наглядно убедились в том, как попадали обломки кораблекрушения в Потаенную?

Да, это было эхо войны, овеществленное эхо...

Но и оно перестало доходить до поста с наступлением ледостава.

2

Холод давил, прижимал людей к земле все сильнее.

Перед тем как заступить на вахту, Гальченко и Тимохин долго отогревали руки над благословенным неугасимым примусом. Но уже спустя пятнадцать — двадцать минут пальцы оковывались и прилипали к ключу.

Нежной радиоаппаратуре, кстати, тоже было плохо. В особенности не выносила она промозглой сырости.

А ведь ближайшая ремонтная станция отстояла от поста на сотни километров. Все повреждения приходилось исправлять самим, не обращаясь за помощью к «доброму дяде».

Снегу подваливало и подваливало с неба. Через день, не реже, приходилось откапываться из-под сугробов и пробивать в них глубокие, в половину человеческого роста, траншеи — от палаток до вышки и до штабелей дров, заготовленных впрок.

Будничные хозяйственные заботы отнимали у жителей Потаенной уйму времени, хотя Гальченко, Тимохин, Калининский и Тюрин были заняты на вахте по двенадцать часов в сутки, а порой и больше, если приходилось заменить товарища, уезжавшего в патрульную поездку.

Сон? Ну какой на войне, да еще в Арктике, сон? Галуш-

ка был прав. Поспишь часа три-четыре за сутки, и то хорошо, рад и доволен.

Дома Гальченко, по его словам, был соней. Матери стоило труда добудиться до него утром перед школой. Но на флоте организм как-то перестраивается. Моряки умеют отмерять свой сон почти гомеопатическими дозами. Знаю это по себе. Урвешь, бывало, двадцать — тридцать минут, прикорнешь где-нибудь в уголке в штабе и спишь — не дремлешь, а именно спишь — глубочайшим сном, будто опустился на дно океана. Потом вскинулся, «всплыл» со дна, плеснул в лицо воды похолоднее и опять готов к труду и к обороне.

Кстати сказать, выражение это — «труд и оборона» — чрезвычайно точно характеризовало деятельность связистов Потаенной.

Не забывайте, что строить дом они могли только в свободное от службы время. А много ли оставалось этого свободного времени? Что бы ни происходило вокруг — хоть пожар, хоть землетрясение, — круглосуточную вахту нельзя прерывать ни на миг. А кроме того, нужно еще патрулировать по побережью, ловить рыбу, бить зверя, главным образом нерпу, заготавливать топливо, ежедневно расчищать снег, выпекать хлеб, варить пищу. И на все про все только шесть человек. Вот и ловчи, вертись, комбинируй!

Шишки, по обыкновению, валились больше всего на моториста, но Галушка не жаловался, только покряхтывал. Доставалось и сигнальщикам.

Тимохина и Гальченко мичман Конопицын берег — точнее, руки их берег. Опасался, как бы не повредили на стройке. А ведь пост без рук радиста буквально как без рук! Представляете! Поворочайте-ка на морозе двенадцатиметровые бревна, а потом заступайте на вахту у рации! Гальченко рассказывал, что иной раз он чуть не плакал от досады: ну не гнутся руки-крюки — так одеревенели от холода!

И все-таки он с охотой участвовал в строительстве, которое было увлекательно, как всякое строительство.

Но перед тем как начать строить дом, связисты воздвигли баню. Они без промедления и с огромным удовольствием перебрались из палаток в псе. Туда же перенесли и рацию. Тесно ли было? Полагаю, как в купе бесплацкартного вагона. Нары установлены были в два ряда, а передвигались «пассажиры» по «купе» бочком. Но у тес-

ноты этой имелись и преимущества. Не нужно было вставать с места, чтобы достать со стены или с нар нужный тебе предмет. А главное, дольше сохранялось драгоценное тепло.

Баня, понятно, была только временным жильем, переходным этапом к дому.

Еще засветло, то есть до Октябрьских праздников, связисты заложили его основу. В одном из разлогов расчистили площадку, потом прикатили туда большие валуны из тундры и положили на них бревна первого венца. Фундамент Конопицын клал по старинке, без раствора.

«Как же мы будем работать, когда наступит полярная ночь? — удивлялся Гальченко. — Этак тукнешь топориком и вместо бревна, чего-доброего, по ноге угодишь! И нет ноги!»

Беспокойное Карское море к тому времени уgomонили льды. Слабо всхолмленной пустыней распростерлись они от берега до горизонта.

— Теперь мы за льдами, как за каменной стеной, до лета! — сказал Конопицын.

Он, понимаете ли, имел в виду не только штормы, которые не угрожали больше связистам. Ныне не угрожали им и немцы — разве что с воздуха. Движение караванов по морю полностью прекратилось. Льды загородили Потаенную и как бы отодвинули ее на зиму в тыл.

3

Еще летом, до начала строительства, связисты успели завязать дружбу с ненцами из соседнего стойбища.

Гальченко не помнит случая, когда те гриехали бы в гости с пустыми руками. Привозилась свежая оленина и рыба. В предвидении зимы ненки поспешили сшить связистам по паре лептов¹, по паре пимов², а также по паре отличных рукавиц из камуса.

— Бери! Не стесняйся, бери! — раздавая подарки, говорил старшина стойбища, низенький старичок с таким сморщенным лицом, что казалось, он вот-вот чихнет. — Тебе должно у нас быть хорошо, тепло!

Относительная молодость шестого связиста Потаенной

¹ Лепты — чулки мехом внутрь.

² Пимы — обувь мехом наружу.

вызывала у ненцев особо доброжелательное к нему отношение. Во время пиршества Гальченко подкладывали наиболее вкусные куски жареной оленины или сырой строганины. А рукавицы его были разукрашены самой красивой, цветной аппликацией.

Ненцам не удавалось правильно выговорить его имя: Валентин. Возникали потешные вариации, от которых и хозяева и гости падали со смеху.

Наконец кто-то из гостей, отсмеявшись, спросил Гальченко:

— Как дома тебя матка кличет?

— Валя.

— А, Валья, Валья!

Так он и стал у ненцев Валья...

Рассказывая впоследствии об этом, Гальченко подчеркивал, что только гости из стойбища называли его уменьшительным именем — «как матка кличет». Товарищи обращались к нему всегда уважительно, по-взрослому: Валентин. Заметьте, никто ни разу не сказал: «салага»¹, «салажонок», как обычно говорят новичкам на флоте. Иногда его подзывали: «Эй, молодой!», но ведь в этом, согласитесь, ничего обидного нет. Я сам, ей-богу, с удовольствием откликнулся бы сейчас на такое обращение. Гораздо приятнее, поверьте, чем: «Разрешите обратиться, разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга!..»

Прозвища «шестой связист Потаенной» и «земляк знаменитого киноартиста» с легкой руки шутника Галушки приклеились к Гальченко, но они употреблялись лишь в особо торжественных случаях и почти без улыбки.

Первое время, по свидетельству Гальченко, связистам приходилось умерять охотничий пыл ненцев. Те видеть спокойно не могли мину, оторвавшуюся от якоря и всплывшую на поверхность. Тотчас же принимались палить по ней из ружей. А это было строжайше запрещено.

— Увидишь всплывшую мину, не пали в нее, как в нерпу, а заметь это место и сообщи на пост! — толковывал ненцам Конопицын.

Ненцы послушно кивали. И все же порой не в силах были совладать с древним охотничьим инстинктом. Мина была враг, не так ли? А как можно удержаться от того, чтобы не выстрелить по врагу?

Разумеется, ненцы прониклись большим уважением

¹ Искаженное «салака», небольшая рыбка.

к мичману Конопицыну, распознав в нем справедливого и рачительного хозяина. Он кое в чем по-добрососедски помог им — консервами, мукой, чем-то еще. В ответ связистам сделан был самый ценный по тем местам подарок — две упряжки ездовых собак, двенадцать крепеньких черных и пегих работяг с вопросительно настороженными ушами.

Что ж, ваше предположение вполне вероятно. Допускаю, что были среди них и потомки — в очень отдаленном поколении — тех псов, которые когда-то столь не приветливо встретили нас в Потаенной.

Появление на посту ездовых собак было очень важно потому, что связисты смогли возобновить и уже не прерывать до лета патрульные поездки вдоль побережья на санях.

Гальченко упросил Конопицына отдать ему одну из упряжек.

— Пусть на ней ездят и другие, — говорил он, волнуясь, — но чтобы собаки считались вроде бы как мои. Я сам стану ухаживать за ними, кормить их. И они будут знать только меня. Хорошо, товарищ мичман?

Конопицын кивнул.

Вожаком в упряжке Гальченко был замечательный пес — трудяга и оптимист! Гальченко назвал его Заливашкой, и вот почему. У него был удивительно жизнерадостный лай, на самых высоких нотах, просто собачья колоратура какая-то, иначе не скажешь. Он не лаял, а пел — самозабвенно, с восторгом! И уж зальется — никак его не остановишь!

А когда в порядке поощрения новый хозяин гладил его голову или почесывал за ушами, что пес особенно любил, тот ворковал, по словам Гальченко, — да, буквально ворковал, как тысячи голубей!

Зато уж никому другому не позволялись такие фамильярности. Короче, Заливашка был любимцем шестого связиста Потаенной.

И ведь он спас ему жизнь, этот Заливашка! Не будь его, нырнул бы Гальченко Валентин с разгона напрямиком на дно холодного Карского моря со всей своей упряжкой и санями.

Во время патрульных поездок связисты спускались иногда на морской лед. Делали они это для того, чтобы сократить путь, срезая выступающие в море мысы. Но тут уж полагалось держать ухо востро. По дороге путешест-

венникам попадались опасные съемы. Не слышали о них? Это полынья или тонкий лед, который затягивает воду в полынье. Собаки сломя голову рвутся к таким съемам. Оттуда, понимаете ли, пахнет морской водой, а запах этот, видимо, ассоциируется у собак с нерпой и рыбой.

Упряжка Гальченко шла головной. По сравнительно гладкому льду собаки тянут гораздо быстрее, чем по береговым сугробам. Наслаждаясь этой восхитительной скоростью движения, он как-то зазевался или замечтался. И вдруг рывок, сани резко замедлили ход!

Гальченко увидел, что Заливашка прилег вплотную ко льду и тормозит изо всех сил лапами и брюхом. При этом он еще и грозно рычал на других собак, которые продолжали тянуть вперед.

Вся упряжка круто развернулась влево, ремни перепутались, и собаки остановились, тяжело дыша.

Всего в нескольких метрах впереди темнел предательский съем!

За время длительной поездки глаза привыкают ко мраку, приучаются различать отдельные более темные пятна на фоне льда или снега. Да, это был съем!

— Зря пустил тебя вперед, — сказал Тюрин, подъезжая на своих санях. — Каюр ты пока еще очень плохой.

Гальченко объяснил ему про Заливашку. Тюрин внимательно осмотрел собаку, ощупал лапы ее и туловище. При столь резком рывке пес мог вывихнуть себе плечо. По счастью, обошлось без вывиха. Только подушечки лап были окровавлены, а один коготь сорван — с таким старанием тормозил Заливашка перед съемом, спасая своего хозяина.

Как же было Гальченко не любить своего Заливашку!..

Но все кончилось с ним печально.

Хорошо, расскажу об этом, хотя придется нарушить последовательность моего повествования.

Случай этот, кстати, довольно полно характеризует отношение к Гальченко его товарищей в Потаенной. Старшина Тимохин считал почему-то, что Гальченко балят на посту. «У пяти нянек...» — многозначительно бурчал он себе под нос. Но это была неправда! Нянек? Вот уж нет! Воспитание было чисто спартанским, и вы сейчас убедитесь в этом.

Третьего декабря — Гальченко запомнил эту дату — впервые в жизни ему пришлось применить оружие — по приказанию начальства.



Внезапно характер его любимца испортился. При раздаче мороженой рыбы Заливашка стал огрызаться на собак, а те пугливо шарахались от него, хотя в таких случаях обычно не давали спуска друг другу. Изменился и вид пса. Глаза его покраснели, пушистая пегая шерсть на спине вздыбилась. То и дело он широко разевал пасть и клацал зубами, будто зевал. Гальченко ничего не мог понять.

Тюрин, который пилил у бани дрова, посоветовал привязать собаку к колышку и поскорее разыскать начальника поста. Гальченко так и сделал.

Несколько минут простояли они с Конопицыным перед собакой, которая металась на привязи.

— Заливашечка, бедный мой Заливашечка... — бормотал Гальченко, дрожа от страшного предчувствия. — Что с тобой случилось, скажи мне, что?

Хозяина пес еще узнавал. Когда Гальченко окликнул его, пушистый хвост приветливо качнулся. Но вслед за тем верхняя губа приподнялась, Заливашка оскалился — на хозяина-то! — и жалобно-тоскливо клацнул зубами.

— Отойди! — сказал Конопицын. — Плохо его дело. Жаль, добрый пес был. Тягучий.

— А что это с ним, товарищ мичман?



— Взбесился, разве не видишь?

— Почему?

— Наверно, песец бешеный его покусал. В тундре это бывает.

— Что же теперь делать?

— Пристрелить надо Заливашку, пока других собак не перекусал.

Сердце у Гальченко упало.

— Как пристрелить? — забормотал он. — Заливашку пристрелить?

— Придется, Валентин! Сходи-ка за винтовкой своей.

Будто поняв, о чем идет речь, Заливашка залился безнадежно-тоскливым воем.

— Чтобы я сам его пристрелил? Я же не смогу, товарищ мичман!

— Сможешь! Что это значит — не сможешь? Твоя собака, из твоей упряжки, ты, значит, и должен ее пристрелить. Тюрин, принеси-ка Валентину его винтовку!

Тюрин сбегал за винтовкой, потом они с Конопицыным ушли в баню, которая тогда еще служила жильем связистам. А Гальченко, держа винтовку в руках, остался стоять возле Заливашки.

Ну что вам дальше рассказывать? Делать было нечего,

он выполнил приказ командира. От его выстрела остальные собаки шарахнулись в сторону и завyli...

Плакал ли он? Говорит, что нет, удержался как-то. По его словам, с моря дул очень сильный востер, а слезы на ветру сразу обледеневают, и веки слипаются, не видно ничего.

Вошел он в баню, молча повесил винтовку на бревенчатую стену. Никаких расспросов, никаких соболезнований! Конопицын играл в домино с Галушкой и Тюриным. Гальченко быстро разделся, разулся, вскарабкался на вторую полку и отвернулся к стене. Внизу как ни в чем не бывало продолжали деловито хлопать костяшками.

Несколько минут еще прошло.

— Заснул? — спросил кто-то, кажется, Тюрин.

— Притих. Заснул, надо быть.

Конопицын встал из-за стола, шагнул к нарам и старательно укрыл Гальченко своим тулупом.

— Печка греет сегодня не особо, — пояснил он, словно бы извиняясь перед товарищами. — А ему на вахту через час...

4

Но возвращаюсь к дому в Потаенной.

Строили его полярной ночью, за исключением фундамента. Однако опасения Гальченко в отношении кромешного мрака оказались, по счастью, неосновательными. Мрак был не кромешный.

Примерно между тринадцатью и пятнадцатью часами чуть светлело. Это немного похоже было на предзакатные сумерки. Но как ни старалось, как ни тянулось к Потаенной солнышко из-за горизонта, лучи уже не могли достигнуть ее. И все-таки полдневные сумерки напоминали о том, что где-то, очень далеко, солнце есть и оно обязательно вернется.

Со второй половины ноября над Карским морем воцарилась полярная ночь. Однако строители продолжали работать.

Когда наступало полнолуние, видимость, по словам Гальченко, делалась вполне приличной, гораздо лучше, чем в средних широтах. Правда, тени, отбрасываемые предметами в лунном свете, были совершенно черными. К этому приходилось приспосабливаться.

При свете звезд тоже можно было работать, хотя и не так хорошо. А вот северного сияния Гальченко не терпел. Говорит, что было в нем что-то неприятное, злое, противоестественное.

Со своей стороны, могу подтвердить это ощущение. И я не любил и до сих пор не люблю северного сияния.

Оттенки красок на небе непрерывно переливаются, меняются — от оранжевого до фиолетового. Очертания также самые причудливые, даже изысканные. То свешиваются с неба светящиеся полотнища, прочерченные полосами, тихо колеблющиеся, будто от дуновения невидимого ветра. То возникает вдруг огромный всер из разноцветных, торчащих во все стороны перьев. То в разных участках неба, точно пульсируя, вспыхивают красноватые пятна, с головокружительной быстротой исчезают и снова появляются.

Да, гримасы вероломного полярного божка.

Впрочем, может быть, это чисто индивидуальное восприятие, не знаю. Как бы там ни было, вкусы мои и Гальченко в данном случае полностью совпадают.

Матка¹ дурит на пазорях². Вы вспомнили старинную поморскую примету. Иными словами хотите сказать, что антипатия к северному сиянию вытекала из нашей общей с Гальченко военно-морской профессии? Возможно, и так. Обычно нелегко докопаться до корней иных антипатий или симпатий.

И в самом деле, какого самого уравновешенного штурмана, прокладывающего курс при помощи магнитного компаса, не выведут из себя причуды его в связи с блекло-оранжевыми, красноватыми и фиолетовыми пятнами, пробегающими по небу? Но ведь на большинстве наших кораблей давно уже применяются гирокомпасы — приборы, нечувствительные к магнитным бурям. Да и Гальченко был связистом, а не штурманом.

Вот это дело другое! Вы правы, северное сияние отрицательно влияет на радиосвязь, вызывает сильные помехи. Так с чего же было любить его радистам?

Но главное, думается мне, все же в строительстве дома. Судя по описаниям Гальченко, строителям было очень трудно примениться к вероломно-изменчивому свету, падавшему сверху на снег как бы из гигантского витража.

¹ М а т к а — старинное название магнитного компаса.

² П а з о р и — старинное название северного сияния.

Свет этот внезапно ослабевал или совсем затухал, потом так же внезапно вспыхивал с яркостью, от которой ломило в глазах. Северное сияние вдобавок то и дело меняло свое место на небе. То оно разгоралось прямо над головой, то едва пробивалось издалека сквозь мрак, возникая низко, у самого горизонта, как зарница. Зрению почти невозможно приспособиться к беспрестанным метаморфозам на небе.

Нет, в Потаенной было не до полярной экзотики! Людям нужно работать, а не взирать на небо, засунув руки в брюки и громогласно восхищаясь этой экзотикой!

Предупреждаю: я столь подробно рассказываю про строительство дома, потому что оно имеет непосредственную причинную связь с тем спором, который возник вскоре между связистами Потаенной о послевоенном ее будущем, а через непродолжительное время нашел свое воплощение в эскизе карты...

Забыл сказать, что перед самым ледоставом связисты выловили из воды несколько бочек с горючим и перестали теперь дрожать над каждым его галлоном.

Когда небо было затянуто тучами, мичман Конопицын отдавал приказание Галушке запустить движок. В снег втыкали шест и подвешивали к нему электрическую лампочку. Пускали в ход также фонарь «летучая мышь». Преимущества его, как вам известно, в том, что он не боится ветра. Ламповое стекло было загорожено проволоочной сеткой.

У связистов имелись две «летучие мыши». Одна горела постоянно на вышке, в кабине сигнального наблюдателя. Другая использовалась исключительно на строительстве.

Конечно, все это освещение, то есть луна, звезды, электрическая лампочка на шесте и фонарь «летучая мышь», было менее шикарным, чем десятки «юпитеров», обступивших площадку, где проводятся киносьемки. Но строители не жаловались и не залеживались на нарах. И не больно-то, знаете ли, залежишься, когда мичман Конопицын все время мельтешит перед глазами. Еще раз повторяю: я не ошибся в своем выборе! Это был настоящий боцман: придирчивый, неутомимый, двужильный.

В неподвижном состоянии можно было увидеть начальника поста лишь у штабелей плавника, выловленного из моря. Он примерялся, выбирал самые лучшие, самые прямые, надежные бревна. А что выбирать-то? Все бревна первосортные, специально предназначенные для строек

в Заполярье, толщиной в сорок — пятьдесят сантиметров, вдобавок, будто по заказу, сильно обкатанные прибором.

Кому доставалось от мичмана, так это Галушке! Он, по воспоминаниям Гальченко, был с ленцой, «жил вразвалку». Калиновский однажды пошутил:

— А знаешь ли ты, какая разница между тобой и адмиралом Нельсоном?

— Какая? — осторожно спросил Галушка, подозревая подвох.

— Нельсон говорил о себе, что всегда упреждает свой срок на пятнадцать минут, а ты, наоборот, всегда опаздываешь на пятнадцать минут...

Зато Тюрин на стройке поражал всех. Он проявил удивительную ловкость в плотницком деле. На что уж силен был штангист Калиновский, но и тот, к своей досаде, не мог угнаться за Тюриным в работе.

Говорят свысока: плотницкая работа! Уверен, о Тюрине так не сказали бы. Топор буквально играл в его руках и перевоплощался: то срезал, будто бритвой, тончайшую стружку, то с двух-трех ударов раскалывал толстенное бревно.

Особенно трудно было связистам втаскивать тяжеленные бревна с «кошки» на берег. Десять — двенадцать метров — высота пологого берега. Не шутка! А на стройке могло одновременно работать не более четырех человек.

Однажды, разрешив короткий перекур, мичман Конопицын рассказал историю о том, как он познакомился с двумя замечательными командирами.

— Не за письменным столом, учтите! — сказал Конопицын, строго оглядев всех. — Во время такого же аврала с плавником, только не на берегу, а у причала, в воде.

— С начальством — в воде? — усомнился Галушка.

— Именно в воде! Первый тральщик мой тогда уже потопили, а на второй меня еще не взяли. Находился я, стало быть, в резерве при штабе. И приказали мне доставить кошель бревен в гавань, а потом нагрузить их на баржу. Ну, притащил буксир этот кошель, приткнул его к причалу и ушел куда-то по своим делам. А Северная Двина — она река с норовом, сами знаете. Раскачала мой кошель, пока мы с ним баржи дожидались, и стал он разваливаться у меня на глазах. Вот незадача! Смотрю, бревнышки, будто утята, в разные стороны поплыли. И как на грех, под рукой никого! Только два каких-то незнакомых командира метрах в ста пятидесяти оформ-

ляют у кладовщика свой груз. Делать нечего! По-быстро-му разделся я — и в воду, бревна эти собирать. А что я один-то? Попробуй поворочай в воде в одиночку двенадцатиметровые бревнышки! Слышу, кричат с берега: «Не робей, матрос! Подсобим!» Высунулся из воды, вижу — бегут по причалу два командира и на ходу кители скидывают с себя. Ну и стали мы втроем нырять. Продрогли, конечно, но сбили кошель обратно. А вскорости и баржа к причалу подошла...

Связисты Потаенной выразили единодушное одобрение поступку командиров. А Калиновский тут же вывел мораль:

— В какой другой стране, скажи, офицер полезет в воду, чтобы своему матросу помочь?..

К середине декабря связисты срубили стены и хорошенько проконопачили их. Тамбур был дощатый, но доски пригоняли плотно, одна к одной.

Крышу покрыли листами из железных оцинкованных бочек («дары моря»). Не слышали о подобном архитектурном новшестве? Могу рассказать о нем подробнее.

Да, обыкновенные бочки от американских плотов, доверху набитые капоковой ватой, которая не давала им потонуть!

Связисты Потаенной выламывали днища у этих бочек, разрубали стенки по вертикали, листы, полученные таким способом, разворачивали и выпрямляли, а потом крыли ими крышу, как черепицей.

Чем разрубали бочки? Вопрос законный.

Еще в августе запасливый Конопицын подобрал неподалеку от поста проржавевшее ружьишко, брошенное каким-то охотником, а может, и одним из рабочих Абабкова. Тогда еще Гальченко взял грех на душу, подумал о Конопицыне: «Ну и Плюшкин!» И очень глупо подумал. Когда подошло время строительства, мичман нарубил ствол старого ружья на куски и смастерил из них различные зубила. Ими-то связисты и расправлялись с бочками.

В доме было поставлено две печи — все из тех же американских бочек. Труба была с навесом, чтобы не задувало ветром, а главное, чтобы дым не поднимался стоймя над крышей. О, мичман Конопицын предусмотрел все, в том числе и маскировку! Ведь они были не просто робинзоны, а военные робинзоны!

А вот с окнами было сложнее. Где взять оконные стекла? Море — не универмаг, во всяком случае, оконных

стекол оно не выбросило на «прилавок», иначе — на берег Потаенной.

Мичман Конопицын приказал до весны заколотить окна досками. Все равно за окнами лежала сейчас непроницаемая темь.

С вашего разрешения немного забегу вперед. Ближе к весне связисты заполнили оконные проемы пустыми трехлитровыми бутылками из-под клюквенного экстракта. По три бутылки на окно было достаточно. Их клали набок, горлышком внутрь дома, а пространство вокруг бутылей заполняли камнями и старательно проконопачивали щели между ними.

5

Новый год связисты встретили уже в новом доме.

Были у них, по словам Гальченко, помимо сеней и склада, три комнаты — большая и две маленьких, разделенных перегородкой. В большой, которую по традиции называли кубриком, поселилась команда поста. Двухэтажные нары теснились вокруг печки, тут же стояли стол и стулья, изготовленные из ящиков. Одна из маленьких комнат была отдана под рацию. Находясь в кубрике, люди слушали через дощатую перегородку работу передатчика, мелодичное его позванивание, — музыка эта, знаете ли, по сердцу каждому радисту.

Конопицын поместился во второй комнатке. А в дверном проеме он торжественно навесил дверь, выброшенную волной на берег с прибитой к ней дощечкой: «Кэптен». От морской соли дощечка стала зеленой, но мичман приказал надраить ее, и она засияла, как золотая. Как видите, начальник поста был не чужд некоторого тщеславия.

Он очень огорчался, что у него нет сейфа. Да, таковой, к вашему сведению, полагается начальнику поста для хранения секретных документов. Но какие там сейфы в Потаенной! Всю зиму Конопицыну пришлось скрепя сердце обходиться брезентовым, с замком, портфельчиком. На ночь он укладывал его под подушку.

В канун Нового года связисты перебрались в дом, и баня была наконец-то использована по прямому своему назначению. «С сего числа перешли в фазу блаженства!» — улыбаясь, отметил Галушка.

Гальченко рассказывал мне, что до этого связисты Потаенной мыслись кое-как — сначала в палатке, потом в недостроенном доме, успев лишь возвести стены и накрыть их крышей. Сами можете вообразить, что это было за мытье. Голову моешь, а холод по голым ногам хлещет!

Теперь двухручной пилой напилили снегу — Гальченко долго не мог привыкнуть к тому, что снег в Арктике не копают, а пилят, — потом завалили белые брикеты в котел, натаскали дров. Галушка вызвался протопить печь, но проявил при этом чрезмерное рвение и чуть было не задохся — столько напустил дыму. Баня была хорошенько проветрена, отдушина закрыта, и связисты приступили к священнодействию. Мылись, надо полагать, истово, по-русски.

Именно фаза блаженства!

И вот жители Потаенной, свободные от вахты, усаживаются за новогодний праздничный стол — красные, как индейцы, распаренные, довольные...

О, я забыл рассказать вам об освещении! Оно было роскошным! Обычно связисты, как я говорил, обходились одной семилинейной керосиновой лампешкой в кубрике. Сейчас — ради праздника — ламп насчитывалось четыре! Стекла на трех из них были самодельные — из бутылок и консервных банок.

Насколько могу судить по рассказам Гальченко, проблема лампового стекла стояла в Потаенной очень остро. Не забывайте, что со второй половины ноября и до середины января здесь царила ночь. Поэтому искусственное освещение играло огромную роль в жизни. Движок, как я уже вам докладывал, работал только для зарядки аккумуляторов, а также в тех редких случаях, когда Конопицын во время аврала на строительстве приказывал подвешивать к шести электрическую лампочку. В быту и в повседневной работе приходилось обходиться керосиновыми лампами.

Но ламповое стекло, привезенное из Архангельска, от резкой смены температур лопалось. Запасов его, увы, не было. Поэтому в Потаенной широко применялись использованные стеклянные банки из-под консервов и пустые бутылки. Их ни в коем случае не выбрасывали, а немедленно пускали в дело или приберегали.

Гальченко с удовольствием описал мне эту нехитрую «робинзонскую технику».

На донышко бутылки или банки наливалось немного

горячего машинного масла, затем ее опускали в снег. Миг — и донышко обрезано, как по ниточке!

Сосредоточенно сопя, Тимохин прикреплял к лампе сработанный им металлический диск. На таковой устанавливалось полученное описанным способом стекло, над ним приделывали картонный или жестяной абажур. Но это уже были детали.

Самодельные ламповые стекла, по оценке Гальченко, служили, в общем, добросовестно, но, к сожалению, недолго. Они, понимаете ли, были чересчур толсты и спустя какое-то время лопались.

Огорченный Конопицын пробовал приспособить для освещения кухтыли¹. Они также относились к «дарам моря», которые были подобраны летом. Волны разрывали веревочную оплетку, кухтыли освобождались от нее и, весело подпрыгивая, носились туда и сюда, будто радуясь возможности побездельничать.

Требовалось пробить в кухтыле две дыры — сверху и снизу, чтобы превратить его в ламповое стекло. Однако это редко удавалось даже Тимохину. При опускании в снег кухтыль обычно разлетался на куски...

Но это лишь необходимое пояснение. Сделав его, возвращаемся в кубрик.

Итак, помещение чисто прибрано. Пол сверкает. Четыре семилинейных лампы торжественно расставлены по углам.

Шурясь от непривычно яркого света и улыбаясь друг другу, Конопицын, Тюрин, Галушка и Гальченко сидят за столом. Старшин Тимохина и Калиновского нет. Они несут новогоднюю вахту.

На столе фляга. Мичман Конопицын разливает спирт по чашкам, а водой сотрапезники разбавляют уже по вкусу.

Выпито сначала за победу, потом — по военной традиции — за Верховного Главнокомандующего...

— Жаль, начальство из Архангельска не присутствует на нашем банкете! — вздохнул Конопицын, доливая в чашки остатки спирта.

За столом изумились.

— А на биса воно нам, начальство, та ще й под Новый год? — спросил Галушка.

¹ Кухтыли — стеклянные поплавки, которые служат для поддержания в воде рыбачьих сетей.

— А как же! Чтобы оно ходило вокруг дома, ахало и удивлялось: ну и дом! Это же надо — зимой в условиях Арктики отгрохать такой дом! А потом, наудивлявшись, чтобы поощрило лучшего строителя ценным подарком. Кто у нас лучший строитель?

— Вы?

— Не угадал. Славный холмогорец-краснофлотец Тюрин! Так выпьем же разгонную за его здоровье!

От неожиданности Тюрин поперхнулся и раскашлялся. Переживая этот шумный приступ смущения, Конопицын повернулся к Гальченко:

— А ты и не знал, Валентин, что Тюрин у нас родовой человек? Ого! Еще и какой родовитый! На таких, как он, раньше вся Новая Земля держалась.

Этого Гальченко не знал. Тюрин, как я уже говорил, был из молчаливых. Да и при взгляде на него как-то не очень верилось, что ему есть что порассказать.

— Расспроси хотя бы,— продолжал Конопицын,— как он невзначай наткнулся на могилу предка своего.

Но Тюрин еще больше застенялся, стал отнекиваться, бормотать, что, может, это вовсе и не предок его был, и самому Конопицыну пришлось рассказать.

До войны Тюрин промышлял, то есть охотился, с отцом на Новой Земле. Как-то раз ехали они на собаках, пересекая скалистое ущелье, подножие ледника, и вдруг увидели перед собой крест, врытый в землю. Поперечная перекладина отсутствовала — давно уже, видимо, сорвало ее ветром. В столб ножом врезана была надпись большими прямыми буквами: «Здесь жили, зимовали, горе горевали холмогорец Яков Ильич со товарищи. Мир праху их!» Ни даты, ни фамилий. Сами себе, стало быть, загодя устроили отпевание, когда на спасение не осталось уже ни малейшей надежды. Отец приказал Тюрину списать эту надпись на бумажку. Хотел дома разузнать у старых людей о Якове Ильиче. Может, то был дальний родич, о котором сохранялись смутные семейные предания? Война, однако, помешала выполнить это намерение.

Гальченко собирался поподробнее расспросить Тюрина о том, как выглядел деревянный крест без перекладины, но тут мичман приказал ему отнести праздничный ужин на сигнально-наблюдательный пост Калиновскому.

Ночь была настоящая новогодняя — лунная. Но это заставляло сигнальщика-наблюдателя удвоить бдительность. Именно в такую ясную погоду можно было

ждать очередного налета немецкого бомбардировщика.

Мокрый нос ткнулся Гальченко в руку. Раздалось требовательное повизгивание. Это вожак его упряжки, заменивший Заливашку, напоминал о себе, нетерпеливо ожидая почесывания за ушами и ласкового оклика.

Гальченко рассеянно погладил пса, а тот благодарно, всем туловищем, прижался к его ногам.

Впоследствии, описывая тогдашнее свое настроение, шестой связист Потаенной сказал мне, что он загляделся на луну.

Где-то в небе, в одном из секретов его, думал он, возможно, таится опасность с черно-желтым крестом на фюзеляже, неотвратно приближающаяся. И все же в эту новогоднюю ночь небо было непередаваемо прекрасно. Медлительное мерцание словно бы чуть колеблет плотный морозный воздух и неуловимо переходит в мерцание всхолмленной ледяной поверхности моря под обрывом.

Все вокруг — мерцание! В нем как бы растворяются очертания предметов, расстояние до них делается неверным, обманчивым. Гальченко отошел от дома всего несколько метров и, оглянувшись, удивился: что это? Дом со снежной нахлобучкой утонул в огромных сугробах, стал неотличим от них, исчез из глаз.

Гальченко вспомнил о своих товарищах, оставшихся там, в одном из этих искрящихся сугробов, за праздничным новогодним ужином.

И вот что пришло в голову шестому связисту Потаенной: а ведь это ему повезло, удивительно повезло в жизни, что у него такие товарищи!..

Но тут преемник Заливашки, встав на задние лапы, уперся передними в грудь Гальченко, жадно приняхиваясь к свертку с едой.

Крутая лестница внутри гидрографического знака заходила под ногами ходуном. Гальченко поднимался в полнейшем мраке, крепко прижимая к себе сверток с едой и железную банку с чаем, заботливо завернутые в ватник.

— Ты, Валентин?

— Я, товарищ старшина. Покушать вам и попить принес.

— А, чай! Горячий! Это хорошо. Ветер с моря задул.

Пока Гальченко взбирался по лестнице, погода изменилась — обычные штучки Потаенной. Небо со звездами и луной заволокло дымкой. Над замерзшим морем наперегонки понесли маленькие вихри.

Башнеподобная фигура в тулупе до пят двинулась Гальченко навстречу.

— Клади сюда! Осторожней! Лампу не свали! Ну как там внизу дела у вас? Перевернули чарочку за победу? А я пока чайком погреюсь. С вахты сменяюсь, дома тоже чарочку переверну за победу. Сейчас вся Россия, я думаю, пьет за это...

Гальченко раскутал ватник, положил на стол пакет и рядом с лампой поставил банку. Со стороны моря стекло «летучей мыши» загорожено было металлическим щитком. Только круг света падал на раскрытый вахтенный журнал.

Ого, запуржило! Вот тебе и новогоднее лунное небо!

Кинжальными ударами ветер пронизывал кабину, сбитую из досок. Пол дрожмя дрожал под ногами, пламя в лампе под колпаком колебалось и подпрыгивало.

Гидрографический знак словно бы даже кренило. Гальченко почудилось, что и вышку, и его, и Калиновского подхватило ветром и вместе со всей Потаенной потащило куда-то на запад над ледяной пустыней моря.

— Ну, с Новым годом тебя, Валентин! — сказал Калиновский, поднимая кружку с чаем.

— И вас, товарищ старшина!

«Какой же он будет, — подумал Гальченко, — этот новый, 1942 год? Что он принесет России и нам в Потаенной?..»

Глава восьмая

РУКИ ЗАГРЕБУЩИЕ

1

Мы в штабе, признаться, сами с тревогой думали об этом в новогоднюю праздничную ночь.

Известно было, что гитлеровское военно-морское командование непрерывно наращивает силы в фиордах Северной Норвегии.

Бросьте взгляд на карту, и вы убедитесь в том, что эти фиорды, глубокие скалистые коридоры, чрезвычайно удобны для засады. Они находились как раз на пути союзных конвоев, направлявшихся с военными грузами в Мурманск и Архангельск. Немецко-фашистские самолеты, барражи-

ровавшие над Норвежским и Баренцевым морями, доносили о приближении очередного конвоя, и тотчас же из фиордов наперехват выходили военные корабли.

Однако, судя по событиям, развернувшимся позже, в августе 1942 года гитлеровское командование вынашивало планы ударов не только по нашим внешним, но и по внутренним коммуникациям, то есть по Центральной Арктике.

В связи с этим позвольте напомнить вам о гезелльшафтах. Дело прошлое, сугубо давнее, однако иной раз, я считаю, не мешает кое-что перетряхнуть в памяти. Имею в виду те немецкие акционерные общества и компании, а также отдельных капиталистов, которые во время Великой Отечественной войны нацеливались на богатства Советского Союза.

Это, как вы знаете, полностью вытекало из программы, начертанной в «Майн Кампф». В качестве компенсации за африканские колонии, утраченные Германией после первой мировой войны, Гитлер посулил своим капиталистам «обширные, богатые полезными ископаемыми, малонаселенные пространства на востоке», проще говоря, предлагал колонизировать нашу Россию.

Приглашение к грабежу было воспринято, само собой, с радостью. Немецкие капиталисты всерьез возомнили себя наследниками русских капиталистов, всех этих Вавельсбергов, Алферовых, Зеефельдтов, Абабковых и прочих.

В общем, как в старинном присловье: «Глаза завидушие, руки загребушие...»

Дележка шкуры неубитого русского медведя началась, как известно, сразу после первых временных успехов немецко-фашистских войск. Следом за армией, словно шакалы за тигром, двинулись в Советский Союз дельцы-мародеры. Были среди них представители старинных солидных фирм, давно точивших зубы на «русское наследство», были дельцы и помельче, скоробогачи военного образца, у которых, ввиду благоприятной конъюнктуры, я думаю, ладони чесались от нетерпения.

Повизгивая от жадности и отпихивая друг друга, дельцы третьего рейха заграбастали никопольский марганец, донецкий уголь, недавно открытую украинскую нефть, уцелевшие от взрывов заводы, фабрики, рудники, верфи, короче, все ценное, что оставалось на временно оккупированной гитлеровцами территории.

Насколько могу судить, это была подлинная вакханалия предпринимательства. Она захватила, по моим сведениям, многих немецко-фашистских офицеров и солдат, что, кстати сказать, способствовало моральному разложению гитлеровской армии.

Мне рассказывали, что во временно оккупированном Харькове, например, немецкая солдатня бойко спекулировала дефицитной солью, доставляя ее контрабандой из Донбасса на военных грузовиках. Гитлеровцы стремились не только завоевывать, но одновременно и обогащаться. Вот именно подлинный ажиотаж наживы!

Частная инициатива среди «туземного населения» поощрялась, но со значительными ограничениями. Предел «деловой карьеры» «туземца» был определен: он мог стать содержателем кафе, закусочной, владельцем шляпной мастерской или парикмахерской, наконец, хозяином комиссионного магазина. Да, мелкая хищная рыбешка, в большинстве своем бывшие нэпманы, а ныне приживалы при завоевателе — иностранном капиталисте. Понятно, такой подвизающийся на задворках владелец парикмахерской или комиссионного магазина ни в коем случае не мог стать промышленником или банкиром в третьем рейхе. Это исключалось абсолютно. Гитлеровцы ни с кем не собирались делиться награбленными в России богатствами — углем, марганцем, нефтью и так далее.

Скажем, купчине Абабкову, к величайшему его огорчению, не было бы места в этой онемеченной России. Одним махом он сбрасывался со счетов своими более могущественными конкурентами.

Худо пришлось бы и бывшим русским помещикам, которые столько лет томились в эмиграции. Им нечего было бы делать в России, превращенной в колонию третьего рейха. Наша русская земля предназначалась для раздачи гитлеровским офицерам и солдатам, отличившимся на войне.

Думаю, что даже судьба содержателей всех этих микроскопических кафе-закусочных была предрешена. Им с течением времени предстояло пополнить собой толпы рабов. Да, раса рабов — раса господ!

Спору нет, немецкие господа поторопились со своими прожектами. Но когда человеком овладевает этот сумасшедший ажиотаж приобретательства и накопительства, человек, как правило, глупеет. Сужу по опыту своего кратковременного знакомства с Абабковым.

Воображение немецких предпринимателей чрезвычайно распаляло при этом наш Крайний Север. Им, несомненно, известно было о норильском никеле, о воркутинском угле, о большеземельском олове, наконец, о лежащих в земле Таймыра кобальте, меди, платине, серебре.

Совершенно точно! Сказочный ларец с сокровищами!

Информация, впрочем, не всегда была правильной. Из мемуаров подводника, высаживавшегося с десантом в Потаенной, явствует, что он рассчитывал обнаружить там медь. Стало быть, не знал, не был предупрежден, что залежи ее уже выбраны.

Возможно, немцев сбили с толку образцы меди, которые и по сей день, кажется, выставлены в бергенском музее. Как попали они туда, не сумею вам объяснить. Но я видел их собственными глазами вскоре после войны, когда побывал в гостях в Бергене с отрядом наших военных кораблей. Два или три образца лежали там под стеклянным колпаком, а рядом на столе прикреплена была карточка с пояснительной надписью: «Русская медь «потайнит». И краткий комментарий к образцам: «В таком — твердом — состоянии медь чрезвычайно редко встречается в природе. Обнаружена на восточном берегу Карского моря в 1912 году».

Да, да, «потайнит»! Значит, образцы были доставлены в Берген уже после того, как я окрестил губу и положил ее на карту!

Не знаю, было ли это все, что осталось из личных запасов Абабкова. Может быть, образцы подобрал в Архангельске какой-нибудь английский офицер, находившийся там с оккупационным корпусом в 1918 году? Не исключаю такой возможности: он доставил их в Англию, после чего те неизвестным путем попали в Норвегию.

В конце концов, дело могло обойтись и без образцов, выставленных под колпаком в бергенском музее.

Представьте себе, что гитлеровцам рассказал о залежах меди в Потаенной не кто иной, как беспутный Атька. Понимаете ли, просто он переменял хозяина, только и всего!

А что вы думаете, вполне допускаю такой вариант! И в этом была бы даже некая внутренняя закономерность.

В Петрограде ходили слухи, что Атьку расстреляли в Крыму, после того как Красная Армия вышвырнула оттуда

барона Врангеля. Затем — менее уверенно — заговорили о том, что еще в 1917 году Атьке удалось убраться из Крыма вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Колчаком. Передавали, что Атька будто бы сопровождал адмирала в Америку, потом в Харбин и Омск и принимал участие в сибирской аванюре. Вскорости Колчака расстреляли в Иркутске. Как видите, с самого начала и до конца Атьке не везло на покровителей.

Но жизнь свою он сберег. По слухам, в середине двадцатых годов его видели в Берлине.

3

Чтобы восстановить дальнейшую жизнь бывшего Пятницы, нам с вами придется опираться лишь на догадки. Могу предположить — и в этом опять же будет внутренняя закономерность, то есть логика событий, — что после разных мытарств он наконец очутился в Берлине. К тому времени бывший друг моего детства полностью «усовершенствовался» и был готов на все. То есть пропился, проигрался, опустился до того, что продал бы любому за кружку пива свою родину.

Ютась в Берлине на задворках эмиграции, не имея ни гроша в кармане, этот херувимчик с кудряшками, наверное уже изрядно повылезшими от житейских невзгод, стал, так сказать, наводчиком. А что? Амплуа для него подходящее.

Чем черт не шутит, он мог сделать карьеру в третьем райхе! По моральным своим качествам вполне подходил гитлеровцам. По деловым? Да, и по деловым. Он был не глуп — понятно, в трезвом состоянии, — владел, кроме того, двумя-тремя иностранными языками. Затем все-таки был гидрографом, бывшим военным моряком! Глава абвера Канарис, как вам известно, сам был военным моряком. Именно это обстоятельство могло расположить его к Атьке. Я не раз замечал, что пустячные, казалось бы, обстоятельства оказывают иногда решающее влияние на судьбу человека.

Об Атьке я подумал сразу, едва нашел в мемуарах немецко-фашистского подводника упоминание о русском переводчике. Переводчик-наводчик!

Повторяю, фамилия Атьки в мемуарах не названа,

иначе зачем бы я вытягивал перед вами всю эту длинную цепь предположений и умозаключений? Понимаете ли, не утверждаю, что это Атька, но предполагаю, и, по-моему, с весьма большой долей вероятности.

Во время пиратского рейда в Карское море гитлеровцы в качестве одной из своих задач ставили перед собой экономическую разведку. Это не подлежит сомнению. Первое доказательство: переводчик хотел расспросить о медных рудниках последнего оставшегося в живых связиста Потаенной, но на это уже не хватило времени. Второе доказательство: набег «Шеера», как я говорил, носил кодовое название — «Операция Вундерланд — Страна Чудес». А гитлеровцы называли свои операции многозначительно, со скрытым значением, и в то же время довольно прозрачно.

Не знаю, какого хозяина выбрал себе Атька на этот раз — Флика, или Круппа, или Германа Геринга, иначе говоря, какие гезельшафты третьего райха были заинтересованы в захвате богатств нашей Арктики, в том числе и меди в Потаенной. Выяснить это — дело наших историков и экономистов. Но уже в марте 1942 года началась в Северной Норвегии, оккупированной гитлеровцами, подготовка к рейду «Шеера» в Центральную Арктику.

Не исключено поэтому, что Атька, напялив на себя немецкий мундир, в предвкушении денежных наград уже расхаживал в марте 1942 года где-нибудь на причалах Нарвика или Тронхейма.

«Адмирал Шеер» и его эскорт были готовы к пиратскому рейду в советскую Центральную Арктику.

Фигурально выражаясь, зловещая тень поднималась над скалами Северной Норвегии, чтобы, постепенно удлиняясь, упасть на берег Карского моря, где в воображении шести связистов Потаенной уже строились новый заполярный порт и город...

Такова синхронность событий.

Глава девятая

«БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН»

1

Обитатели Потаенной не мешкали. Построив дом, без промедления приступили к новому строительству, на этот раз в своем воображении. И тут уж главным архитектором и прорабом был не мичман Конопицын. Кто же? Правильно. Гальченко.

Но для того чтобы вам стал яснее ход его мыслей, вы должны постараться представить себе, как связисты Потаенной проводили свой досуг, ибо и у них, несмотря ни на что, был досуг, особенно после того, как дом был построен. Руки в какой-то мере освободились, а вместе с ними освободился и мозг.

Я, кажется, упоминал о том, что перед отъездом из Архангельска связистов забыли снабдить книгами? Зато домино было, и оно, как говорится, не простаивало.

По рассказам Гальченко, вечерами в кубрике поднималась такая пальба, словно бы это ковбой, сойдя с экрана, яростно перестреливались через стол из кольтов сорок пятого калибра.

Гальченко очень удивлялся азарту этой, казалось бы, совершенно безобидной игры, придуманной молчаливыми монахами-доминиканцами. Лишь в Потаенной стала понятна ему снайперская точность выражения: «забивать козла», да еще «морского»! Именно забивать!

Старшина Калиновский относился к домино отрицательно.

— Шибко умственная игра,— говорил он, поджимая губы.— По степени мозгового напряжения следующая за перетягиванием каната.

Но и ему пришлось унизиться до «шибко умственной» игры. Выяснилось, что он напрасно привез с собой шахматы в Потасннюю. Никто, кроме Гальченко, не отличал на посту ладьи от пешки, а он неизменно отказывался играть, отговариваясь неумением. Не мог забыть Калиновскому, что тот еще на «Сибирякове» сказал: «Да, ты плохо играешь!» — и со скучающим выражением лица спрятал шахматы обратно в свой сундучок.

В пятнадцать-шестнадцать лет, знаете ли, подростки очень самолюбивы и обидчивы.

Патефон? Он утешал обитателей Потаенной недолго, месяца полтора или два. Первое время то и дело раздавалось в палатке (связисты тогда жили еще в палатке):

— Валентин! Сыграй-ка что-нибудь раздражающее!

Этим «раздражающим» была все та же «Шалёнка», единственная пластинка на посту. Гальченко вытаскивал патефон из-под нар. Перестрелка костяшками на несколько минут затихала. Держа костяшки в руках и склонив голову набок, игроки в молчании слушали про серую лошадку и черноглазую девчонку.

Однако прискучила и пластинка. В конце концов мичман Конопицын распорядился «провертывать» ее только по праздникам...

— Тихо у нас чересчур,— пожаловался однажды Гальченко Конопицыну.

— Тихо? Да ты что! А пурга вон завывает, воем за стеной!

— Так то за стеной. А внутри, если бы не стучали костяшками...

— Тебя бы, Валентин, в тот дом, где размещается ансамбль нашего северного флота! — оживившись, сказал Галушка. — Я три дня в нем жил, когда в Полярное прибыл с «гражданки». Вот где, братцы, веселье! Целый день на инструментах играют, на разные голоса поют, а уж пляшут — дом дрожмя дрожит! Как я там выжил со своей хрупкой нервной системой... Вроде бы меня в середину патефона затолкали!

— У нас тут не больно растанцуешься,— рассудительно заметил Тюрин. — Шаг до нар, три шага до двери — вот те и весь танец!

Итак, книг нет, патефон с одной-единственной пластинкой, да и то разрешенной к прослушиванию только по праздникам. Что же оставалось делать? Разговаривать?..

Есть у замечательного военно-морского писателя Сергея Колбасьева высказывание по этому поводу.

Попробую процитировать на память, в случае чего, поправьте!

«Веселый рассказ в кают-компани,— говорит Колбасьев,— отвлекает от повседневных забот и огорчений судовой жизни и вообще помогает существовать в обстановке не всегда веселой».

А ведь правда, было сходство между этим одиноким постом и кораблем, находящимся в длительном плавании.

Кстати, вы никогда не задумывались над тем, почему

на флоте образовался как бы собственный свой язык, живописный, лаконичный, изобилующий самыми неожиданными хлесткими сравнениями? Ну, пусть не язык, пусть особый флотский диалект! Скажете: моряки хотят подчеркнуть обособленность романтического мирка, в котором живут. Отчасти и это, вы правы. Но дело здесь не в романтике моря. Думаю, как раз наоборот!

Вот моя гипотеза. На корабле, то есть на сравнительно малом, замкнутом пространстве, люди вынуждены общаться только друг с другом, причем подолгу. Жизнь на походе; знаете ли, сравнительно однообразна. Ну, море вокруг; ну, волны! И берега долгожданного не видать по неделям; а то и по месяцам.

Нужен, стало быть, допинг. И тогда для душевного взбадривания пускают в ход крепко просоленную морскую шутку или неожиданное красочное сравнение.

Так я понимаю происхождение и развитие нашего особого военно-морского диалекта. Впрочем, не настаиваю на этом объяснении. Сказал: гипотеза! Найдете объяснение получше, не обижусь...

В Потаенной происходило примерно то же, что происходит на корабле, который находится в длительном плавании.

О войне, о трудностях и опасностях войны, как я догадываюсь, говорилось мало, вскользь. Психологически это вам понятно, не так ли? Война для Гальченко и его товарищей была работой, а отдыхая, не говорят о работе, наоборот, стараются переключить мысли на что-нибудь другое.

Зато шутка была в большой цене.

Но вот что важно подчеркнуть: в первые месяцы Гальченко не являлся их объектом.

По свидетельству его, это было особенностью поста в Потаенной. Здесь начисто обошлись без флотских, освященных временем подначек и розыгрышей новичка.

Никто не сказал ему: «Принеси ведро компрессии!»¹

Между тем сколько салаг начинали суетиться на месте, озираясь с растерянным лицом, ища, где же эта диковинная, никогда не виданная ими жидкость — компрессия? А шутники, ослабев от смеха, валились на свои койки как подстреленные.

¹ Компрессия — технический термин, означает уменьшение объема воздуха в цилиндре.

Никто не сказал ему: «Ну-ка, браток, осади кнехт!¹ Да силенок-то, силенок не жалей!»

Между тем сколько доверчивых салаг, получив такое приказание и, желая помочь, принимались, на потеху шутникам, размахивать кувалдой над кнехтом, который не сдвинуть и крану.

Тимохин ни разу не сказал: «Не в службу, а в дружбу, разгони помехи², молодой. А метелочка вон в углу!»

А когда на первых порах Гальченко оговаривался и вместо «шлюпка подошла» докладывал: «шлюпка подъехала», от чего, как известно, моряка передергивает, будто музыканта, услышавшего фальшивую ноту, мичман Конопицын не бросал снисходительно: «Ну, что делать! Коли подъехала, так распряги ее и дай ей овса!»

В армии, насколько я знаю, существует только один, ставший классическим розыгрыш. Первогодка спрашивают с серьезными лицами, сколько весит мулѣк?³ О! Наши флотские куда изобретательнее в этом отношении!

Множество отличных, безотказных, многократно проверенных розыгрышей, которыми буквально бомбардируют новичка на флоте, остались в Потаенной неиспользованными. Почему? Гальченко так и не смог мне объяснить. Война ли поломала некоторые флотские традиции, просто ли товарищи щадили его самолюбие, отдавая себе отчет в том, как трудно дается служба такому юнцу.

Между собой-то они не церемонились, напропалую острили друг над другом. Но Гальченко удостоился этого лишь после того, как совершил свой пресловутый марафон по тундре. Первая товарищеская шутка в его адрес — это были как бы пожалованные наконец золотые рыцарские шпоры. Значит, он уже не салага, воюет на равных с остальными связистами и нежничать с ним не приходится.

2

Однако с некоторого времени на посту начали наблюдаться опасные признаки.

Люди сделались более раздражительными, неуступ-

¹ Кнехты — чугунные стойки на корабле и на причале, за которые при швартовке крепят швартовы.

² Имеются в виду радиопомехи.

³ Мулѣк — отверстие мушки на винтовке.

чивыми, нервными. Иногда у Гальченко возникало ощущение, что в кубрике, того и гляди, вспыхнет ссора, причем нелепая, глупая, по самому пустячному поводу.

Как-то прорвало — из-за чего, Гальченко забыл — самого уравновешенного из связистов Галушку.

— Ну и характер у тебя, старшина, не дай бог! — сказал он с раздражением Тимохину. — Не хотел бы я жить с тобой в одной коммунальной квартире!

— А на посту живешь? — буркнул Тимохин.

Галушка красноречиво пожал плечами:

— Так то ж пост! Приходится жить. Что поделаешь: война!

Есть поговорка: «В тесноте, да не в обиде». Глупая это поговорка, вот что я вам скажу! От тесноты чаще всего как раз и заводятся разные обиды. Вообразите: день за днем видишь одни и те же лица, слышишь одни и те же голоса. И главное, внешних впечатлений было, в общем-то, мало. Зимой война гроыхала где-то очень далеко — на западе, за горизонтом.

И бесконечно тянулась и тянулась полярная ночь.

Психика человеческая ослабевает на исходе ночи — это подтверждают врачи. Как я понимаю, внезапно происходит резкий упадок жизненных сил. Не задумывались над этим? Но именно перед рассветом умирает так много тяжелобольных. И, по данным статистики, большинство самоубийств совершается перед рассветом.

Последние недели полярной ночи, несомненно, самые тягостные. Восхода солнца ждешь, как узник ждет освобождения из своей тесной темной камеры... Согласен с вами, сказывается, конечно, и нехватка витаминов в организме. А может, это просто взрыв усталости, которая накапливалась постепенно за зиму?

Только военная дисциплина, поддерживаемая на посту твердой рукой мичмана Конопицына, не давала нервам окончательно отказаться и забарахлить.

И вдруг Гальченко удалось в этом отношении оказать помощь мичману Конопицыну. Из скромного слушателя и неотвязного вопрошателя, в каком-то качестве он пребывал довольно долго, земляк знаменитого киноартиста превратился вдруг в рассказчика, да еще какого! В некое подобие заполярной Шехерезады!

Как ни странно, связано это было с отсутствием в Потенной киноустановки.

Были у нас на флотилии посты, где имела такая уста-

новка. Например, пост Колгуев. Не уверен, что она сохранилась после войны, но до войны была там наверняка. Связистам Потаенной рассказал о ней Галушка, который весной сорок первого года служил на Колгуеве.

Фильмов, правда, было всего пять, немые, начала тридцатых годов. Их на посту знали наизусть и все-таки не уставали смотреть.

В кубрике, так рассказывал Галушка, закреплялась на стене простыня, разутюженная с особым старанием, чтобы не морщила. Движок крутили по очереди. Картину смотрели человек пять-шесть, свободные от вахты. Лента часто рвалась, но это никого не смущало и не раздражало. В интервалах зрители вслух пересказывали друг другу содержание пропущенных кусков, как бы суфлируя кино-механику.

Да, это была жизнь!

И вот, представьте, Гальченко неожиданно заменил товарищам отсутствующую на посту киноустановку!

Началось это так.

— Вот ты, Валентин,— сказал Галушка, зевая,— говоришь, что есть у тебя земляк-киноартист.

— Ну, есть. А ты что — не веришь?

— Почему не верю? Я верю. Надо бы было тебе с ним переговорить перед войной. Может, и тебя в киноартисты устроил бы, а?

— Нет,— с сожалением сказал Гальченко.— Я только раз его и видел. В соборе.

— Почему в соборе? — с удивлением спросил Галушка.

— Меня бабка туда привела. Она была у нас богомольная. А мне, наверное, и пяти лет не исполнилось, я еще ничего тогда не понимал. Ну, вижу: стоит бородатый дьяденька в каком-то капоте блестящем и очень громко поет. «Это,— говорит бабка на ухо,— и есть наш знаменитый дьякон соборный!»

— Так он дьяконом был? — заинтересовался Калининский.

— Ну да. Потом приехали кинорежиссеры, посмотрели на него и увезли с собой.

— Здорово он в «Чапаеве» казака старого представил. Помнишь? Белый полковник играет на рояле, а земляк твой пол рядом натирает и плачет: только что его брата засекли до смерти по приказанию этого полковника.

В кубрике оживились. Начали перебирать отдельные

эпизоды «Чапаева». И тут-то выяснилось, что память на фильмы у Гальченко получше, чем у других. По-теперешнему сказали бы: кибернетическая память!

Внезапно он заметил, что за столом в кубрике воцарилось молчание. Все слушали его с напряженным, прямо-таки неослабным вниманием. Он смутился и замолчал.

— Богатая у тебя память! — после паузы сказал Конопицын.

С тех пор так и пошло.

Теперь, ободренный успехом, Гальченко едва ли не каждый вечер шеголял перед товарищами своей памятью. Так, с его помощью, они «просмотрели» по второму разу «Чапаева», «Ленина в Октябре», «Ленина в восемнадцатом году», «Семеро смелых», «Комсомольск», «Цирк», «Волгу-Волгу», «Нового Гулливера» и еще много других довоенных фильмов.

— Небось добавляешь еще и от себя,— недоверчиво сказал Тимохин.

Гальченко обиделся:

— Нет, я все правильно говорю, товарищ старшина. За него тотчас же вступились:

— Не сбивай ты его! Не мешай ему рассказывать! Давай, Валентин, давай! Дальше вспоминай...

3

Но кое о чем связисты Потаенной не хотели вспоминать. Наоборот, хотели бы на время забыть, и покрепче забыть!

Вам это может показаться странным, но не поощрялись воспоминания о больших городах. Почему? Я тоже сразу не понял: почему? Наконец дошло. Видите ли, слишком резким и удручающим был контраст с обступившим пост безлюдьем. На западе — гладь замерзшего Карского моря, на востоке — гладь оцепеневшей под снегом тундры. И — мрак, мрак, снежные заряды, пурга!

Лишь однажды было нарушено табу, да и как было не нарушить его? Московское радио оповестило о том, что немецко-фашистские войска отброшены наконец от Москвы!

Нужно вам пояснить, что связисты поста слушали последние известия из Москвы в определенный час и уж

старались по возможности не упустить ни единого слова. Оно и понятно: как бы на несколько минут распахивалось перед ними окошечко их маленького тесного мирка в окружающий огромный мир.

В тот вечер Гальченко был занят установкой перилец в снегу на пути от дома к вышке и немного запоздал к передаче.

Когда он вошел в баню — весь декабрь, если помните, связисты жили еще в бане, — его удивило всеобщее ликование, радостные восклицания и улыбки товарищей.

— Твой батяно в какой армии служит? — неожиданно спросил Галушка. — Кто командующий у него?

Гальченко еще больше удивился:

— Был генерал Говоров.

— Правильно! — сказал Конопицын. — И сейчас он. Войска генерала Говорова названы в сообщении Совинформбюро в перечне других войск — мы только что слышали. Так что поздравляю, Валентин! Попятили наконец наши фашистов от Москвы!

— И продолжают их гнать на запад, сволочей, по морозцу! — подхватил Галушка.

В этот удивительный вечер, как вспоминает Гальченко, товарищи обращались с ним так, словно бы это не отец его, а он сам служил в армии генерала Говорова и гнал сволочей фашистов на запад по морозцу!..

В ознаменование победы под Москвой мичман Конопицын, который вообще-то был скупенек, даже разрешил добавку к ужину — компот.

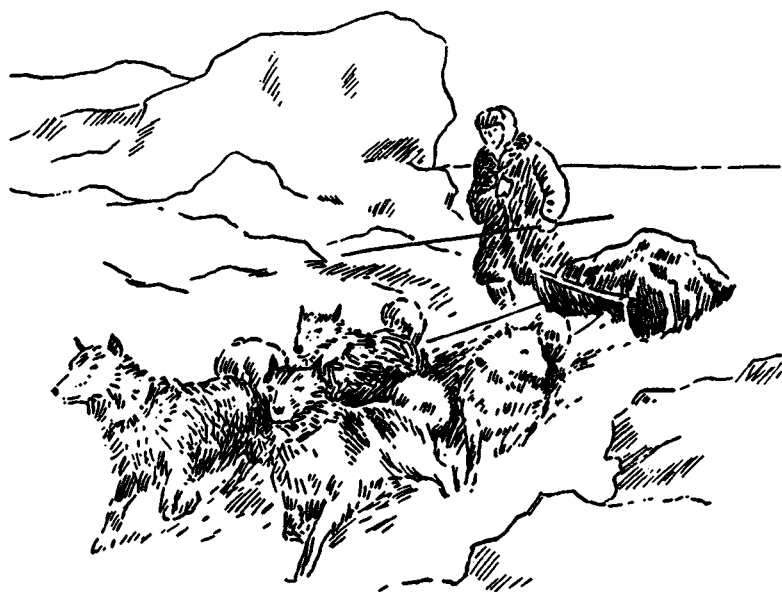
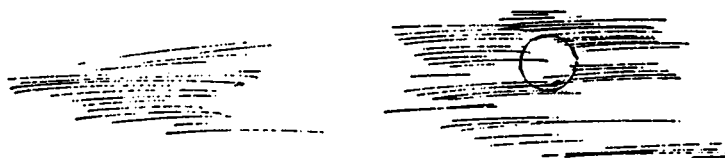
— Кончится война, — сказал Галушка, быстро доев свою порцию, — приеду на недельку в Москву, там у меня сестра замужняя живет, и уж накатаюсь я, братцы, на троллейбусе! Очень мне нравятся троллейбусы! А по вечерам ездить буду только через Красную площадь. У меня все уже заранее распланировано.

— Троллейбусы через Красную площадь не ходят, — поправил его Калиновский.

— Ну, через площадь Свердлова или Охотный ряд, все равно! Чтобы полюбоваться на Москву, какая она у нас красавица, вся в огнях!

— Это еще когда она будет в огнях! — вздохнул Конопицын. — Пока затемнена наша красавица, как и вся Россия вокруг нее...

И снова связисты Потаенной надолго перестали вспоминать об оставленных на время войны многолюдных,



шумных, освещенных яркими электрическими огнями городов...

По словам Гальченко, мрак поначалу давил его почти непереносимо. Был, правда, не крошечный, все же крошечным его нельзя было назвать, я уже говорил вам об этом.

Но как-то тревожно делалось на душе, когда шестой связист Потаенной думал: вот вечером после вахты он ляжет спать, проснется, вроде бы и ночь пройдет, а утро так и не наступит. Может, оно вообще никогда не наступит?..

Впрочем, звезды те всегда были на своих местах, конечно, если пурга, туман и снежные заряды обходили Потаенную стороной. И луна тоже светила в полную силу.

А уж о северном сиянии и говорить нечего. Оно появлялось регулярно, не пренебрегая своими обязанностями, и мало-помалу охватывало полнеба тускловатым, холодным, колеблющимся пламенем.

Но все равно, со звездами или без звезд, снаружи постоянно была ночь.

Зато внутри дома разливался уютный свет, хоть и всего лишь от семилинейной керосиновой лампешки.

Возвращаясь из патрульной поездки на собаках, Гальченко с удовольствием думал о том, что, стряхнув в сених снег с одежды и обуви, войдет в кубрик, где его ждет награда: свет и тепло! Для человека очень важно знать, что где-то есть дом, где его ждут свет и тепло.

Окна, правда, были слепые, плотно заколоченные досками, чтобы даже самый слабенький проблеск не проскальзывал изнутри. Дом на берегу Потаенной оставался невидимкой, почти ничем не отличаясь от соседних огромных сугробов. И тем не менее это было жилье, уютное и надежное,— дом!

4

Беспокойного шестого связиста Потаенной одолевали по этому поводу разные мысли.

До войны он вычитал в какой-то книге понравившееся ему выражение: «Дом, где ты родился,— это центр твоей родины».

Родился он на Украине, в небольшом районном городке

Ромны. А дом его стоял на самом высоком месте, в конце улицы Ленина, откуда видно было, как внизу, делая плавные повороты, медленно течет Сула.

Судя по описанию Гальченко, Ромны — это чистенький городок, весь в цветах и очень зеленый. Само наименование его, кажется, происходит от цветов — таково, по крайней мере, мнение местных краеведов. Двести или триста лет назад склоны горы были, по преданиям, покрыты сплошным ковром этих цветов. А называли их — ромэн. (Быть может, украинизированное «ромашка»?)

Гальченко говорил мне, что роменцы гордятся не только своим земляком киноартистом Шкуратором. Гордятся еще и тем, что Чехов около суток провел проездом в Ромнах, о чем упоминается в одном из его писем. Но главный предмет их гордости составляет украинская нефть. В начале тридцатых годов она была впервые открыта вблизи Ромен в недрах горы Золотуха.

За свои пятнадцать лет Гальченко еще не успел побывать нигде, кроме Ромен и Архангельска. Однако, эвакуируясь с матерью, он проехал почти всю Россию, как бы пронизал ее с юга на север.

Не очень-то много увидишь из вагона или на промежуточных станциях, когда пассажиры сломя голову бегут в буфет и к кранам с кипятком. Но все-таки у Гальченко осталось впечатление громадности России. А ведь это была лишь европейская ее часть. Он не видел ни Урала, ни Сибири, ни Средней Азии, ни Дальнего Востока.

На глазах у подростка, который всю дорогу не отходил от окна вагона, Россия превращалась в военный лагерь. Тревожно завывали паровозные гудки. Навстречу двигались составы с войсками и техникой. Раненых торопливо выносили на носилках из вагонов. А когда, сменив лиственные и смешанные леса, потянулись вдоль рельсов нескончаемые хвойные, к поезду, в котором ехал Гальченко, прицепили — в голове и в хвосте — две платформы. На них торчали зенитки, чтобы прикрывать поезд от вражеских самолетов.

Через всю громадную Россию гнал вихрь войны маленькую песчинку. И вот пригнал! Куда? В тундру, на берег оледеневшего, пронизывающего холодом до костей Карского моря.

Что ж! Судьба Гальченко сложилась так, что он должен сражаться с фашистами не в своих Ромнах, а именно здесь, на берегу Карского моря.

Центром Родины в данный момент является для него место, где он защищает ее, то есть вот этот клочок суши на пустынном, обдуваемом со всех сторон Ямальском полуострове. И тут же находится сейчас и его дом...

Боюсь, что при всем старании я не сумел передать вам всей непосредственности, быть может, даже некоторой милой наивности этих рассуждений. Не забывайте, прошу вас, о возрасте. Сам Гальченко впоследствии не раз говорил мне, что, вспоминая о тогдашних своих раздумьях, он с удивлением смотрит на себя как бы в перевернутый бинокль.

Однако пустынная тундра не удовлетворяла его. Очень хотелось, чтобы она была более красивой, более нарядной.

Стоя под звездным небом, плотно упакованный в тяжеленный, до пят, тулуп, в валенки и меховую шапку, завязанную под подбородком, шестой связист Потаенной был неподвижен, будто скала или столб, припорошенный снегом. А нетерпеливая мысль его уносилась вперед. И Потаенная начинала как бы двигаться вокруг Гальченко, двигаться во времени, изменяясь все быстрее и быстрее.

5

Да, вероятно, это происходило именно так, то есть постепенно вызревало в воображении. Однако идея Порта назначения, если позволено столь торжественно выразиться, была непосредственно связана с отстроенным к Новому году домом. Об этом я говорил вам вначале.

Как-то вечером связисты сидели в кубрике, теснясь подле своей семилинейной лампешки. Хлопнула входная дверь. Кто-то очень долго топтался в сенях, старательно сбивая снег с валенок. Внезапно, будто ледяным бичом, ударило по ногам!

— Эй! Дверь за собой закрывай! — прикрикнул Конопицын на Галушку.

Это был Галушка.

Он вошел, отдуваясь и энергично растирая лицо рукой.

— Ну, как там? — вяло спросил Гальченко.

Галушка не изменил себе, хотя губы его одеревенели на холоде и едва шевелились.

— Как всегда, — сказал он. — Теплый бриз. Цветочки благоухают перед домом. Душновато, правда, но...

Шутка не удалась ему на этот раз. Снаружи было тридцать градусов ниже нуля, вдобавок пуржило, судя по отчаянным взвизгам и всхлипам там, за бревенчатой стеной.

Некоторое время все сидели в молчании, занимаясь каждый своим делом.

Диковинная мысль вдруг мелькнула, будто быстрая птица, шумя крыльями, пронеслась перед глазами, и Гальченко засмеялся.

Товарищи с удивлением посмотрели на него.

— Ты что?

— Да вот вообразил, что Галушка по ошибке раз в жизни правду сказал. Нет, не цветочки, конечно, и не бриз. Откуда у нас бриз? Подумал: распахну сейчас настежь дверь, а за ней — город, ярко освещенный, огни в домах и фонари над площадями и улицами! А мы с вами — на окраине, на высоком берегу, весь город отсюда как на ладони!

— И затемнения нет? — недоверчиво спросил Калиновский.

— И затемнения нет. Большущий, понимаете ли, город, воздвигнутый уже после войны, после нашей победы над Гитлером!

— После победы?

— Да. И разросся очень быстро, глазом не успели моргнуть. Частично вытянулся вдоль губы, а частично, за отсутствием места, в тундру ушел.

— Какой губы? Нашей?

— Ага!

— А зачем город здесь?

— Ну как же! Он при порте. Решено после войны построить порт в Потаенной. Тоже, конечно, огромный. Океанский! Важнейший перевалочный пункт Северного морского пути. Побольше, наверное, Игарки и Тикси.

Его выслушали серьезно, однако без особого энтузиазма.

— Придумывать ты у нас горазд, — сказал мичман Конопицын и, встав из-за стола, направился в свою выгородку.

Так буднично началось это, абсолютно буднично!

Впрочем, Гальченко и сам вначале не придавал значения своей выдумке. Поболтал о каких-то пустяках с Галушкой и Калиновским и тоже мирно отошел ко сну.

Однако мысль о городе появилась и на следующий

вечер, причем с еще большей отчетливостью и силой. Гальченко стоял на ступеньках дома, прижимая к груди связку мороженой рыбы. Собаки с лаем прыгали и бегали у его ног. Он поспешил раздать положенные им порции.

По-прежнему мело. Внезапно ветер дунул в лицо, сыпало снежной пылью в глаза. Он зажмурился.

И опять давнишняя иллюзия возникла: вот сейчас откроет глаза и увидит огни вдали, мириады огней, новый заполярный город и порт, раскинувшийся по берегам Потаенной во всей своей силе и красе!

Некоторое время Гальченко стоял неподвижно, не раскрывая глаз, стараясь продлить эту странную захватывающую игру.

Так, зажмурившись, он и вернулся в дом.

— Ты что? — обеспокоенно спросил Тюрин. — В глаз попало?

— Нет, ничего. Это я так. Хочу удержать перед глазами одно видение...

И он рассказал о городе и порте в губе Потаенной.

Тюрин, как вы уже знаете, был человек обстоятельный, не по возрасту солидный и на редкость немногословный. Гальченко ожидал, что, услышав о городе, он пренебрежительно шевельнет плечами и отвернется. Но Тюрин не сделал этого. Некоторое время он молчал, размышляя, потом неожиданно улыбнулся — улыбка была у него детская, простодушная, открывавшая верхние десны.

— А что! Интересно, Валентин! Вроде как в сказке волшебной! Зажмурясь, перешагни порог, открой глаза — и вот он перед тобой, город, празднично иллюминирован и освещен!

За ужином потолковали еще на эту тему при недоверчиво-выжидательном молчании остальных сотрапезников.

Конечно, безудержный полет фантазии — это свойство возраста, а Гальченко был самым младшим в команде. Но ведь и Конопицын, и Тюрин, и Калиновский, и Галушка были людьми молодыми, не старше двадцати восьми лет. Только Тимохину было тридцать.

Кроме того, как вы понимаете, азарт выдумки — дело заразительное. И он начал мало-помалу захватывать остальных обитателей Потаенной.

— А что ты думаешь, неплохой бы порт мог получиться, — сказал на следующий вечер Галушка. — Тут как раз материк клином в море вдается. Удобно! И залив для

отстоя кораблей имеется. Место вполне подходящее для порта, с какой стороны ни взять!

— Чего мудреного-то? — подал голос Конопицын. — Главное, первый дом воздвигнуть! Где один дом есть, там уже второй и третий пристроят к нему. Глядишь, через год — поселок, а еще через пяток лет — и город!

Не забывайте, что связисты Потаенной были советские люди, иначе говоря, по сути своей создатели и преобразователи. Мироощущение их формировалось в тридцатые годы, когда все окрашивала романтика этого созидания и преобразования. Через безводные степи прокладывали каналы. Спрямяли русла рек. Напористо продвигались все дальше и дальше на Север, обживая не только тайгу, но и тундру. Да что там перечислять! Тридцатые годы — этим все сказано!

И, заметьте, связисты Потаенной, как все советские люди, привыкли к тому, чтобы задуманное ими неизменно сбывалось.

— А пройдут ли океанские корабли узкость между косой и тундровым берегом? — сказал Тюрин, покачивая головой. — Подумали вы об этом? То-то и оно! Пролив, выходит, надо расширить!

— А что! И расширим! — быстро сказал Гальченко. — И дно на подходах углубим, если надо. Как в Финском заливе между Ленинградом и Кронштадтом!

Поощрительно хлопнув его по плечу, Галушка закричал:

— Правильно! Углубим! Крути картину дальше, Валентин!

Но теперь ее «крутили» уже сообща...

Спешу оговориться: за исключением Тимохина.

Он, по словам Гальченко, демонстративно не принимал участия в разговорах о новом городе.

То, о чем толкуют за столом, видно по всему, не интересовало его. Лишь изредка он вскидывал на Гальченко глаза и опускал их, пряча усмешку. Понимаете? Чем бы, мол, дитя ни тешилось... Хорошо еще, что проделывал все это молча, не вступая в разговор со своими придирками.

То ли Галушка, то ли Калининский однажды затеяли за столом спор о полезных ископаемых вблизи будущего города в Потаенной.

Заметьте, связисты ничего не знали об этой меди, залежи которой когда-то разрабатывал Абабков. Да и откуда им было знать о меди? 1912 год, царизм, капитализм...

Но никто не сомневался в том, что в окрестностях будущего города в Потаенной полагается быть полезным ископаемым.

— Я так думаю — золото, — предположил Галушка. — Почему бы здесь и не быть золоту, а?

— Вот именно! Почему бы и не быть? — подхватил Калиновский. — Тогда, по мне, уж лучше никель! Для целей обороны никель важнее.

Что касается Гальченко, то он стоял за нефть, и это было, по-видимому, наиболее реально, как я теперь понимаю.

У него эта мысль возникла, как вы догадываетесь, потому, что неподалеку от его родного города перед войной открыта была украинская нефть. Но Галушка немедленно же ввязался с ними в спор — он вообще был ужасный спорщик.

— Почему ты говоришь — нефть? Заладил: нефть, нефть! Нет, я считаю — уголь! За Полярным кругом, где ни копни, повсюду уголь! На Диксоне он есть? Есть. В Воркуте есть? Есть. Наконец, возьмите, товарищи, Шпицберген!

— На Новой Земле, говорят, тоже имеется, — вставил Конопицын, задумчиво посасывая трубку.

— Вот и товарищ мичман подтверждает!

— А зачем нам уголь или нефть? — сказал примирительно Калиновский. — Проще — ветер! Электростанция в Потаенной будет работать на ветре. В наших местах его хоть отбавляй. И дует он с разных румбов чуть ли не круглый год безо всякой пользы для социализма. Ученые-энергетики, я читал, разработали перед войной такие особые ветродвигатели, которые...

— Эк тебя занесло! — с прорвавшимся раздражением сказал вдруг Тимохин. Он встал из-за стола, потянулся и деланно зевнул. — Ветродвигатели какие-то, золото, нефть... А на вид вроде бы взрослые люди! Чего вы делаете-то? Друг другу сказочки рассказываете на сон грядущий?

Гальченко, Конопицын и Калиновский недоумевающе, снизу вверх, смотрели на него. А Галушка рассердился. Гальченко еще никогда не видел, чтобы его добродушный толстошекий земляк так сердился.

— Нет, врешь! — крикнул он и хлопнул ладонью по столу. — Не сказочки! Доживем до победы, сам увидишь, сказочки ли это на сон грядущий!

Ну, разумеется, спорщики не проявили в своих прениях

особой оригинальности — ученых-провидцев в Потаенной не было. Но, как я предполагаю, все, что каждый из них читал, видел, испытал за свою жизнь, пошло в дело, будто охапки сухих дров для растопки печи.

Очень важно при этом подчеркнуть, что люди эти были не только свидетелями, но и участниками удивительных перемен, происходивших до войны в нашей стране. Вовлекаясь в спор о будущем Потаенной, каждый, естественно, вносил сюда нечто свое, личное, связанное с собственной биографией.

Да, ваше определение подходит. Именно пай, индивидуальный вклад!

Ведь, перед тем как хозяев Потаенной обрядили в одинаковые матросские тельняшки и бушлаты, они, несмотря на молодость, успели уже поколесить по белу свету.

До войны мичман Конопицын служил на траулерах на Дальнем Востоке, Тюрин не раз бывал на Новой Земле, Галушка работал крепильщиком в забое, Калиновский, плавая на танкере, повидал Атлантику. Один Гальченко еще не обзавелся биографией, только готовился ею обзавестись.

Научно-фантастический роман? По-вашему, зимой сорок первого — сорок второго года в Потаенной сочиняли коллективный научно-фантастический роман? О, нет! Это отнюдь не было сочинением от нечего делать коллективного научно-фантастического романа! Сочинение будущей своей жизни, причем на совершенно реальной основе, — так будет вернее!

Инстинкт самосохранения? С этим я, пожалуй, готов согласиться. В Арктике самый страшный враг человека — тоска, упадок душевной сопротивляемости. Тоска эта набрасывается иногда внезапно, как приступ малярии. Но чаще завладевает мало-помалу, исподволь и неотвратимо подтачивает силы организма, подобно цинге. Спор о будущем Потаенной в этих условиях оказался целебным...

Стоило, вероятно, подумать и об озеленении будущего города.

Вдумайтесь в это! Находясь в центре белого безмолвия — так, кажется, сказано у Джека Лондона? — люди изголодались по успокоительному зеленому цвету, по траве, деревьям, кустарнику. ЮБК — Южный берег Карского моря — это, конечно, была шутка, не более. Из Потаенной даже Полярное на берегу Кольского залива, стиснутое безлесыми гранитными сопками, представлялось

благодатным югом. Недаром за дощатыми заборчиками в старом Полярном кудрявится летом картофельная ботва, почти чудо по тем местам, в этом отношении Полярное соотносилось с Потаенной, как, скажем, Гагра или Сухуми с Москвой.

Галушка, который, по мнению Гальченко, любил не то чтобы прилгнуть, а малость преувеличить — для «красоты слога», как он выражался, — утверждал с горячностью, что в Заполярье из-за краткости северного лета удастся увидеть, как растет трава.

Тимохина при этом заявлении даже повело немного в сторону.

— Ну что ты косоротишься, старшина? — вскинулся Галушка. — Не видал и молчи! А я собственными своими глазами видал. И никакого не колдовство, что ты там бубнишь про колдовство? Терпение только надо иметь! Сядь и смотри на какую-нибудь травинку, но только очень долго смотри — и увидишь! А как же иначе? Северное лето, оно как одуванчик: дунь на него — и нет его! Стало быть, времени у травы в обрез, хочешь не хочешь, приходится поторапливаться расти!

— Можно ее заставить быстрее расти, — сказал Калиновский.

— А как?

— Теплицы.

— В Потаенной — теплицы?

— А что такого? На базе подземной газификации. Ты же из Лисичанска. Там до войны, я читал, проводились опыты. В нашей тундре есть уголь, по-твоему?

— Должен быть. Почему бы ему не быть?

— Ну вот тебе и подогрев в теплицах!

— Подогрев, подогрев... — задумчиво сказал Конопицын. — На Дальнем Востоке служа, я там всякого дива понавидался. Горячие ключи на Чукотке из-под земли бьют! Хочешь — купайся, как в ванне; хочешь — водяное отопление в дом проводи! А на Курилах есть, рассказывают, остров, называется Кунашир. Я сам не видал, но «торгаши»¹ наши заходили, видали. Между прибрежными камнями бьют роднички, и температура воды — можете ли вы понять? — достигает ста градусов! Положил в песок яйцо, отвернулся минуты на две-три — готово, сварилось всмятку!

¹ «Торгаши» — моряки торговых судов.

— Как в пустыне Сахаре! — восхитился Гальченко.

— Да. А чайник поставь на песок — вода вскипит через десять минут, быстрее, чем на нашем примусе.

Как видите, связистов в Потаенной, по контрасту, тянуло к теплу, к зеленой растительности. Они воображали некий благодатный оазис в тундре, который появится там, однако, не по милости природы, а будет создан людьми собственноручно.

Можно сказать и так: выбирали себе пейзаж по вкусу! Человеку свойственно украшать свое жилье, верно? Вот они и украшали его — в воображении...

Слушая воспоминания Гальченко об этих спорах, я думал, что их, по существу, следовало бы назвать вторым открытием Потаенной.

Один и тот же пейзаж можно увидеть по-разному, с различных точек зрения. Все зависит от ситуации, не так ли? Ну, и от самих людей, конечно, от их душевного настроения.

Что увидел Абабков или доверенный человек Абабкова в Потаенной? От алчности, я думаю, у него желтые круги перед глазами завертелись! Находка-то какая, господи! Медь! И в редчайшем состоянии — твердом! Вдобавок секретная, никому еще в России не известная, кроме него, Абабкова! Где уж тут пейзажами любоваться? Он, поди, сразу начал свои будущие барыши на пальцах подсчитывать...

А что я увидел в Потаенной? Подошел к ней как гидрограф — и только. Добросовестно описал ориентиры на берегу, промерил глубины на подходах — во время прилива и отлива, наконец, поставил на самом высоком месте гидрографический знак. Но будущее Потаенной, естественно, не интересовало меня в тот момент и не могло интересоваться.

Я уже упоминал, что в первые дни своего пребывания в Потаенной Гальченко очень удивлялся такому явлению, как рефракция.

Мечта в известной степени, я полагаю, сродни рефракции. Иногда, словно бы по волшебству, она приближает отдаленные предметы, как бы поднимает их над горизонтом, позволяет на мгновение заглянуть за горизонт.

Что-то в этом роде происходило и со связистами в ту зиму.

Не нужно, однако, представлять себе застольные споры о будущем Потаенной как заседания заполярного филиала

Академии наук. Боюсь, что Гальченко все-таки не сумел передать мне, а я, в свою очередь, вам всю непосредственность этих споров, вынужденно кратких из-за ограниченности досуга, с постоянно меняющимся составом собеседников из-за необходимости чередоваться у рации или на сигнально-наблюдательной вышке.

И все вдобавок было щедро сдобрено шуткой, без которой нельзя представить себе ни одного задушевного разговора в кубрике.

Мичмана Конопицына, когда он бывал в хорошем настроении и, понятно, во внеслужебное время, разрешалось величать: «Наш председатель горсовета». Кому же, по разумению связистов, было и занять после войны сей высокий пост! Конечно же, Конопицыну, который построил в Потаенной первый дом и положил этим основание нового города.

Будущий председатель горсовета лишь усмехался и сладко жмурился, как кот, который греется на солнце. Такое обращение, видимо, было ему чем-то приятно.

А названия площадей и улиц? Выяснилось, что это было увлекательнейшим занятием — придумывать названия для улиц и площадей в новом городе!

Чемпионом по придумыванию считался на посту Калиновский.

Он чуточку, правда, рисовался при этом, по мнению Гальченко: картинно откидывал голову, закрывал глаза и, предостерегающе подняв руку, требовал от окружающих тишины. Некоторое время он пребывал в оцепенении, как бы в некоем трансе, потом выпрямлялся и провозглашал вдохновенно:

— Улица Веселая!.. Улица Счастливых Старожилов!.. Площадь Дружеского Рукопожатия!

В одну из трудных минут, когда название не вытанцовывалось, Калиновский решил прибегнуть даже к помощи международного морского кода.

— Давайте приморскую набережную так назовем: Семьдесят три эс,— сказал он, правда, без особой уверенности в голосе.— В переводе — набережная Наилучших Пожеланий.

— Что ты! Некрасиво! — запротестовали в кубрике.— Чего еще придумал: две цифры и буква!

— Зато любому иностранному моряку понятно. Будут же после войны заходить к нам в порт лесовозы и торгаши из других стран?

Стадиону в тундре присвоили имя краснофлотца Гальченко, чем он был очень польщен, — в память его осеннего марафона.

А название города пока еще не придумалось. Были разные варианты, но они не всех устраивали на посту. А в подобном вопросе требовалось, понятно, полное единодушие строителей.

Условно, между собой, они называли город — Порт назначения.

Эти два слова — «Порт назначения» — Гальченко вывел старательным, круглым, темного еще неустановившимся почерком в правом верхнем углу карты, которую, расщедрившись, презентовал ему из своих запасов мичман Конопицын.

Есть, видите ли, у нас так называемые морские карты. На них обозначены только береговая линия и глубины у берега, а пространство суши не заполнено ничем. В данном случае имеются в виду лишь интересы навигатора.

На посту у Конопицына, естественно, были морские карты Потаенной — несколько экземпляров.

Вот один из них и получил в полное свое распоряжение Гальченко. Вся суша на карте была белым-бела! Полное раздолье для фантазера! Придумывай и черти, что только душеньке твоей угодно!

Теперь Гальченко просиживал над картой Порта назначения все свое свободное время. Трудолюбиво закреплял на бумаге то, о чем мечтали, о чем спорили он и его товарищи на протяжении этой нескончаемой длинной зимы. А другие связисты, свободные от вахты, с любопытством перегибались через его плечо и придирчиво спрашивали:

— А улицу Счастливых Старожилов ты не забыл? Где она у тебя? Ага! Ну, то-то!

Глава десятая

ТУЧИ НАД ГОРОДОМ

1

Между тем над новым заполярным городом, положенным на карту всего только в карандашном беглом наброске, нависла опасность.

Связистам Потаенной на короткий срок пришлось даже прервать строительство Порта назначения. Заметьте, как-то не поворачивается язык взять слово «строительство» интонационно в списходительные или иронические кавычки!

А произошло это уже под утро нового полярного дня, то есть в конце апреля или в начале мая, — к сожалению, точной даты не припомню. Морозы держались по-прежнему, море было покрыто льдом, реки и озера еще не вскрылись — обычно они вскрываются здесь в июне, — и снег продолжал лежать над тундрой толстым и прочным покровом. Зато искрился он весело, по-весеннему — не под луной или звездами, как раньше, а под лучами солнца, и так ослепительно ярко, что трудно было на него смотреть.

Пламя в тундре вспыхнуло во время вахты Тюрина. Он, по обыкновению, вел в бинокль круговой обзор моря, суши и неба. Вдруг на юго-востоке, то есть в глубине полуострова, взметнулся высокий факел. Секунду или две он стоял торчком, чрезвычайно отчетливо выделяясь на фоне голубоватого неба. Потом, вероятно под напором ветра, стал клониться набок и заволакиваться черной клубящейся тучей.

Тупой звук взрыва донесся через короткий промежуток времени. Значит, что-то взорвалось сравнительно недалеко от поста. Тюрин успел взять пеленг и определить расстояние до места взрыва. Доклад его, сделанный по телефону Конопицыну, был предельно краток и лишен эмоций, как и положено: «Огненный взрывной столб — по такому-то пеленгу, дистанция такая-то!»

Неосведомленному человеку это может показаться неправдоподобным — столь удивительная бесстрастность доклада. Но, уверяю вас, если бы состоялось давно обещанное светопреставление, то сигнальщик-наблюдатель, первым заметивший его со своей сигнально-наблюдательной вышки, обязан был бы ограничиться всего лишь сдержанным сообщением: «Небо в таком-то секторе начало крениться. К горизонту покатила куча звезд — пеленг такой-то». А светопреставление это или не светопреставление, пусть начальство разберется и примет соответствующие меры согласно обстановке!

Вот вы улыбаетесь, а ведь в том-то, собственно, и суть безупречно точной и стремительно-быстрой реакции настоящего флотского связиста! На эмоции ему не остается времени.

Мичман Конопицын поспешил закодировать радиодонесение, передал Тимохину, и оно стремительно понеслось в штаб по волнам эфира.

Судя по всему, непонятный взрыв произошел в районе озера Нейто, в двадцати семи километрах к юго-востоку от поста.

Из штаба был получен приказ: немедленно снарядить поисковую группу с ручным пулеметом и выслать ее к месту взрыва, где, соблюдая предельную осторожность — впрочем, это подразумевалось само собой, — определить на месте, что же это за взрыв и при каких обстоятельствах он произошел. О результатах поиска доложить в штаб сразу по возвращении на пост!

Мы предположили, что в тундре, в районе озера Нейто, а быть может, и на самом озере взорвался вражеский самолет — вероятнее всего, при неудачной посадке.

Почему вражеский самолет? Да очень просто. Наших самолетов над Ямальским полуостровом в этот день не было. Если самолет, то, несомненно, вражеский.

Однако вспыхнуть ярким пламенем, а потом окутаться клубящейся тучей мог и не самолет. Что же в таком случае? А бес его знает что! Война на то и война, чтобы изобиловать всякими неожиданностями и случайностями.

Мичман Конопицын сам возглавил поисковую группу, включив в ее состав Тюрина и Гальченко. На посту были оставлены старшина первой статьи Тимохин в качестве заместителя начальника, а в помощь ему Калиновский и Галушка. Воображаю, как огорчились они, узнав, что их не берут в поездку.

2

Через четверть часа две собачьи упряжки с лаем мчались во всю прыть на юго-восток, ныряя в увалах между сугробами. Люди бежали рядом с санями.

Езда на собаках — это, правильнее, бег с собаками. В санях долго не усидишь. Конечно, и собак жалко, особенно если тяжелая кладь. А главное, ноги закоченевают. Чуть прокатился — и уже должен соскакивать и бежать, подбадривая упряжку не хоресм¹, а хорошим разговором.

¹ Хорей (ненецк.) — длинная палка с шариком на конце.

О, с собаками обязательно нужно разговаривать в пути! Недаром во время своих поездок ненцы поют. Но можно и не петь, чтобы не наглотаться холодного воздуха, — просто негромко разговаривать, причем самым веселым, бодрым голосом. Собаки чудесно разбираются в интонациях и лучше бегут, когда чувствуют, что хозяин сегодня в хорошем настроении.

Испытал это и я в свое время. Однако не обо мне сейчас речь, а о Гальченко. Как вы, конечно, догадываетесь, он был в полном восторге. Еще бы! Впереди увлекательная разгадка тайны, а быть может, и бой! Правда, ветром давно прижало пламя к земле, но низкая туча продолжала клубиться над горизонтом. Как будто бы она расплзлась еще шире.

Итак, курс на тучу!

Гальченко деловито поправил сползавшие с носа деревянные очки. Остальные связисты тоже щеголяли в подобных очках. Мы не догадались снабдить их очками с черными стеклами, чтобы весной во время дальних патрульных поездок уберечь зрение от губительного отблеска солнца. Пришлось связистам Потаенной воспользоваться подарком ненцев. Это, знаете ли, такая дощечка, в которой сделаны две узкие горизонтальные прорези. Человеку не надо жмуриться, он как бы смотрит на окружавший его слепящий снег в щелку — весьма рациональное изобретение времен неолита.

Но как ни взбудоражен был Гальченко, он, по обыкновению, от души наслаждался быстротой движения по неоглядной белой равнине.

Вокруг не только бело, но и необычайно тихо. Ветер куролесил где-то далеко, над озером. Здесь царило полное безветрие. И в этой тишине лишь кольца на санях ритмично позванивали вместо традиционных бубенцов.

Упряжки в Потаенной были не цугом, а веерные. Никогда не видел их? В передке саней два, три или четыре кольца. Через каждое пропущены два ремня. Хитрость этого устройства в том, что собаки тянут парами. Если одной из пары вздумается сачковать¹, ее тотчас подтянет и заставит работать другая. Ну конечно, и самому каюру не положено зевать. Прикрикнешь, пристыдишь, назовешь с укоризной имя ленивца или ленивицы, и опять упряжка ходко пошла!

¹ Сачковать — отлынивать от работы.



Впоследствии Гальченко, рассказывая об этой поездке, говорил, что именно тогда ему пришла в голову мысль: человечество недостаточно оценило собаку! И вы знаете, я с ним согласен. Да, да, видел, конечно, памятник в Колтушах. Но ведь это памятник подопытной собаке, а надо бы ездовой! «И чтобы весь был из чистого золота!» — горячо убеждал меня Гальченко.

Кстати, вернувшись на пост, он внес дополнение в эскиз карты — «воздвиг» на одной из площадей Порты назначения памятник с надписью: «Сибирской лайке — от народов Крайнего Севера, от всех полярных путешественников, а также от бсереговых связистов-североморцев».

Вскоре высокие сугробы закрыли тучу на горизонте. Проверяя направление, мичман Конопицын то и дело озабоченно отгибал край рукавицы и взглядывал на ручной компас.

Наконец он повернул поисковую группу на лед реки.

Гальченко знал, что река эта вытекает из озера Нейто. В центральной, хребтовой части Ямальского полуострова их несколько, таких озер, и все тамошние реки связаны с ними.



Собаки шибче побежали по речному льду. Лед не ранил их лапы: обуты были в «чулочки» — собственноручное изделие Гальченко, которым он очень гордился.

Потянуло гарью. У Гальченко, по его словам, было такое ощущение, словно бы они приближаются к месту пожарища. Еще один крутой поворот реки, и вот истоки ее — озеро Нейто!

3

Да, и вправду пожарище!

Обгоревший фюзеляж разведчика-бомбардировщика «Хейнкель-III» торчал под углом в сорок — сорок пять градусов, перечеркивая небо. Одно крыло было сломано и распласталось по льду, другое стояло почти перпендикулярно. Передняя часть самолета ушла под лед, и в этом месте образовалась полынья. «Хейнкель» затонул бы весь, если бы катастрофа произошла посреди озера, а не у берега, где глубины, надо полагать, были небольшие.

Полосы дыма, свиваясь в кольца, медленно ползали, как черные змеи, вокруг останков самолета. Никто из экипажа, понятно, не уцелел. Да этого и нельзя было ожидать при таком взрыве.

На льду и прибрежном снегу валялись обломки плоскостей, какие-то изуродованные почти до неузнаваемости предметы, полуобгоревшие черные трупы, похожие, как всегда, на груды старого тряпья. И над всем этим плавал в воздухе пепел.

Мичман Конопицын приступил к планомерному и систематическому обследованию места катастрофы.

Передвигаться по льду возле полыньи приходилось с осторожностью, так как он пошел трещинами и угрожающе колебался и поскрипывал под ногами.

Судя по ряду признаков, один из моторов тяжело нагруженного «хейнкеля» забарахлил или отказал в воздухе. Летчик попытался дотянуть на одном моторе до озера, с трудом дотянул, даже немного перетянул, хотел было сесть, но неудачно. Самолет с разгона врезался в лед и взорвался. Но куда и зачем летел «Хейнкель-III»?

На этот вопрос должны были ответить те немногие уцелевшие предметы, которые разметало на большом расстоянии вокруг «хейнкеля» на льду и на прибрежном снегу. Мичман Конопицын приказал отбирать их и бережно укладывать в кучу возле саней.

Три часа без роздыха поисковая группа работала у «Хейнкеля-III», балансируя на шатком льду, подтягивая к себе некоторые предметы хорями, то и дело протирая слезящиеся глаза, которые застилала черная едкая пыль.

Ни одного уцелевшего документа! Они сгорели в карманах комбинезонов или в планшетах вместе со своими владельцами. И все-таки обнаружено было кое-что важное.

Тюрин, разбирая груды полуобгоревшего тряпья, наткнулся на остатки двух парашютов. Вот как? Парашюты? Конопицыну удалось подобрать на удивление целехонький зонд Вильде¹, а Гальченко принес показать нечто искореженное, почти бесформенное, но когда-то, несомненно, бывшее каким-то прибором.

— Похоже на психрометр², — нерешительно сказал Конопицын. — Как считаешь, Тюрин?

¹ Зонд Вильде — метеорологический прибор.

² Психрометр — прибор для определения относительной влажности.

Тот только пожал плечами. Гальченко, персеминаясь на месте от нетерпения, переводил умоляюще-вопросительный взгляд с одного своего товарища на другого.

— Хотели сбросить парашютистов с походной метеостанцией — так надо это понимать, — неохотно пояснил Конопицын.

— На озеро?

— Зачем на озеро? Наметили пункт где-то на берегу моря. Но не долетели до назначенного места... И, как видишь, гробанулись на озере. Ну, а теперь увязывайте-ка поскорей парашюты, зонд и психрометр — и на пост! Жаждались, поди, донесения в штабе...

Перед дорогой связисты собрались перекусить, но почти сразу отказались от этого намерения. Слишком омерзительно пахло дымом, обгоревшим металлом и паленым мясом. Кусок не лез в горло.

— В пути похарчимся, — сказал Конопицын.

Назад, на пост, спешили изо всех сил. Собаки повизгивали от усталости. Пришлось в качестве подбадривающего средства применить хорей.

Поисковая группа уже выскочила из русла реки, собаки перешли со льда на снег, и бег их замедлился.

И тут, как назло, дорогу к посту преградила пурга. Она была низовая, шла бредущим полетом над поверхностью тундры. Гальченко увидел, как собаки его постепенно тонут в пене взметнувшегося снега — сперва мелькающие ноги их, потом туловища и, наконец, головы. Но стоило поднять глаза, и в стремительно несущейся над головой массе снежинок он видел неширокие голубые просветы, похожие на полыньи во льдах. Вот что такое эта низовая пурга! Да, нечто вроде поземки, но усиленная в тысячу крат.

Я знал знаменитого полярного путешественника Ушакова. В его книге, которую он подарил мне, есть выражение: «Заголосила метель». Именно так — заголосила! Притом не как одна баба, а как целая толпа истеричных баб!

— Привал! — хрипло скомандовал мичман Конопицын.

Собак освободили от ременной упряжи и накормили мороженой рыбой. После этого они принялись деловито разгребать снег, а вырыв углубления, еще и немного повертелись в них, будто вальсируя, чтобы очертание ямок стало округлым, потом преспокойно улеглись, свернулись

клубком и накрыли носы хвостами. Собачьи приготовления ко сну были закончены.

А где людям пережидать метель? Утром Конопицын так торопился, что не захватил с собой палатки, подбитой байкой, без которой не отправлял обычно своих подчиненных и сам не отправлялся в патрульные поездки.

— Не горюй, Валентин! — бодро сказал Тюрин. — На наше счастье, в гостинице «Куропачий чум»¹ есть свободные номера. Тебя какой сугроб устраивает?

Он принялся быстро рыть длинную и узкую нору в одном из сугробов. Конопицын и Гальченко, не мешкая, последовали его примеру. В нору пришлось залезать ногами вперед и лежать там вытянувшись, будучи стиснутым снегом со всех сторон. Зато сугроб, превращенный в чум, надежно защищал от ледяного режущего ветра.

И я раза два или три побывал в такой «гостинице». У нее не только то преимущество, что, в отличие от других гостиниц, всегда есть свободные номера. Эти «номера» и теплы и уютны, в них можно отлично выпасться после утомительного пробега.

Но, думаю, никому из поисковой группы, переживавшей в сугробах низовую пургу, не спалось. Слишком необычным и тревожным было появление над Ямальским полуостровом «Хейнкеля-III» с парашютистами и походной метеостанцией. Правда, «хейнкель» этот гробанулся, но вслед за ним могли прилететь и другие...

Мы в штабе флотилии расценили историю с «хейнкелем» как серьезный симптом. Очевидно, летом сорок второго года немецко-фашистское командование намеревалось активизировать деятельность своих подводных лодок в Карском море. Чтобы реализовать это намерение, полагалось иметь по меньшей мере одну метеостанцию на западном берегу Ямала, которая давала бы погоду подводникам.

Немецко-фашистский адмирал Руге — книга его вышла у нас в русском переводе — подтверждает, что немецкие корабли, в том числе и подлодки, получали задание искать места для тайного базирования и снабжения. Что касается метеостанций, то они находились у гитлеровцев главным образом в Гренландии и на Шпицбергене.

Обосноваться на Ямале им, как видите, не удалось.

Но это не означало, что попытку не возобновят.

¹ Куропач — самец куропатки.

Возможны были также и другие враждебные акции.

У меня щемило сердце. А что, думал я, если этим летом гитлеровцам вздумается высадить воздушный десант в самой Потаенной, чтобы захватить — пусть на короткий срок — наш пост?

С такой возможностью считались, конечно, и на посту.

А, вы повторяете мои слова: «Флотский связист обязан докладывать об увиденном и услышанном, не тратя время на эмоции!» Правильно. Однако, после того как донесение передано, появляется время уже и для эмоций, не так ли?

Впрочем, по свидетельству Гальченко, об опасности, угрожавшей посту, каждый думал про себя. На войне разговаривать о таких вещах, как вам известно, не принято.

Вы полагаете, что после аварии «хейнкеля» в Потаенной перестали фантазировать о ее будущем? Ошибаетесь. Наоборот, споры по возвращении поисковой группы возобновились, и даже с еще большим пылом. Сознание опасности обостряет все чувства и мысли человека — если это, конечно, храбрый человек, — а стало быть, обостряет также и его воображение.

Именно в это тревожное время старшина Тимохин перестал наконец отделяться скептическими усмешками и пожатием плеч.

Как-то вечером Калиновский, присев к столу, на котором лежала эскизная карта Порта назначения, во многом уже дополненная Гальченко, принялся задумчиво ее рассматривать. Потом чуть слышно, сквозь зубы, он стал напевать: «Тучи над городом встали...» Была, если помните, такая песенка в одном популярном до войны фильме.

Гальченко вскинул на Калиновского взгляд. Слова эти удивительно подходили к их теперешнему общему настроению.

И тогда Тимохин поднялся с нар, где сидел, накладывая заплату на свой ватник.

— Ну что пригорюнились, сказочники? — сказал он, неторопливо приблизившись к столу. — Все разочли-распланировали: где у вас улица Веселая, где набережная Семьдесят три эс, где кино будет, где театр. А про косу забыли? Косу-то захлестывают в штормá, нет? То-то и оно! Может, косу эту к шутам? Подорвать ее аммоналом, и всё!

— Как бы не так! Подорвать! — обиженно возразил Галушка. — Смотри ты, какой умник нашелся: подорвать! А что акваторию порта от прибоя будет защищать?

— Тут призадумался, это ты верно! — Тимохин плечом нетерпеливо раздвинул сидящих за столом. — Двиньтесь, ну! Пышно как расселись! Это именно семь раз прикинешь, прежде чем... — Он помолчал, потом толстым указательным пальцем повел по карте. — Нарращивать косу надо, вот что я вам скажу!

— В длину?

— Зачем в длину? В высоту! Дамба должна быть здесь, а не коса! Иначе не оберемся горя со штормами. Как ударит с моря шторм в десять баллов, так все корабли мигом размечет в порту! — Он выпрямился над картой: — А так что ж! Ничего не скажешь. Я и то удивляюсь: как до нас никто о порте в Потаенной не подумал!

«Нас»! Старшина Тимохин сказал «нас»! Сидящие за столом многозначительно переглянулись...

Повторяю: людям свойственно украшать свое жилье. Видимо, потребность в этом заложена глубоко в сознании, где-то в самой природе человеческой. Перед постом в Потаенной было покрытое льдом море, а сзади, справа и слева расстилалась однообразная, безрадостная тундра. Вот связисты и украшали ее в своем воображении.

Позвольте в связи с этим вспомнить два эпизода из детства.

Отец мой в высшей степени обладал романтической жилкой. По профессии он был юристом, но далеко не крючкотвором или педантом.

Летом мы снимали дачу в Териоках. Прогуливаясь по вечерам — обычно прогулки эти мы совершали вдвоем, — он любовался облаками, шумно восторгаясь их цветом, причудливой, меняющейся на глазах формой, иногда даже записывал свои впечатления в памятную книжку. Облака — это было его скромное хобби.

Как вы знаете, особенно чудесно на Карельском перешейке ранней осенью. Мы с отцом отправлялись в рошу и приносили на дачу огромные охапки веток и листьев, ярко-желтых, красных, коричневых. Затем мать развешивала их красивыми гирляндами на стенах, а также под потолком. И наши невысокие темноватые комнаты принимали праздничный вид, словно бы освещались изнутри, сами превращались в разноцветную рошу, пронизанную лучами неяркого осеннего солнца.

Аналогия напрашивается, не правда ли?

Второй эпизод касается бумажного города на пяти столах.

Об этом городе отец рассказал мне во время одной из наших прогулок. Дело происходило задолго до революции, отец был подростком. В Вятке, откуда он был родом, служил статистиком тихий, маленького роста человек с длиннейшей бородой Черномора. Так, по крайней мере, он запомнился отцу. И вдруг, ко всеобщему удивлению, выяснилось, что в часы досуга статистик этот склеил из разноцветной бумаги целый миниатюрный город, потратив на это лет пять, не меньше.

Бумажный город выставлен был в актовом зале гимназии, заняв пять столов, сдвинутых вместе. Статистик в парадном сюртуке стоял подле столов и, смущенно теребя бороду, давал объяснения.

Это, надо думать, было зрелище! Многоэтажных домов, высотой всего до трех-четырех сантиметров, насчитывалось, по самому приблизительному подсчету, несколько десятков тысяч. В разных направлениях пролегали между ними улицы, множество улиц, а на площадях зеленели скверы. И набережные не были забыты градостроителем — отражались в стекле, под которое заботливо подложена была синяя оберточная бумага, долженствовавшая изображать залив моря или реку.

Посетители всплескивали руками и ахали. А отец сказал мне, что все время испытывал тягостное чувство неловкости. Подумать только! Взрослый, с бородой, и до сих пор готов играть в игрушечные города!

Сейчас я думаю, что он поспешил со своими выводами. Быть может, градостроение было призванием Черномора, но он по каким-либо причинам не мог стать архитектором? А быть может, воздвиг свой город просто от тоски бесцветного провинциального существования?

Считая, что невежливо отойти от столов, так и не задав ни одного вопроса Черномору, отец мой спросил его:

«Скажите, в какой же стране находится ваш прекрасный город?»

Черномор словно бы удивился вопросу. Помолчал, пожал плечами:

«Не знаю... Где-нибудь... Как-то не думал об этом. Пожалуй, в Аравии, нет?»

«В Аравии? Но почему именно в Аравии?»

И, кротно мигая, Черномор ответил:

«Говорят же: счастливая Аравия...»

И мой отец, разочарованный и недоумевающий, отошел от столов...

Я вспомнил о разноцветном бумажном городе, когда Гальченко описывал мне, как у спорщиков в кубрике постепенно разыгрывалось воображение.

Улавливаете разницу?

Город на пяти столах, конечно, не имел и не мог иметь точного адреса. «Где-нибудь...» Увы, до революции некоторым мечтателям и фантазерам приходилось воздвигать разноцветные города без адреса...

Зато город, придуманный шестью связистами в Потаенной, имел непогрешимо ясный и точный адрес: СССР, Центральная Арктика...

Война врывалась все время в строительство этого города и мешала ему. Трудно ли было? Конечно, трудно. Потому, может, так и любили связисты Потаенной свой придуманный город, что он трудно доставался им.

И Порт назначения продолжал разрастаться на карандашном эскизе карты, несмотря на тучи, которые встали над ним...

Глава одиннадцатая

«ХОД КОНЕМ В СТРАНУ ЧУДЕС»

1

Летняя гроза пришла в Потаенную с запада, откуда обычно всегда приходят грозы. Как вы знаете, событиям в Карском море предшествовали события в Баренцевом.

В этом особенность пиратского набега «Шеера». Немеcko-фашистское командование придерживало осуществление его до поры до времени — выжидало случая. И вот случай представился. Это был разгром семнадцатого англо-американского конвоя¹, следовавшего с военным грузом в Советский Союз.

Гитлеровцы закодировали эту операцию под названием «Ход конем». По времени она предвляла операцию «Вундерланд». Но обе были теснейшим образом связаны друг с другом. Я бы сказал так: двигаясь вприскокку,

¹ Общепринятое в военно-морской литературе наименование этого конвоя — PQ-17.

зигзагом, шахматный конь проложил, вернее, попытался проложить дорогу немцам в Вундерланд — нашу заполярную Страну Чудес.

Это-то ясно теперь. Но до сих пор во многом остается загадочным поведение союзников во время разгрома семнадцатого конвоя.

Цело, видите ли, в том, что в Северной Норвегии, временно оккупированной немцами, постепенно накапливалось все больше ударных военно-морских сил. Я уже говорил вам об этом. В Тронхейме и в Нарвике находились: линейный корабль «Тирпиц», флагман немецкого военно-морского флота, три тяжелых крейсера — «Хиппер», «Лютцов» и «Шеер», две эскадры миноносцев, около сорока подводных лодок, а также большое количество самолетов-разведчиков и торпедоносцев дальнего действия.

Вся эта глыба железа и стали нависала над морскими коммуникациями, которые связывали нас на Севере с нашими союзниками.

Заметьте, семнадцатый конвой был наиболее многочисленным и особо тщательно охраняемым из всех англо-американских конвоев. Тридцать семь транспортов двигались внутри непосредственного охранения из двадцати пяти кораблей: эскадренных миноносцев, сторожевиков, тральщиков, спасательных судов и так далее. Кроме этого, ту сторону конвоя, которая была обращена к норвежскому побережью, прикрывали две эскадры. В группу ближнего прикрытия входили четыре крейсера и три эсминца, в группу дальнего — два линкора, авианосец и девять эсминцев. А западнее развернута была еще и завеса из девяти подводных лодок. Силища, колоссальная силища!

Четвертого июля мы были взволнованы в штабе флотилии сообщением о том, что из фиордов Северной Норвегии наперехват семнадцатому конвою вышли «Тирпиц», «Шеер», «Хиппер» и девять сопровождавших их миноносцев.

Тотчас, если позволено так выразиться, эфир над Баренцевым морем забурлил, закипел, пошел кругами от радиограмм.

Со всех сторон стремительно стекались к нам разнообразные донесения — от радиоразведки, от авиационной разведки, от агентурной разведки. Судя по всему, предстояла грандиозная морская битва — наподобие Ютландской.

И вдруг стало известно, что британское адмиралтей-

ство, будучи извещено о движении «Тирпица», приказало дальнему охранению конвоя, то есть двум линкорам, авианосцу и другим кораблям, возвращаться в Англию. Нелепо выглядит, не правда ли?

Кое-кто в штабе счел это сообщение дезинформацией. Однако, к нашему удивлению, оно подтвердилось. А спустя некоторое время на стол командующего Северным флотом и одновременно на стол командующего Беломорской военной флотилией легла вторая, столь же удивительная шифрограмма. Узнав о приказе адмиралтейства, командир ближнего охранения по собственному почину повернул свою эскадру назад. Таким образом, двойное кольцо военных кораблей вокруг транспортов распалось! Они были брошены на съедение врагу.

Какие же были им даны инструкции, спросите вы? Транспортам было приказано рассредоточиться и добираться до советских портов «по способности»! В переводе на общепринятый язык это означает не что иное, как паническое: «Спасайся кто может!»

Учтите, события разыгрались слишком далеко от наших баз, чтобы мы могли вовремя оказать существенную помощь англо-американским транспортам, брошенным на произвол судьбы. И судьба, понятно, была к ним немилостива.

Правда, в том районе находилась на позиции подводная лодка капитана второго ранга Лунина, посланная туда для обеспечения перехода конвоя. И Лунин сделал все, что было в его силах, и даже больше того. Когда английские линкоры, авианосец, тяжелые и легкие крейсера и миноносцы полным ходом уходили от своих транспортов, наш советский подводник в одиночку преградил дорогу «Тирпицу».

Действовал он в самой отвратительной для подводника обстановке. Незаходящее солнце светило во все лопатки, на море был штиль, ни волн, ни бурунов, перископ спрятать некуда. Однако Лунин «поборолся с невозможным» — выражение Петра Первого. Под водой он проник внутрь боевого порядка немецкой эскадры, поднял перископ, осмотрелся и с полным самообладанием облюбовал «Тирпиц», который шел в центре походного ордера.

Оказавшись среди вражеских кораблей, двигавшихся противолодочным зигзагом, Лунин пятнадцать раз менял угол атаки, прежде чем дал наконец залп по «Тирпицу» четырьмя торпедами из кормовых аппаратов.

Гитлеровцы были так ошеломлены неожиданным нападением, что, вообразите, упустили Лунина.

А еще через несколько часов наша авиаразведка донесла, что немецкая эскадра уходит от предполагаемого места встречи с конвоем, причем замедленным ходом. Значит, лунинские торпеды поразили «Тирпиц» в уязвимое место и лишили его возможности передвигаться с нормальной скоростью.

Тяжелые немецкие корабли укрылись в Тронхейме и Нарвике. Но остались немецкие подлодки и самолеты. Они-то и набросились на беззащитный конвой и в короткий срок растрепали его буквально в клочья.

Конечно, мы в Архангельске не знали всех подробностей катастрофы, могли лишь догадываться о ее размерах. Они были огромны. На протяжении нескольких дней, подавляя все остальные звуки, раздавался тревожный сигнал в эфире: три точки, три тире, три точки¹, — будто дятел, обезумев, дробно стучал и стучал клювом по стволу дерева. То была мольба о помощи, призыв, беспрестанно повторяемый. И он надрывал душу.

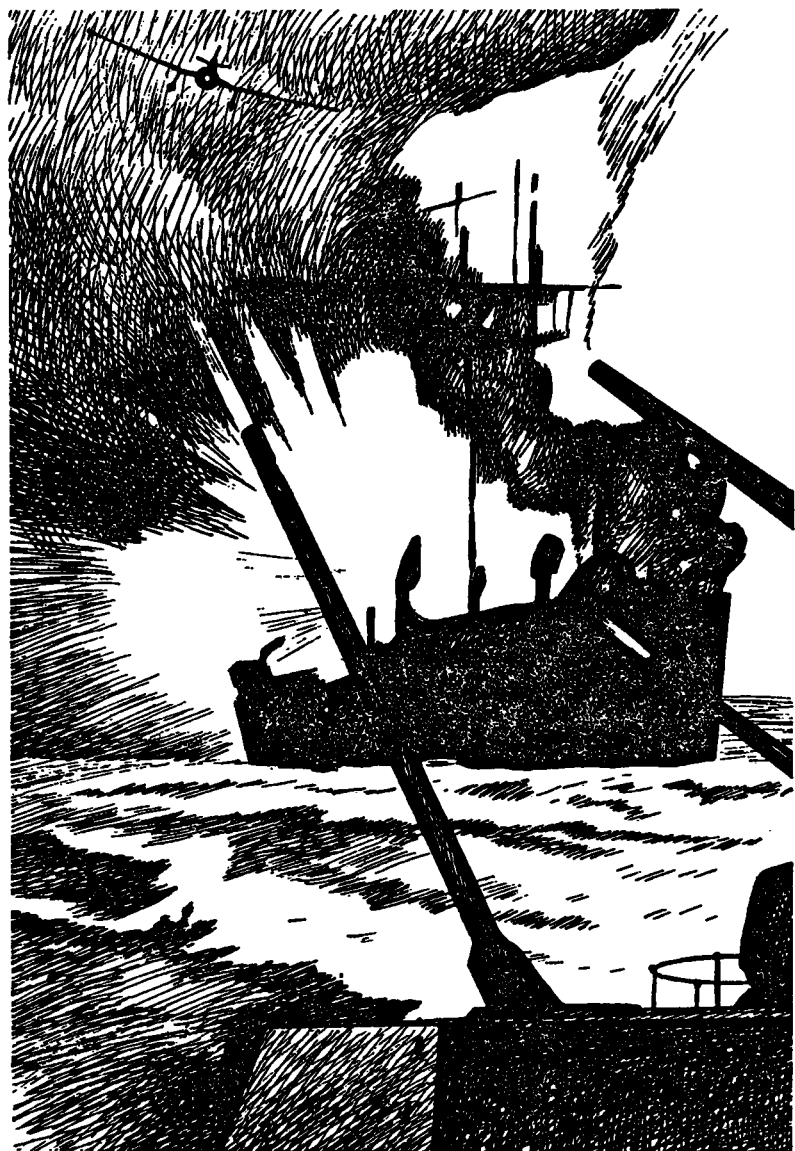
Где-то в море гибли люди, множество людей. В пенящуюся воду один за другим уходили корабли.

Кое-кто из моряков, брошенных на произвол судьбы, поддался панике, что, я считаю, было неудивительно в тех условиях. Некоторые пытались юркнуть в Маточкин Шар с его высокими отвесными стенами. Другие уходили к кромке паковых льдов, надеясь спрятаться там от подлодок. Наконец, третьи, обезумев от страха, выбрасывались прямо на берег.

Только тринадцать транспортов из тридцати семи добрались до советских портов. Погибло более двух третей военных грузов, в которых так нуждалась Советская Армия. Не забывайте: это было лето 1942 года, чрезвычайно тяжелое для нас лето, когда гитлеровцы, после декабрьского поражения под Москвой, снова собрались с силами и одновременно предприняли наступление на Сталинград и Кавказ.

Наши военные корабли в течение многих дней пересекали Баренцево море, доходя до кромки льдов, и возвращались к материковому берегу. Но удалось подобрать со шлюпок всего лишь около трехсот моряков.

¹ SOS — «спасите наши души», международный морской сигнал бедствия.



Тысячи людей потонули в Баренцевом море. Тысячи тонн ценнейшего военного груза канули на дно. И, по мнению советских военно-морских историков, это было, вероятнее всего, результатом сложной политической игры, которую вели на протяжении войны руководители Англии и США. Разгром семнадцатого конвоя явился поводом для того, чтобы поднять вопрос о прекращении военных поставок в Архангельск и Мурманск.

Вместе с тем катастрофа в Баренцевом море потянула за собой цепь новых драматических событий, которые развернулись уже в Карском море. И тогда война вплотную придвинулась к Потаенной.

2

Итак, англичане и американцы временно прекратили доставку грузов в наши порты.

В связи с этим немецко-фашистские стратеги решили привести в действие давно разработанный план операции «Вундерланд» — то есть с маху рубануть по нашим внутренним коммуникациям в Центральной Арктике.

Северное лето подходило к концу, с «Вундерландом» нужно было спешить.

Еще за три года до нападения фашистской Германии на Советский Союз мне довелось прочесть статью в одном немецком журнале. Автор, капитан первого ранга, откровенно рассуждал о том, что период навигации на Крайнем Севере весьма краток, всего два-три месяца, зато навигация в это время особенно оживленна. Стало быть, «именно летом там возможна крупная добыча!» — его слова.

Острова Новой Земли — барьер между Баренцевым и Карским морями, а новоземельские проливы — ворота в нашу Арктику. Вот здесь-то, у этих ворот, и начали проявлять подозрительную активность немецкие подлодки.

Одна из них в конце июля появилась у побережья Новой Земли и подвергла артиллерийскому обстрелу полярную станцию — дома зимовщиков и склады.

Затем был сделан набег на мыс Желания. Там, не знаю уж почему, оказалась пушка на колесах. Краснофлотцы вели из нее огонь по всплывшей немецкой подлодке и отогнали врага.

Но это была пока лишь разведка боем.

Тогда японские милитаристы еще придерживались ней-

тралитета. Однако их адмиралтейство услужливо радировало в немецкий штаб о том, что караван советских грузовых судов, ведомый несколькими ледоколами, покинув Петропавловск-Камчатский, идет на запад по Северному морскому пути. Почти в то же время немецкая авиация обнаружила группу советских судов, двигавшихся из Архангельска на восток. Оба каравана должны были встретиться предположительно в районе пролива Вилькицкого.

Тут-то командир «Шеера» Болькен и решил подстеречь наши суда. Нанести одновременный удар по двум караванам — неплохо задумано, а?

В разгар арктической навигации, то есть к двадцатым числам августа, метеорологическая обстановка сложилась необычайно благоприятно для гитлеровцев. На протяжении нескольких дней дули ветры южных румбов. Они оттеснили тяжелый паковый лед на север. Открылся широкий коридор чистой воды. И Болькен не замедлил этим воспользоваться.

Двадцать второго августа, рано утром, придя в штаб, я узнал, что перехвачен отрывок радиограммы, адресованный на остров Диксон: «Напало неприятельское судно, обстреляло, горим, горим, много огня...»

На кого напало неприятельское судно? На полярную станцию или на пост наблюдения и связи? Что за неприятельское судно? И где все это происходит? В районе Югорского Шара, Маточкина Шара или Карских ворот?

Через несколько минут выяснилось, что враг проник в Карское море с севера. Болькен обогнул Новую Землю и вошел в проход между ее оконечностью, мысом Желания и островом Уединения.

Пиратский набег свой он начал с того, что обстрелял нашу зимовку на мысе Желания. Грамотно действовал, не скажешь ничего! Хотел, понимаете ли, отрезать в эфире зимовщиков от Диксона, не позволить им радировать о прорыве в Карское море, чтобы сохранить преимущество, которое давала внезапность нападения.

Но это не удалось, хотя на мысе сгорели жилой дом зимовщиков, дом летчиков, метеостанция, склады, а также некоторые другие подсобные постройки.

В тот же день с моря передано было на Диксон новое важное радиодонесение: «Вижу крейсер неизвестной национальной принадлежности. Идет без флага. Старший лейтенант Качарава».

Накануне встречи с «Шеером» «Сибиряков» вышел из Диксона с новым персоналом и оборудованием для полярной станции на Северной Земле. Не успел он пройти и половины расстояния, как в туманной дымке на встречном курсе возник корабль. Болькен использовал в этом случае тривиальный прием. Заметив «Сибирякова», он развернул свой корабль к нему носом, чтобы «Шеера» нельзя было узнать по силуэту.

Конечно, сам по себе «Сибиряков» не интересовал «Шеера». Немецко-фашистские пираты рассчитывали на неслыханно богатый куш в районе пролива Вилькицкого.

Качарава донес по радио:

«Корабль запросил данные о ледовой обстановке в проливе Вилькицкого. Не отвечаю!»

Стоит, пожалуй, пояснить, что командир «Шеера» Болькен, и это было нам известно, до сих пор не имел ни одного поражения. Прославленный военно-морской ас, один из самых прославленных! Достаточно сказать, что на счету у него числилось двадцать шесть потопленных транспортов! Однако он вместе с тем был и очень осторожен. Привык топить наверняка, понимаете?

Поэтому так важна была для него ледовая обстановка в проливе Вилькицкого. Болькен не собирался рисковать своей репутацией аса, не хотел сломать винты во льдах или, того хуже, постыдно вмерзнуть в них.

Между тем Качарава старался выиграть время.

«Запрашиваю корабль, какой он национальной принадлежности», — радировал он. И вслед за тем: «На корабле поднят американский флаг!»

Нет, стоит вдуматься в это! Обладая подавляющим военно-морским превосходством, гитлеровцы и тут не обошлись без вероломства!

Диксон немедленно сообщил Качарава:

«Никаких американских судов в данном районе нет и быть не может. Корабль считать вражеским. Действовать по инструкции!»

Инструкции! Но что мог предпринять Качарава, действуя по инструкции?

Здесь я считаю уместным припомнить совет знаменитого французского полководца Тюренна. Отдавая своим офицерам приказание перед битвой, он неизменно добавлял: «Сверх этой диспозиции, господа, советую руководствоваться и собственным здравым смыслом!»

Качарава хорошо понимал, зачем гитлеровцам нужна

ледовая обстановка в проливе Вилькицкого. Пират стремился туда, чтобы сорвать «двойной банк», разгромить оба наших каравана, двигающихся навстречу друг другу.

Что же делать? Оповестить Диксон о том, что враг прорвался в Центральную Арктику! И максимально затянуть время! Дать возможность нашим кораблям уйти к кромке льдов и укрыться там! А для этого пожертвовать собой! В данной ситуации единственно в этом заключался здравый смысл, о котором говорил Тюрени. И Качарава принял бой с «Шеером» — неравный до такой степени, что подобных ему еще не знала военно-морская история!

Нет, по вашему лицу я вижу, что вы не уяснили до конца реальное соотношение сил. Не полагаясь на память, возьму со стола справочник.

Итак, данные «Шеера»: «Новейший тяжелый крейсер, водоизмещением в двенадцать тысяч тонн, скорость хода — двадцать восемь узлов, дальность плавания — девятнадцать тысяч миль, вооружение — шесть двухсот-восемидесятимиллиметровых орудий, восемь стопятидесятимиллиметровых, шесть стодесятимиллиметровых, восемь тридцатитрехмиллиметровых. Плюс к этому восемь торпедных аппаратов и броня».

Данные «Сибирякова»: «Старый грузовой пароход ледокольного типа, водоизмещением всего тысяча четыреста тонн, скорость хода не выше шести с половиной узлов, вооружение — три зенитных семидесятишестимиллиметровых орудия, предназначенных для отражения атак с воздуха».

Величины несопоставимые, не так ли? Да, в любой другой войне, где все решается только численным превосходством или преимуществом в огневой мощи. Но не в Великой Отечественной войне!

Стволы зениток на «Сибирякове» опустили.

Командир «Шеера» очень гордился своей невозмутимостью — так, по крайней мере, сообщает мемуарист-подводник, который командовал десантом в Потаенную. Думаю, однако, что даже этот надменный ас не смог скрыть удивления, когда ему доложили на командирский мостик: русские, вопреки его приказанию, не спускают флаг и не ложатся в дрейф!

Впрочем, Болькен удивился еще больше, увидев в бинокль далекий и невысокий фонтан воды. Русские открыли по «Шееру» огонь! Да что они, белены объелись? Ста-

рая грузовая посуда с черепашью ходом осмеливается обстреливать современный тяжелый военный корабль?

«Дать им! — наверное, сказал Болькен старшему судовому артиллеристу. — Вразумить!»

Но я уже говорил вам, что разум, здравый смысл по-разному проявляются на войне.

Три зенитных орудия против двадцати шести орудий, причем гораздо более крупного калибра! И все-таки Болькен, заметьте, не желал рисковать. Он открыл ответный огонь, держась на дистанции, которая исключала попадание снарядов «Сибирякова» в «Шеера».

«Ну, началась канонада!» — видно, это неуставное выражение невзначай вырвалось у сибиряковского радиста.

Редкий случай проявления чувства в радиодонесениях!

Потом, через длительный промежуток времени: «Продолжаю бой, судно горит...»

Снаряды «Шеера» последовательно вывели из строя кормовое орудие, потом два носовых. Убиты были многие члены экипажа и пассажиры-полярники, в том числе и женщины. Взорвались бочки с бензином. Но «старая грузовая посуда с черепашью ходом», как пренебрежительно отозвался о «Сибирякове» Болькен, еще держалась на плаву, упрямо продолжая приковывать к себе внимание гитлеровцев.

Тем временем радист на Диксоне непрерывно бросал в эфир оповещение: «Всем, всем, всем! В Карское море проник вражеский рейдер! На таких-то координатах ледокольный пароход «Сибиряков» ведет с ним бой. Всем постам, полярным станциям, советским кораблям, находящимся в плавании! Слушайте наше оповещение! В Карском море проник враг!»

Мы, конечно, сразу передали об этом своим береговым постам.

Вот ради чего погибал «Сибиряков» — ради того, чтобы предупреждение о фашистском рейдере было вовремя принято нашими людьми в Центральной Арктике!

«Продолжаю бой, судно горит!» — таково было последнее донесение с «Сибирякова». Всего четыре отрывистых слова, вырвавшихся будто в агонии!

И связь прервалась! Опять и опять нажимали радисты Диксона на телеграфный ключ, вызывая «Сибирякова» в эфир. Ответа не было.



Впоследствии стало известно, что на «Сибирякове» погибло восемьдесят пять человек, восемнадцать были подобраны гитлеровцами и до конца войны томились в фашистских концлагерях. Лишь одному кочегару — забыл фамилию, а звали его, если не ошибаюсь, Павел — удалось доплыть на шлюпке до маленького необитаемого острова. Там он пробыл в полном одиночестве более месяца, питаясь отрубями — успел вытащить из шлюпки мешок с ними, после чего шлюпку волной унесло в море. Наконец, спустя тридцать шесть дней, кочегара вывезли с острова на самолете.

Ныне, как вы знаете, наши корабли, проходя то место, где «Сибиряков» лег на дно, неизменно приспускают флаги и дают протяжные траурные гудки. О! Кто хоть раз присутствовал при этом рвущем за душу морском ритуале, тот никогда не забудет его!..

Что еще сказать вам о «Сибирякове»? Он выполнил свою задачу: караваны наших судов, оповещенные Диксоном, успели уйти на север и укрылись там в тяжелых паковых льдах.

«Адмирал Шеер» не рискнул последовать за ними. Са-



ми понимаете, это же был не ледокол, а рейдер, не предназначенный для плавания во льдах.

Переговоры Качаравы с Болькеном, а затем бой между ними заняли всего два часа с небольшим.

3

Можете не сомневаться в том, что, упустив советские караваны в проливе Вилькицкого, Болькен был вне себя. И он решил сорвать это на Диксоне. До смерти, вероятно, не хотелось ему возвращаться на базу с пустыми руками. Психология понятная. Асу, как всегда, требовалась победная реляция для начальства!

Диксон, впрочем, был тоже лакомый кусочек, если хотите, даже кусище. Порт на острове, один из важнейших перевалочных пунктов Северного морского пути! Центр управления всеми перевозками в западном секторе Советской Арктики! Сами понимаете, уничтожение этого центра нанесло бы нам колоссальный урон. Залпами своими «Шеер» сразу же парализовал бы нашу связь, а стало

быть, и управление операциями на этом, повторяю, важнейшем участке северного военно-морского театра.

Предполагался также десант на Диксон. По свидетельству подводника-мемуариста, отряд был уже сформирован в составе ста восьмидесяти человек.

Видимость в тот день была не из лучших. Первым заметил рейдер и донес о нем наблюдатель поста, расположенного на северо-западной оконечности острова. В порту объявили боевую тревогу. Но разглядеть «Шеер» удалось только через двадцать пять минут, когда он приблизился на тридцать кабельтовых. Еще через семь минут немцы открыли по Диксону ураганный огонь.

Порт заслонил собой «Дежнев», в прошлом ледокольный пароход, ныне превращенный в сторожевой корабль. На нем, если память меня не подводит, было четыре семидесятишестимиллиметровых орудия. Давид и Голиаф, не правда ли? Но «Дежнев» шел навстречу опасности полным ходом, волоча за собой дымовую завесу и закрывая ею порт и стоящие у причала суда. Одновременно он вел огонь по «Шееру».

Вслед за «Дежневым», желая оказать ему помощь, если таковая понадобится, спешил и пароход «Революционер», имевший на борту несколько легких пушек.

Весь свой массированный огонь артиллеристы «Шеера» сосредоточили на маленьком, бестрепетно идущем наперерез им «Дежневе». За десять минут он получил четыре прямых попадания снарядами среднего калибра и много мелких попаданий. Корпус был разворочен ниже ватерлинии двумя полуметровой ширины пробойнами. Повреждены были две пушки и пулемет, убиты шесть человек и ранен двадцать один.

В начале боя командир «Дежнева» Гидулянов находился на берегу, выполняя служебное поручение. Старший помощник Кротов временно принял на себя выполнение его обязанностей. Кротов был ранен, но пересиливал себя и командовал боем стоя, поддерживаемый под руки двумя матросами.

«Дежнев» выполнил свой долг. Поставив дымовую завесу, загородившую со стороны моря порт и поселок, он отошел наконец к берегу на мелководье. И вовремя! Из-за пробойн крен угрожающе увеличился. Прибывший к тому времени на корабль Гидулянов посадил «Дежнева» на грунт во избежание катастрофы и продолжал вести огонь по «Шееру».

Между тем на «Революционере» бушевал пожар. Он был вызван попаданием вражеского снаряда в каюту капитана. Но артиллеристы «Революционера» не прекращали отстреливаться. Только после того как появилась возможность укрыться за дымовой завесой, поставленной «Дежневым», они смогли оставить свои орудия и бросились помогать команде гасить пожар.

Перед самым нападением «Шеера» у внешней стенки причала на Диксоне грузили на баржу стопятидесятидвухмиллиметровые орудия. С появлением «Шеера» погрузка была, понятно, сразу же прекращена. Батарея заняла позицию — совершенно не подготовленную, на открытом для вражеского обстрела причале — и немедленно открыла по врагу огонь. Он был очень точным, этот огонь. Командиру батареи Корнякову удалось поразить «Шеера» двумя снарядами.

Получив подряд два прямых попадания, «Шеер» закрылся дымовой завесой и ушел в море.

Но это была лишь первая его атака. Она длилась двадцать три минуты. Через полтора часа Болькен возобновил обстрел Диксона, подойдя к нему с другого направления. Снова встретил его плотный огонь батареи Корнякова, а также сторожевого корабля «Дежнев», который стоял на грунте и представлял из себя неподвижную мишень для обстрела.

Через несколько минут «Шеер», однако, получил третье прямое попадание стопятидесятидвухмиллиметровым снарядом в корму. Возник пожар на борту. Теперь уже, наверное, радист «Шеера», нервничая, передавал на немецкую военно-морскую базу: «Горим, горим...»

По Диксону в течение двух часов выпущено было всего до ста снарядов крупного двухсотосьмидесятимиллиметрового калибра и свыше трехсот снарядов других, меньших калибров. И под этой огненной лавиной Диксон выстоял!

На исходе второго часа Болькену изменила его хваленая выдержка. Быть может, он сломал свой «данхилл», ударив его о нактоуз¹, быть может, выругался или как-то иначе выразил свое раздражение, этого мы с вами не узнаем. О таких вещах не принято писать в мемуарах. Реакцию на поражение доселе непобедимого аса будущий командир корабельного десанта обходит деликатным мол-

¹ На к то уз — тумбочка, на которой установлен компас.

чанием, тем более что сам он в это время находился не на «Шеере», а на подводной лодке.

Во всяком случае, после третьего прямого попадания снаряда в «Шеер» Болькен приказал поставить дымовую завесу и, закутавшись в нее, как в темный плащ, покинул Карское море, оказавшееся для него негостеприимным...

Я рассказал вам столь подробно о «Сибирякове», «Дежнев», «Революционере» и береговой батарее Корнякова потому, что подвиг их, по моему разумению, непосредственно повлиял на поведение связистов Потаенной во время десанта, последовавшего за нападением «Шеера» на Диксон.

Такова на войне наглядная сила примера!..

Но мы в Архангельске, понятно, не знали о том, что под водой за «Шеером» тянется хвост и на обратном пути хвост этот зацепит Потаенную. Имею в виду подлодку с будущим мемуаристом, при коем, надо полагать, находился небезызвестный вам Атька, «слуга всех господ».

Глава двенадцатая

**«ТЕБЕ ТУДА НИКОГДА
НЕ ДОЙТИ!»**

1

Между тем, беседуя впоследствии со мной, Гальченко вспоминал не раз о том, что лето 1942 года — до высадки гитлеровского десанта — было, пожалуй, самым счастливым летом в его жизни.

Чувство самоуважения очень окрепло в нем за зиму — вот что важно! Он выдержал испытание бомбежкой, штормами, мраком, пургой и морозами. Босиком пробежался по тундре, чтобы оповестить своих о вражеской подлодке у Ведьминого Носа. Вместе с остальными связистами отгрозил в тундре дом — во какой! Участвовал в поисковой группе и нашел на льду озера Нейто остатки метеорологического прибора — психрометра, о чем требовалось поскорее доложить командованию. Наконец, он был признанным главным градостроителем будущей Потаенной!

Счастливое лето! Оно, правда, было очень коротким.

Но чем счастье короче, тем оно интенсивнее, вы не находите? А постоянное ощущение опасности, которая внезапно, в любой момент может оборвать это счастье, делало его еще острее.

В ямальской тундре — день, в ямальской тундре — светло, и это уже была радость! Весной и летом сорок второго Гальченко просто упивался ею!

Словно бы добрые хирурги вернули ему зрение, но не сразу, а постепенно. На востоке над тундрой бесшумно отодвинулась или чуточку приподнялась заслонка, за нею блеснула узкая белая полоса, потом купол звездного неба начал сползать к западу, а белая полоса расширялась и расширялась. Все, что здесь происходило прошлой осенью, повторялось, только в обратном порядке: пред-рассветные сумерки в середине дня делались все длиннее. И наконец люди увидели солнце, без которого промаялись столько времени.

А потом они с изумлением, почти не веря себе, услышали щебет птиц. И одновременно ощутили пьянящий весенний запах талой воды. А еще через несколько дней увидели в тундре чудо — цветы!

Да, Галушка отчасти был прав: растительности здесь приходилось потарапливаться.

Кое-где в лайдах и на дне разлогов снег еще не успел стоять, а по неоглядным просторам полуострова уже раскинулся цветной, веселящий душу ковер. На буро-пепельном фоне мха и лишайников красовались цветы: полярный мак, полярная незабудка, золотистые лютики. Между «клумбами» цветов возвышались гигантские торфяныеobeliski — иногда до двух-трех метров высотой. На них был наброшен бархатистый полог мха, а в него вплетались узоры лишайника, нежнейшие, белые, словно кружева.

И надо всем этим стоял неумолчный щебет, звон, бранчливый пересвист! Мириады птиц летовали на Ямале...

В связи с этим связисты смогли внести некоторое разнообразие в свое меню.

— Омлетика захотелось ребятам, — умильным голосом объявлял дежурный кок — на посту готовили по очереди, разве я не говорил вам об этом? — Не в службу, а в дружбу, Валентин, сходил бы ты за яичками на базар!

Для Гальченко ходить на «базар» было сплошным удовольствием. Речь шла, как вы догадываетесь, о птичьем базаре. Яйца лежали там не на прилавках, а прямо на

земле, пестрея забавными крапинками, похожими на веснушки.

И вот одно из самых безмятежных летних воспоминаний Гальченко. Он стоит посреди тундры, окутанной испарениями, залитой ярким светом, а над головой его слышен оглушительный свист крыльев, будто ангелы собрались вознести его живым на небо. Какие там ангелы! Это птицы. И они просто вне себя — ругаются на своем птичьем языке, как самые квалифицированные базарные торговки.

— У-у, жадины! — старается урезонить их шестой связист Потаенной. — Десятка яиц пожалели? Вон сколько еще у вас!

Но мичман Конопицын не очень-то поощрял подобные идиллические сцены. Летом он приналег на боевую подготовку. Гитлеровцев изображали известные уже вам кухтыли, которые, как выяснилось, не годились ни на что лучше. Стреляли по ним с разных расстояний, чтобы приучиться пользоваться прицельной рамкой. В Потаенной, по свидетельству Гальченко, стреляли очень хорошо. Осколками кухтылей засыпан был весь импровизированный полигон у старого котлована.

Возобновились и патрульные поездки на шлюпке вдоль побережья. Теперь связисты брали с собой переносную рацию — передатчик и приемник. Их смастерил из запасных радиодеталей Тимохин, маг и кудесник по этой части.

— Не доперли мы раньше, мичман, не додумались с тобой до этого, эх! — ворчал он. — Загодя, зимой надо бы рацию эту изготовить. Взяли бы ее на озеро Нейто, сумели бы на сутки раньше донести командованию про парашюты и метеостанцию. Глядишь, орден Красного Знамени начальнику поста за образцовое несение службы!

Насчет ордена это была, конечно, шутка — в пределах юмористических возможностей Тимохина.

И с тем прошел июль. И август уже подходил к концу. Со дня на день в Потаенной поджидали прихода посыльного судна — с патронами, продовольствием, запчастями, горючим, а главное, с дефицитным ламповым стеклом.

Все чаще в разговоре стали повторять: «Будущей зимой». «Ненцам будущей зимой парочку «летучих мышей» подарим — из тех, что привезут из Архангельска...» «Баньку будущей зимой реконструируем...»

Кто знал, кто мог знать в Потаенной, что для ее пяти связистов будущая зима никогда уже не наступит?..

Сведения о набеге «Шеера» и полученном им отпоре были вначале разрозненными. Потом политотдел Беломорской военной флотилии передал по нашей системе информацию, очень экономную, но исчерпывающую и, надо сказать, впечатляющую.

С военной точки зрения это было правильно. Нельзя мешкать на войне с оповещением о свершенных рядом с тобой подвигах. Героизм товарищей обязывает, не правда ли?

Информация о «Сибирякове», который заслонил собой два наших арктических каравана, и о «Дежнев», «Революционере» и береговой батарее, которые огнем своим прикрыли Диксон, получена была и в Потаенной. Слушали, стараясь не проронить ни слова.

Хотя «Шеер» как будто не собирался возвращаться в Карское море, наблюдение на всех постах было усилено.

Но море было пустынно. Лишь чайки косо взмывали и падали перед окулярами бинокля или стереотрубы да иногда взблескивала льдина вдали.

Опасность, однако, могла мгновенно появиться в поле зрения. Вывернуться со все нарастающим гулом из-за горизонта, сверкнув на солнце металлом, на котором мелькнуло бы зловещее черно-желтое клеймо! Или высунуть из-за буруна одноглазую голову на узкой длинной шее, как у морской змеи!

Но Калиновский — вахта была его — увидел с вышки не это.

Задребезжал телефон на столе Конопицына, затем раздался его взволнованный голос, такой громкий, что Гальченко с Тюриным, сидя в кубрике, слышали все от слова до слова через перегородку.

— Что увидел, повтори! Весло! Так! Еще что? Обломок шлюпки? Сейчас иду!

Через несколько минут, спустившись с отлогого берега, все население Потаенной, за исключением несших вахту Калиновского и Тимохина, уже стояло у самого уреза воды.

Волна, будто забавляясь, то подносила к берегу, то отталкивала обратно в море весло и кусок бортовой шлюпочной обшивки.

Где-то в Карском море затонуло судно. Название его на обшивке шлюпки, к сожалению, не сохранилось. Но Гальченко почему-то сразу же уверился в том, что эти вес-

ло и кусок бортовой обшивки — последняя весточка с «Сибириакова».

От волнения его начало трясти. Мысленно он увидел добрые и мужественные лица своих друзей на «Сибириакове», услышал их зычные, веселые, полнокровные голоса. Тесно обступили его улыбающиеся матросы в кубрике, а кочегар Павел на вытянутых руках, торжественно, как хлеб-соль, подносил прощальный подарок — патефон и пластинку. «Вспоминай нас, сынок, — сказал он, улыбаясь. — Тебе, в твоей Уединенной или Позабытой, патефон нужнее, чем нам...»

Вооружившись баграми, Тюрин и Галушка тянулись к веслу и обломку шлюпки, стараясь подтащить их поближе. Но Гальченко, против обыкновения, не стал помогать товарищам. Повернулся и быстро, почти бегом, стал подниматься к дому.

Что сделал он, придя в кубрик? Вы, наверное, удивитесь. Вытащил из-за нар патефон — подарок сибиряковцев, бережно сдул пыль с пластинки, которую неукоснительно завертывал всегда в чистую тряпицу, потом поставил ее на диск. В кубрике раздалось негромкое, чуть дребезжащее: «Моя серая лошадка, она рысью не бежит...»

Шестой связист Потаенной прослушал пластинку до конца с сухими глазами. Затем рывком остановил патефон, снял пластинку с диска и кинул ее на пол.

В прошлый свой приезд в Ленинград Гальченко говорил мне, что сейчас не сумел бы достаточно удовлетворительно объяснить свой поступок. Но тогда он чувствовал, что не может поступить иначе. Это выглядело как некий прощальный или погребальный обряд. Скромного работяги-парохода уже нет, значит, и «серой лошадки», двойника его, не должно быть! В общем, так попрощался Гальченко со своими погибшими друзьями-сибиряковцами.

Галушка, войдя вслед за ним в дом и увидя на полу осколки пластинки, не сказал ни слова, только с серьезным выражением лица кивнул...

3

Теперь давайте вернемся к неоднократно цитированному мною сочинению.

Видите, на странице двести пятой мемуаров указано,

что одна из подлодок, сопровождавших «Шеер», как раз та, на борту которой в качестве миинного офицера находился будущий мемуарист, получила повреждения на отходе! Их исправление должно было проводиться, понятно, не в открытом море, тем более среди бела дня, при незаходящем полярном солнце. Любой случайно очутившийся в этом месте над морем советский самолет заметил бы всплывшую подлодку и немедленно бы ее атаковал.

Для ремонта подводники облюбовали известную им по лоции бухту Потаенную. С моря она надежно закрыта косой, внутри бухты имеется причал, что в данных обстоятельствах немаловажно.

К огорчению подводников, место было уже занято. Но они находились в критическом положении. Если в Потаенной обосновался русский пост наблюдения и связи, то, значит, нужно его уничтожить — и с первых же залпов!

Связисты поста успеют передать в штаб о нападении? Не страшно! Что сделают в этом случае русские? Вызовут свою авиацию? Но от ближайшего советского аэродрома до Потаенной несколько часов лету. А механик подлодки ручался за то, что исправит повреждения раньше, чем прилетят самолеты. Стало быть, русская авиация не опасна!

После того как пост будет разгромлен с моря, подлодка беспрепятственно войдет в бухту и высадит на причал десант. Не исключено, что на развалинах поста удастся захватить ценную секретную документацию или, того лучше, «языка», что в условиях войны на море имеет первостепенное значение. Времени на все хватит, конечно, с избытком. Пока подлодку будут ремонтировать, десантная группа обследует окрестности и самолично убедится в существовании бывшего абабковского рудника и редчайшей, находящейся в твердом состоянии меди «потайнит».

Иначе говоря, гитлеровцы рассчитывали одним ударом убить двух зайцев!

Среди офицеров подлодки, по свидетельству мемуариста, нашлись горячие головы. Им показалось соблазнительным повторить маскарадную уловку «Шеера», однако представиться с помощью сигналов международного морского кода уже не американцами, а русскими, терпящими бедствие.

Расчет был в том, что связисты поста растеряются, начнут уточнять, переспрашивать и за всем этим не успеют закодировать и передать донесение в штаб! Тогда вообще

обойдется без авиации. И почему бы не обойтись без нее? Кто, в конце концов, эти связисты в Потаенной? Деревенщина! Или, как презрительно сказал переводчик, «лапотники, переодетые в бушлаты»! В примечании мемуарист объясняет читателю, кто это такие лапотники. Наверное, на посту нет даже офицера.

Однако командир подлодки отклонил этот план. Он не желал рисковать...

Прошу вас, постарайтесь представить себе, как в окулярах стереотрубы вырастает из редеющего снежного облака корпус подлодки, похожий на костистый хребет злющей голодной собаки. Пена, наверное, перехлестывает струями через палубу, а люди в черных комбинезонах и пилотках, пригибаясь, бегут к орудию по щиколотку в воде, спотыкаясь, оскользаясь.

Над тундрой прокатился рев снаряда.

Не нужно никаких оповещений! Враг сам оповестил о себе! На посту объявлена боевая тревога! Радиодонесение об атаке подлодки закодировано Конопицыным и, переданное Тимохиным, мчится в штаб флотилии. Время — шестнадцать часов пять минут!

Продолжая стрелять, подлодка разворачивается у входа в губу.

Согласно боевому расписанию Калиновский занял свое место в укрытии над берегом и принял к биноклю. Только после того как он доложил об этом Конопицыну по запасному телефону, Тюрин проворно спустился, почти скатился по внутреннему трапу с вышки. Промедли он минуту-две, и несдобровать бы ему!

Немецко-фашистские артиллеристы, стремясь ослепить пост, метили прежде всего в вышку. Третьим снарядом ее вместе с антенной смело с земли, будто горячим вихрем. Но тотчас же у дома поднята аварийная мачта с запасной антенной. Время — шестнадцать часов двенадцать минут!

Галушка, злобно оскалась, подхватил ручной пулемет и потащил его ко второму укрытию, откуда простреливались подходы к посту со стороны причала. Гальченко рванулся за ним, но Конопицын придержал за плечо шестого связиста Потаенной. Тот взволновался, запротестовал:

— Но мое место, товарищ мичман, по боевому расписанию рядом с Галушкой — у пулемета!

— Обожди!

Подняв глаза, Гальченко поразился перемене, которая произошла за эти несколько минут с Конопицыным.

Внезапно лицо его будто потемнело и похудело. Кожа на скулах туго натянулась. А Гальченко и не замечал раньше, какие у мичмана тяжелые и крутые скулы.

— Место твое будет в тундре, понял? Бери запасные приемник и передатчик — и к старому котловану! Спрячься там и молчи! Слушай Тимохина неотрывно, принимай на нашей обычной волне. Замолчит Тимохин — значит все, заменяй его на запасной рации! Сразу же выходи на связь со штабом! Ну, беги!

Он еще раз очень сильно даванул Гальченко за плечо. То ли прощался с ним так, то ли подтверждал важность своего приказа.

В окно Конопицын и Гальченко увидели, что подлодка, не прекращая вести огонь, втягивается малым ходом в бухту. В другом окне полыхнуло пламя. Занялись огнем склад и баня. Конопицын сдернул со стены связку гранат и кинулся на подмогу Галушке, Калиновскому и Тюрину. А Гальченко, схватив приемник, передатчик и свою винтовку, побежал со всех ног в тундру.

Это произошло в шестнадцать семнадцать. Он заметил время по часам, спокойно тикавшим на столе мичмана.

4

От построек поста котлован находился на расстоянии двухсот метров, не больше. Опрямившись добежав до него, Гальченко поставил рацию между валунами и полусгнившими сваями, надел дрожащими руками наушники и быстро настроился на привычную волну. Тимохин передавал открытым текстом донесение о начале высадки вражеского корабельного десанта на причал. «Почему открытым?» — удивился Гальченко. Потом понял: кодировать было уже некогда.

Из штаба сообщили, что с ближайшего аэродрома в воздух поднято звено самолетов.

Тундра в этом месте постепенно понижалась от берега — все пространство вокруг дома было перед Гальченко как на ладони. Но того, что происходило в губе у причала, он видеть не мог. Догадывался о событиях лишь по лаконичным радиogramмам Тимохина.

Отсюда, из сырой глубокой ямины, загороженной со всех сторон валунами и сваями, Гальченко еще успел



увидеть согнутые фигуры Тюрина и Галушки, которые торопливо пронесли пулемет в другое укрытие, — вероятно, мичман Конопицын приказал переменить огневую позицию. Калиновский, надо думать, продолжал вести наблюдение с земли, передавая обстановку по телефону непосредственно Тимохину. Потом перед глазами Гальченко все опять заволокло пороховым дымом.

«Подлодка прикрывает огнем своих десантников, — передал Тимохин. — Команда поста ведет бой».

Гальченко представил себе, как, штурмуя высоту, гитлеровцы в черных комбинезонах, точно тараканы, ползут вверх, поводя из стороны в сторону усиками-автоматами. Конечно, они беспрестанно перебегают, переползают, используя все встречающиеся на пути укрытия, все складки местности.

В интервалах между орудийными залпами до Гальченко доносится неумолкающая пулеметно-автоматная стрельба и взрывы гранат. Ага! Стало быть, десантники уже приблизились на дистанцию ближнего, гранатного боя?

Сами понимаете, бой был быстротечным. Он и не мог быть иным. Пять наших моряков — Гальченко в данном случае не шел в счет — с ручным пулеметом, двумя автоматами и гранатами против пятнадцати — двадцати вооруженных до зубов десантников. Калиновский насчитал их около пятнадцати. Тимохин так и передал в штаб, но немецко-фашистский мемуарист называет иную цифру, а именно двадцать. Поэтому я и говорю: пятнадцать — двадцать. А главное, за спиной у этих десантников была мощная поддержка артогнем. Да, соотношение приблизительно то же, что у «Сибирякова» и «Шеера»!

Счет боя на минуты и секунды был потерян Гальченко — он не имел при себе часов. Но у опытного радиста, а он был уже, несомненно, опытным радистом, вырабатывается как бы некое шестое чувство — чувство времени. Словно где-то внутри у него, в мозгу или рядом с сердцем, вмонтирован крошечный секундомер и он беспрестанно тикает. Внутренний этот секундомер подсказывал Гальченко, что прошло не менее сорока минут с появления подлодки у Потаенной и начала артобстрела. Но и это тиканье, и грохот разрывов, и автоматно-пулеметная трескотня отдавались в наушниках лишь как аккомпанемент, отчасти даже приглушенный. Первую партию уверенно вел Тимохин.

Стремительный темп его морзянки еще больше убыстрился. Тимохин сегодня просто превзошел самого себя. Если бы душа Гальченко не была до краев заполнена боязнью за своих товарищей, обороняющих пост из последних сил, он, бесспорно, ощутил бы высокое профессиональное наслаждение, слушая радиста-виртуоза.

Но события сменялись на глазах у Гальченко с такой головокружительной быстротой, будто кувыркком пеллись под гору. Увы, уже под гору...

Автоматно-винтовочная стрельба стала как будто ослабевать. Или это только показалось Гальченко? Кто же из двух автоматчиков выбыл из строя? Тюрин, Конопицын? Неужели сам Конопицын?

Но уханье гранат не умолкает. Самый отчаянный бой — ближний бой, гранатами!

С лопающимся звуком один из снарядов разорвался совсем близко от Гальченко. Яркая вспышка. Медленно оседает дым. Гальченко протер левой рукой глаза, правая замерла в готовности на радиотелеграфном ключе. Что это? Штабелей дров у дома, заготовленных на зиму хозяйственным Конопицыным, уже нет. Впереди видно только море, а над взгорбком, где стояли штабеля, медленно опадают клочья дыма, будто складки огромного траурного флага. Но ведь под штабелями было укрытие, в котором находился Калиновский!

«Сигнальщик-наблюдатель выбыл из строя, — отстучал Тимохин. — Я вынужден вести наблюдение за боем из окна».

Если Калиновский выбыл из строя, значит, пост в Потаенной ослеплен! Но он еще не оглох и не онемел! Он жив и продолжает сражаться!

Гальченко видно, как у края обрыва из разлога сверкают гневные вспышки коротких пулеметных очередей. «Короткие очереди? Галушка экономит диски!» — с заморающим сердцем догадался Гальченко.

Он подумал, что товарищи прикрывают его собой. Но в то же время он — последняя их надежда, резерв, который прибегают на самый крайний случай.

Только бы не наступил этот крайний случай!

Гальченко увидел, как над краем обрыва показались черные комбинезоны. Чаше засверкали из разлога вспышки наших пулеметных очередей! Экономить диски уже нельзя! Десантники подбираются к дому. Так их, друг Галушка, так их!

«Десант находится в нескольких десятках метров от дома. Бой продолжается», — доложил в Архангельск Тимохин.

Но где же обещанное звено самолетов? Наших летчиков над Потаенной все нет и нет. Голубчики вы мои, родные, дорогие, прилетайте, выручайте! Жизнь Конопицына, Тюрина, Галушки, у которых кончаются патроны и гранаты, висит на волоске, на самом тоненьком волоске!

Гальченко бросил нетерпеливый взгляд в небо. Пусто по-прежнему!..

Вы спрашиваете, знал ли он, что от ближайшего аэродрома до Потаенной лету несколько часов? Нет. По счастью, не знал...

Гальченко вспоминает, что до сих пор ему часто снится этот бой. Краткосрочный, да, но как же долго тянется он во сне — нескончаемо, мучительно долго! И — так бывает всегда в кошмарах — Гальченко бессилен чем-нибудь помочь своим товарищам. Он плотно зажат окружившими его серыми валунами и полусгнившими черными сваями, не может пошевелиться, обречен лежать, видя и слыша, как товарищи его сражаются и умирают всего в двухстах метрах от него.

Чтобы не мешать Тимохину, соседние посты наблюдения и связи — соседние, но находящиеся, учтите, на расстоянии трехсот — трехсот пятидесяти километров — замолкли, будто притаили дыхание. Наисрочнейший разговор идет вдоль линии, причем самыми короткими репликами, только между Потаенной и Архангельском!

Один из лучших радистов штаба — Гальченко его узнал по почерку — торопливо отстукивал:

«Потаенная! Потаенная! Помощь вам выслана. Повторяю помощь вам...»

Узнает ли об этом мичман Конопицын, если он еще жив? Сейчас он отбивается гранатами от подползающих со стороны причала гитлеровцев...

Гальченко привстал было с земли, потом сразу же опять опустился на нее. Куда это понесло его? Ведь место его здесь! Он оставлен в резерве! На самый крайний случай!

Артобстрел внезапно прекратился. Плохой признак! Значит, десантники уже проникли на территорию поста. Орудийный расчет, который прикрывает с подлодки десантников, штурмующих высоту, опасается бить по своим.

Замолчал в укрытии ручной пулемет. Галушка? Неужели?

Да! Слышна только яростная перебранка автоматов.

Между горящими постройками замелькали черные силуэты.

«Очередью из автомата подожжена крыша дома,— бесстрастно доложил Тимохин.— Согласно инструкции, приступаю к уничтожению секретной документации».

Нервы Гальченко, по его словам, были так напряжены, что ему почудилось на мгновение: он рядом с Тимохиным! Сдернув наушники с головы, старшина неуклюжим прыжком метнулся в комнату Конопицына, зашиб колено о стоявшую на дороге табуретку, с проклятием вывернул из-под подушки брезентовый портфельчик. Хромая, поспешно вернулся к своему месту у рации. Наушники снова надеты — и невообразимо далекий Архангельск словно бы стал ближе!

«Потаенная! Потаенная! От устья реки Мутной направляются к вам два сторожевых корабля. Повторяю...»

Ну конечно. Конопицын унес с собой ключ от портфеля! Придется взламывать замок. Где зубило? Ага, есть! С поспешностью Тимохин выхватывает из портфеля таблицы условных сигналов, ключ к цифровому коду, последние метеосводки, еще что-то. Рвет это на мелкие куски и швыряет на пол.

Все! Нет, не все! Старшина снимает со стола свой вахтенный журнал, документ тоже чрезвычайной важности, и аккуратно разрывает его вдоль, потом поперек. Теперь все! Гитлеровцам нечем будет поживиться на развалинах поста!

Тимохин чиркнул спичкой, и у ног его вспыхнул маленький костер, как отблеск того огромного костра, который полыхает вокруг.

«Архангельск, Архангельск! Вызываю Архангельск! Секретная документация уничтожена...» — услышал Гальченко. И в наушниках стало мертвенно-тихо!

5

Не промешкав и секунды, почти рефлекторно Гальченко нажал на радиотелеграфный ключ.

«Передает пост в Потаенной. Рация разбита, дом

горит, — отстучал он. — На связи запасная рация!»

Смена радиовахты в Потаенной произошла в шестнадцать часов сорок семь минут. Так отмечено в вахтенном журнале штаба флотилии. Если будете поднимать соответствующие архивы, сможете сами в этом убедиться...

Вот тут-то вступил в дело молчавший доселе промежуточный пост наблюдения и связи. Его радист, услышав в эфире писк слабенькой запасной рации, немедленно стал репетовать — повторять — в Архангельск донесение Потаенной.

Гальченко признавался мне, что, отстукивая ключом очередное свое донесение, он плакал — неудержимо, давась слезами, почти не видя ничего из-за слез перед собой. Если бы ему приказали из штаба: «Оставь рацию, возьми свою винтовку, незаметно подползи к десанникам, которые бестолково топчутся вокруг горящего дома, и убей их командира, отомсти за Калиновского, Галушку, Тюрина, Конопицына, Тимохина!», он с восторгом, с огромным душевным подъемом выполнил бы это приказание. Но разве мог он оставить рацию? В данных условиях именно она являлась его смертоносным оружием, а не эта бесполезно лежащая рядом винтовка.

А что будет дальше? Гальченко не задумывался над этим. Привык за год пребывания на посту к безоговорочному выполнению приказа. Ему было приказано принять вахту у погибшего Тимохина, он и принял ее. И будет держать связь со штабом флотилии, пока не погибнет, как Тимохин.

Он, краснофлотец Гальченко, — последний связист Потаенной! Пока он жив и рация его в порядке, жив и пост!

Вот каким примерно был ход тогдашних его рассуждений. Однако война на то и война, чтобы изобиловать самыми крутыми, неожиданными поворотами, — мы с вами уже говорили об этом. Поэтому возможность той или иной — благоприятной или неблагоприятной — случайности никогда не рекомендуется упускать из виду.

Случайность в данном случае была благоприятная.

Штабу флотилии удалось связаться по радио с одним из наших самолетов, который летел на выполнение задания и находился в настоящее время неподалеку от Потаенной. Снесясь с командованием ВВС флотилии, летчика тотчас же перенацелили на Потаенную. Он по расчету времени должен был появиться над нею через пятнадцать — двадцать минут.

Об этом мы тотчас же сообщили на пост.

Сердце Гальченко подпрыгнуло в груди. Но потом он вспомнил, что ему уже не с кем поделиться этой радостью. Товарищей его нет. На посту хозяйничают фашисты.

И все-таки помощь близка! Где-то над восточной частью Карского моря наш самолет прорубается пропеллером сквозь туман или пронизывает снежные заряды. Через каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут он будет здесь и обрушит бомбы на головы фашистов! Погибшие связисты Потаенной будут отомщены!

Гальченко не подозревал о том, что командир корабельного десанта отрядил несколько человек вместе с переводчиком для обследования старого медного рудника. Вот вам еще одно доказательство в пользу того, что у подводников переводчиком был именно Атька! О местонахождении рудника он мог знать от Абабкова!

Почему-то гитлеровцы двинулись к Гальченко кружным путем, может быть обходя многочисленные лайды, возникавшие у них на пути. Так получилось, что они зашли к нему с тыла и, обнаружив его среди валунов и свай, были поражены этим не меньше, чем сам Гальченко, который поднял глаза и увидел: со всех сторон его обступили черные комбинезоны! Он даже не успел протянуть руку к своей винтовке, как был схвачен.

— Шестой! — возбужденно горланили вокруг него. — Оказывается, русских шесть, а не пять! Здесь прячется их шестой связист! Ого! У него рация? Выбивайте его прикладами оттуда, ну! За ногу хватай, за ногу!.. Так! Тащите его, тащите!..

Лапы у немецко-фашистских десантников были липкие, мокрые. Гальченко охватило омерзение. Ему показалось, что это многорукий спрут вцепился в него, выволакивая из укрытия. Он отчаянно забарахтался, отбиваясь.

— Черт! Он укусил меня, проклятый звереныш! Наподдай ему, Людвиг!

Гальченко швырнули на землю, подняли, опять швырнули, продолжая избивать кулаками, каблуками, прикладами автоматов.

И все время рядом слышен был увещающий голос:

— Легче, легче! Вы же убьете его! А он нужен для допроса!

Гальченко смутно помнит, что его куда-то волокли, поддерживая под руки. Потом он потерял сознание...

Очнулся Гальченко, лежа ничком на земле. В нос ему

бил едкий запах пороховых газов и гари. Значит, его притащили на пожарище?

Кто-то радостно крикнул:

— Я нашел это у него в кармане, господин лейтенант!

Что это нашли у него в кармане? Нет, немцы говорят не о нем. Через Гальченко бесцеремонно перешагнули, как через бревно, причем задели ботинком за ухо. И вот какой отрывистый разговор услышал он над собой, лежа по-прежнему ничком, совершенно неподвижно.

— Покажите! Обрывок карты?

— Да, господин лейтенант. Чудом уцелевший.

— Но где левая ее половина?

— Сгорела, надо полагать.

— Досадно. На этом обрывке только город. Как название его — вот, в верхнем углу? Переведите. Порт назначения? Никогда не слышал о таком порте. А вы слышали? Вы же бывший гидрограф, бывший офицер русского флота.

— Название, вероятнее всего, условное. Иначе указаны были бы координаты.

— Это я понимаю и без вас. Но что скрывается под загадочным условным названием, вот что я хотел бы знать! Город невелик, но, судя по сохранившимся у левого края обрывка обозначениям портовых сооружений, сам порт очень большой. Да, чрезвычайно большой. Первокласный океанский порт! Ну что же вы молчите? Игарка? Тикси?

— Право, я затрудняюсь, господин лейтенант...

— Подайте мой планшет! Сверимся с картой Арктики. Тикси? Отпадает. Видите, он или оно — как правильно нужно сказать? — в устье Лены, на западном берегу залива Борхай. Сломаешь язык на ваших дикарских названиях! Западном! А тут, на полуобгоревшем обрывке, город явно в северной части залива. Присмотритесь получше! Внизу стрелки: N, S, W, E, и конфигурация берега совсем не та. Игарка? Тоже нет. Отстоит от устья Енисея чуть ли не на семьсот километров. А этот загадочный Порт назначения отнюдь не на реке. Вот же открытое море! Он на берегу моря, в этом нет никаких сомнений!

— Осмелюсь высказать догадку, господин лейтенант. Она только что пришла мне в голову.

— Ну?

— Это не Игарка и не Тикси. Это новый порт, построенный большевиками совсем недавно, буквально за год, за два до войны. Я бы назвал его двойником Комсомольска-на-Амуре.

— Почему?

— Об этом говорят названия улиц. Обратите внимание: улица Веселая, улица Счастливых Старожилов, площадь Дружеского Рукопожатия! Я рассматривал недавно карты Игарки и Тикси. Улиц и площадей под такими названиями там нет.

— Стало быть, совершенно новый, с иголочки, порт в Арктике, о котором мы до сих пор не знаем? Чем же занималась наша авиаразведка? Во всяком случае, для штаба это очень ценная находка.

В разговор врывается третий голос:

— Разрешите доложить, господин лейтенант? Русский, у которого найдена карта, не умер. Он только ранен. Доктору, кажется, удастся привести его в чувство.

— Отлично. Волоките-ка его поживее в подлодку! Пусть им займется Менгден, на то он и офицер абвера. У них найдется о чем поговорить в связи с этой картой... Что случилось, доктор? Вы хотите что-то сказать?

— Русский матрос, к сожалению, нетранспортабелен. Он умирает. Мы не дотащим его живым до подлодки.

— О, черт! Где он? Дайте-ка ему, доктор, хлебнуть из моей фляжки. Так! Мне нужно задать ему всего один вопрос. Каким временем я располагаю? Сколько минут еще он продержится?

— Минуты три-четыре, от силы пять.

— Достаточно. Коньяку не жалейте, доктор! Коньяк его подбодрит. Дёбблинг, поднимите голову русскому! Выше, выше, болван, иначе он захлебнется!.. Еще глоток! Да он у нас совсем молодцом! Он открывает глаза! Приступим. Переводите! Слушай, матрос, где этот порт? Где он? Координаты его? Координаты Порта назначения, ты меня понимаешь?

— По-моему, он вас не понимает, господин лейтенант. Взгляд у него совершенно бессмысленный.

— Дайте ему еще коньяку! Матрос, мы будем тебя лечить и вылечим! Переведите это! Мы тебя спасем, мы подарим тебе жизнь, а жизнь — хорошая вещь, не правда ли? Но ты должен сказать, где находится этот порт. Далеко отсюда или близко? В Баренцевом море? В Карском море? В море Лаптевых? Еще дальше на восток? Вот карта этого порта! Я поднес ее почти вплотную к твоим глазам. Ты не можешь ее не видеть. Что же ты молчишь? Доктор, почему он молчит?

И вдруг в напряженной тишине раздался сиплый, сорванный голос. Гальченко не узнал его.

Голос негромко, но очень внятно произнес длинную фразу. Это было оскорбительнейшее из флотских ругательств, густо посыпанное перцем, фантастически замысловатое и в то же время точное, в общем, нечто неопишное по силе экспрессии и по безупречной выразительности. Известное письмо запорожцев султану по сравнению с ним показалось бы невнятным детским лепетом. Умиравший русский матрос вложил столько презрения и ненависти в свой ответ командиру десанта, что тот, если бы понял, застрелил его на месте.

Но, по счастью для себя, командир десанта не знал русского языка.

— Ну, что он сказал? Переведите!

Смущенное бормотание переводчика:

— Это совершенно непереводаемо, господин лейтенант. На русском флоте всегда замысловато ругались с привлечением самых неожиданных сравнений. Короче говоря, он обругал вас, господин лейтенант.

— Ничего не сказав о порте?

— Нет, он ухитрился вплести это в свое оскорбление. Я попытаюсь адаптировать текст, конечно, очень сильно адаптировать. В общем, он сказал так: «Тебе, то есть вам, господин лейтенант, туда никогда и ни за что не дойти!» Или не добраться — наверное, так будет точнее?

Всеобщее недоумение. Длинная пауза. И короткий сухой стук. Это, вероятно, Дёбблинг выпустил из рук голову русского, которую все время поддерживал на весу.

— Матрос умер, господин лейтенант! — доложил он.

Тут Гальченко позабыл о том, что должен притворяться мертвым, и чуть повел глазами в сторону, чтобы увидеть, кто же это из связистов отвечал гитлеровцу.

— Мальчишка пришел в себя, господин лейтенант! — сразу же бойко отрапортовал тот же Дёбблинг.

6

Гальченко рывком подняли с земли.

— Вытрите ему тряпкой лицо! — брезгливо сказал голос лейтенанта.

Кто-то торопливо стер с лица Гальченко кровь, зали-

вавшую ему глаза. Но первые несколько минут еще все плыло перед ним и было бледно-алым. Фигуры в черных комбинезонах покачивались и перемещались взад и вперед, как черти в аду.

— Как этот пациент, доктор? Доташат ли его живым до подлодки?

Беглый осмотр. Прикосновение к голове холодных пальцев очень неприятно, но безболезненно.

— О да! Вполне годится для беседы с Менгденом!

Кто-то, стоявший рядом с лейтенантом, добавил:

— Путь до Норвегии не близкий. Господин Менгден успеет заставить его разговориться. Но, может быть, господин лейтенант разрешит мне расспросить мальчишку о здешнем медном руднике?

Лейтенант не успел ответить. К нему подбежал один из десантников и вполголоса доложил о чем-то. Лейтенант вскинул глаза к небу, потом быстро посмотрел на часы.

— Все вниз, к песчаной косе! — скомандовал он.

И, обернувшись к переводчику, бросил уже на бегу:

— Расспросите о руднике в подлодке!

Вы догадались? Да, радист немецко-фашистской подлодки перехватил обмен радиogramмами между Архангельском и летчиком, которого мы завернули с полпути и направили к Потаенной. Получалось, что в распоряжении гитлеровцев не часы, а минуты. Да и минут-то не так уж много! Исправление повреждений пришлось прервать.

Два дюжих подводника схватили Гальченко под локти и потащили вниз к косе, то и дело спотыкаясь и падая вместе с ним на вязком песке.

Сверху Гальченко увидел, что подлодка уже отошла от причала и осторожно вытягивается из узкости в море, боясь оказаться в западне.

По косе вереницей тянулись гитлеровцы, унося своих раненых и убитых. Ого! Немало, однако, наколотили их!

Резиновый тузик с подлодки и шлюпка, захваченная в Потаенной, стояли у косы наготове. Кто-то, энергично размахивая рукой, потирапливал отставших. Видно было по всему, что немцы очень нервничают.

Через несколько минут его, Гальченко, затолкают в стальной гроб и все для него будет кончено!

Офицеру абвера он, понятно, не скажет ни слова. Можно было бы, конечно, начать изворачиваться, травить, врать, что Порт назначения находится, скажем, где-нибудь в море Лаптевых. Пусть бы покидали немцы бомбы

над скалами или над безлюдной тундрой! Но нет, не выйдет. Язык не повернется. Противно!

А правду гитлеровцам сказать — нипочем не поверят. Объяснить по-честному, что Порта назначения пока еще нет, но он обязательно будет? Офицер абвера сочтет глупым враньем такой ответ. Выворачивать перед гитлеровцем душу свою наизнанку! Обстоятельно докладывать ему о том, как в длинные зимние ночи шестеро связистов отдыхали от трудов, воздвигая в своем воображении небывалой красоты и сказочного великолепия город? Фу! Ведь это было бы предательством по отношению к Конопицыну, Тимохину, Калиновскому, Галушке, Тюрину! Это означало бы отплатить им злом за все доброе, что он от них видел.

Гальченко говорил мне, что готов был умереть на пороге общей их мечты, лишь бы не пустить туда врагов...

Он окинул длинным прощальным взглядом свою Потаенную. И какой же она в тот момент показалась ему красивой!..

Подлодка, преодолев узкость, подошла к косе со стороны моря, удерживаясь на месте ходами.

Гальченко бросили в шлюпку. Он не услышал рева моторов над головой. Но десантники услышали его. По косе, толкаясь, пробежала гурьба черных комбинезонов. Некоторые успели вскочить в шлюпку, и та немедленно же отвалила от берега. Запоздавшие кинулись к подлодке вплавь.

Мемуарист, понятно, не упоминает об этом. Еще бы! Не слишком героическая батальная сцена, не правда ли?

Повернувшись на бок, Гальченко увидел, как взметнулась брызгами галька на берегу от пулеметных очередей. Потом неподалеку поднялся высокий всплеск и со дна полетели камни.

И почти сразу перегруженная шлюпка, двигавшаяся вдобавок с сильным креном, перевернулась.

Крутые волны ходили по морю. Вероятно, подводная лодка находилась где-то очень близко, но Гальченко ее не видел.

Обеими руками уцепился он за плававший в воде анкерок, наполненный до половины пресной водой. Мичман Конопицын всегда строго следил за тем, чтобы связисты не выходили в патрульные поездки без запаса воды.

Потом сознание на какое-то время покинуло Гальченко, но он продолжал лежать, навалившись грудью на анкерок...

Открыв глаза, он увидел на берегу толпу ненцев. Перебегая с места на место, они указывали друг другу на что-то, что находилось за его спиной. Вероятно, ненцы кочевали поближе и примчались из тундры на выстрелы.

Накат медленно подносил Гальченко к берегу. Опять короткий провал в сознании.

Он очнулся уже не в воде, а лежа на мокром песке. Над ним склонялись озабоченные скуластые лица. Нежно щебетали вокруг тонкие голоса: «Валья! Валья!»

Потопить немецко-фашистскую подлодку, к сожалению, не удалось. И вот, как видите, один из офицеров ее спустя много лет вынырнул на поверхность со своими мемуарами!

Но Гальченко тогда не думал о подлодке. Он даже не почувствовал радости от своего спасения. Все как бы оледенело у него внутри.

Он осознал вдруг, что спасся один! Все его товарищи погибли. Но как же он без них?

Страшная мысль эта потрясла его с такой силой, что он в третий раз потерял сознание — на руках у ненцев и уже надолго. Пришел в себя только через несколько дней в военно-морском госпитале.

* * *

Ну что ж! Мне остается добавить к сказанному всего несколько слов.

С Гальченко я увиделся спустя много лет, уже в Ленинграде. Он разыскал меня через Комитет ветеранов Великой Отечественной войны. Мы ведь оба ветераны теперь, хотя разница в возрасте между нами лет сорок или около того!

Поселился Гальченко на постоянное жительство в Норильске. Арктика околдовала его и не отпускает от себя, как и многих других.

Он металлург, готовит докторскую диссертацию, если не вру, не то по обогащению, не то по очищению медной руды, — увы, я профан в этих делах. Из-за своей диссертации Гальченко и просиживает часть отпуска в ленинградских библиотеках — настойчив он по-прежнему.

По вечерам бывший мой сослуживец регулярно навещает меня, и тогда мы подолгу ломаем головы над вопросом: кем же был тот «русский матрос», у которого фашисты нашли полуобгоревшую карту? Гальченко с горячностью

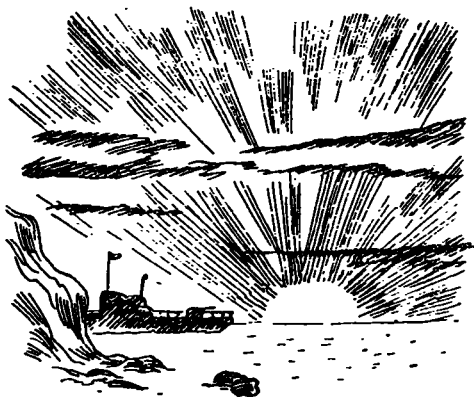
утверждает, что им мог быть любой из связистов Потасенной. И я думаю, в этом есть резон.

Как очутилась карта у «русского матроса»? Гальченко объяснял мне, что она была приколата к бревенчатой стене на видном месте в кубрике. Рядом висели автоматы, винтовки и гранаты. Возможно, кто-то случайно, впопыхах, схватил ее вместе с оружием, а потом машинально сунул в карман. Это одна версия. Есть и другая. Не исключено, что кто-то снял карту со стены накануне нападения на пост или за несколько часов до этого нападения, чтобы рассмотреть на досуге и внести в нее какие-нибудь дополнения. По словам Гальченко, это делалось иногда у них на посту.

Так что, как видите, обе версии ничего не уточняют.

Во всяком случае, для гитлеровцев Порт назначения оказался вне пределов их досягаемости. Они, судя по мемуарам, так и не поняли, что порт этот — в будущем. А уж в будущее ход гитлеровцам был заказан. Им ничем не прорваться было в наше будущее!

Не сомневаюсь, что именно так понимал это русский матрос, когда швырнул в лицо нагнувшемуся над ним подводному подонку: «Тебе туда ни за что и никогда не дойти!..»



СОДЕРЖАНИЕ

ДАТА НА КАМНЕ	5
ТАНЦУЮЩИЙ БОГ	59
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ	117
БУХТА ПОТАЕННАЯ	146

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Леонид Дмитриевич Платов

ДАТА НА КАМНЕ

Повести

ИБ № 6531

Ответственный редактор *Е. В. Полумиенко*. Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*. Технические редакторы *Г. Г. Рыжкова* и *Л. С. Стёпина*. Корректоры *Л. А. Рогова* и *Т. А. Стадольникова*. Сдано в набор 11.08.83. Подписано к печати 14.03.84. А02868. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. ки.-журн. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 17,21. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3580. Цена 85 коп.

Орденю Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва. Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

85 коп.

ЛЕОНИД
ПЛАТОВ

ДАТА
НА
КАМНЕ